АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XII

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1963

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. Жирмунский (Ленинград). О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза 3
К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова (Москва). Группировка говоров русского языка по данным лингвистической географии 20

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Алтайские дентальные: *t*, *d*, δ 37
Т. В. Цивьян (Москва). Опыт описания форм новогреческого существительного методом анализа и синтеза 57
С. И. Сятковский (Москва). Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса 69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. Колмогоров, А. В. Прохоров (Москва). О дольнике современной русской поэзии 84
А. М. Кондратов (Москва). Статистика типов русской рифмы 96
С. И. Котков (Москва). Русская частная переписка XVII—XVIII вв. как лингвистический источник 107
М. А. Кумахов (Москва). О соотношении морфемного строения слова и словообразования 117
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Палеоэскимосские топонимы северо-восточной Сибири 121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Ю. Немет (Будапешт). Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии 126
С. В. Неверов (Москва). Об одном направлении лингвистической науки в Японии 136

Рецензии

Т. В. Булыгина (Москва). «Problémy marxistické jazykovědy» 140
М. И. Лекомцева, И. И. Ревзин, С. М. Шур (Москва). «Proceedings of the IV International congress of phonetic sciences» 144
К. Е. Майтинская (Москва). «A mai magyar nyelv rendszere» 148
Н. А. Баскаков (Москва), Ш. Ш. Сарыбаев (Алма-Ата). Новые национальные толковые словари 151
В. А. Редькин (Москва). *Г. А. Шелюто.* Русское ударение 154

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В. З. Панфилов (Москва). Письмо в редакцию 156

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 158
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 172
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1963 г. 173

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА [1]

Памяти А. К. Боровкова

1. В диалектологическом изучении тюркских языков Советского Союза можно с полным правом отметить большие успехи, достигнутые в результате напряженной и плодотворной работы за годы революции как в центре, так в особенности в самих тюркоязычных республиках — в значительной части силами национальных кадров, определивших широкий размах этой работы на местах [2].

То почетное место, которое занимают диалектологические исследования в советской тюркологии, вполне оправдано и теоретически и практически: развитие тюркских национальных языков советской эпохи из местных диалектов, территориальных или племенных, происходило и происходит на наших глазах одновременно с процессом национальной консолидации. Поэтому изучение диалектов является необходимой предпосылкой для сознательного и активного участия лингвиста-тюрколога в решении вопросов национального языкового строительства.

Среди работ по тюркской диалектологии, по понятным причинам, до сих пор преобладали монографические описания диалектных районов и отдельных говоров [3]. Такие описательные монографии были необходимы не только в начальный период работы, когда каждое новое описание в сущности было открытием неизведанного; и теперь, при любых задачах более широкого научного синтеза, они остаются важнейшей материальной базой диалектологического исследования. Чем больше будет собрано и описано фактов, тем более прочными явятся и построенные на них обобщения. Что касается этих обобщений, то до сих пор они ограничивались по преимуществу определением и локализацией изучаемого говора в общих рамках диалектного членения соответствующего национального языка, т. е. вопросами классификации диалектов данного языка, опирающейся в свою очередь на общую классификацию тюркских языков и наречий. Следует сразу же отметить, что в этой области еще многое остается сейчас дискуссионным и требует методологического пересмотра и более прочного теоретического обоснования.

Своего рода первичным обобщением уже осуществленных исследований в области тюркской диалектологии должен явиться коллективный труд «Диалекты тюркских языков», план которого разработан сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР и первые пробные разделы ко-

[1] Доклад, прочитанный на IV региональном совещании по тюркской диалектологии (г. Фрунзе 27—30 V 1963 г).

[2] Чтобы получить некоторое представление об этом размахе, достаточно просмотреть обзорную статью Е. И. Убрятовой «Изучение диалектов тюркских языков» с приложенной к ней обширной библиографией («Вопросы диалектологии тюркских языков», II, Баку, 1960.).

[3] По этому вопросу см.: В. В. Решетов, Монографическое изучение диалектов (На материале некоторых тюркских языков), «Вопросы диалектологии тюркских языков», II.

торого обсуждались на IV региональном совещании по тюркской диалектологии. Важное значение этой большой работы, предпринятой сектором при активном участии республиканских научно-исследовательских институтов, не подлежит сомнению. Труд этот впервые сведет воедино результаты многолетних частных исследований, представив их в единой фонетической транскрипции и изложив по единому плану на русском языке, одинаково доступном всем народам нашей страны. Даже как научный справочник описательного характера этот труд будет полезен для всех тюркологов, советских и зарубежных. Систематизированная в нем фактическая информация послужит солидным основанием для дальнейших более углубленных изысканий.

И все же эта сводка, как всякое обобщение, даже эмпирическое, не может не отражать лежащую в ее основе лингвистическую методологию. Если судить по проспекту «Введения», приложенному к плану труда «Диалекты тюркских языков», авторы его, по-видимому, рассматривают каждый национальный язык (в его современном состоянии) как «систему» диалектов, распадающихся на наречия, говоры и подговоры, между которыми надлежит установить границы, запечатлев их в конце соответствующего монографического очерка на «карте диалектов» данного языка. Между тем такая точка зрения, сознательно или бессознательно, исходит из старого представления о «родословном древе» языков и диалектов, выдвинутого А. Шлейхером более ста лет назад. Давно отвергнутая в теории, эта концепция продолжает тем не менее существовать на практике как основа многих генетических классификаций языков и диалектов не только тюркских, но и индоевропейских. Абстрактный схематизм придает этой концепции видимую простоту, соблазнительную и сейчас для многих языковедов, однако не учитывающую всей реальной исторической сложности языкового развития.

Подобно тому как «язык-основа» данной генетически родственной семьи языков распадается с этой точки зрения на группы и подгруппы, а эти последние — на отдельные исторически известные языки, так по тому же принципу «родословного древа» каждый язык в свою очередь распадается на наречия и диалекты, говоры и подговоры, представляющие последовательные «ответвления» общенародного языка, его «ветки» и «веточки».

При этом молчаливо подразумевается, что спонтанная дифференциация языков и диалектов, восходящих в конечном счете к «языку-основе» как своей исходной точке, отражает в плане историческом такое же механическое дробление народов и племен, сопровождаемое их пространственным расхождением,— представление, находящееся в противоречии с данными современной исторической этнографии, которая, подобно исторической диалектологии, признает наряду с расхождениями не менее существенные для формирования народностей схождения и смешения разноязычных и разнодиалектных племенных групп.

Можно предполагать, что на сводной «карте диалектов», которая явится завершением классификации диалектов данного языка (и будет, очевидно, единственной для данного языка!), границы диалектов будут очерчены некоторой совокупностью различительных признаков, которые будут выбраны по необходимости субъективно и о составе которых между специалистами обычно ведутся в таких случаях нескончаемые и по существу бесплодные споры. Можно также предвидеть заранее, что при этом придется ввести поправки на так называемые «переходные диалекты», связанные одними своими признаками с одним диалектным массивом, другими — с соседним массивом, противопоставленным первому. Но «переходный диалект» в подобных случаях является понятием столь же пробле-

матичным и метафизическим, как и «диалект» в смысле замкнутого «ответвления» общенародного «языкового древа». К тому же все эти взаимоотношения диалектов будут показаны в границах и рамках современных национальных республик, в соответствии с сравнительно недавним их национальным размежеванием, в ряде случаев перекрывшим более древние диалектные членения.

Идеальным образцом картографирования диалектов по этим принципам является русская диалектологическая карта Д. Н. Ушакова — Н.Н. Дурново, представлявшая для своего времени (50 лет назад!) действительно выдающееся научное достижение. Думается, однако, что в свете новейших работ по составлению «Диалектологического атласа русских народных говоров» карта эта и прежде всего самый принцип, положенный в ее основу, не могут не быть признаны устарелыми.

Многолетний опыт современной лингвистической географии как зарубежной, так и советской, явившийся результатом работы над составлением больших национальных диалектологических атласов (французского, немецкого, итальянского, с недавнего времени — русского и ряда других) давно уже поставил под сомнение методологическую основу этих традиционных разграничений и классификаций генетически родственных языков и их диалектов. Как известно, границы отдельных диалектных признаков (нередко даже отдельных слов, представляющих то или иное фонетическое или грамматическое явление) далеко не всегда совпадают между собою или ложатся пучками, более широкими или узкими вдоль границы того или иного диалектного массива. Такие пучки нередко перекрещиваются довольно пестрым образом, объединяя территорию данного говора то с тем, то с другим соседним диалектом. Поэтому каждая такая граница диалектного признака («изоглосса») должна быть прослежена отдельно, независимо от других. С точки зрения методики современной лингвистической географии первым предметом обобщающего диалектографического изучения, подымающегося над монографическими описаниями местных говоров, должны быть изоглоссы отдельных диалектных признаков (фонетических, грамматических, лексических), а не членение на замкнутые диалектные массивы. Точные границы диалектов и диалектных групп могут быть затем уже установлены непредвзятым образом на основании сопоставления изоглосс, с учетом исторических данных о расселении племен и народностей и последующего феодального дробления (там, где таковое существовало).

Изоглоссы в своих несовпадающих границах являются отражением исторических связей между диалектными группами и между их социальными носителями. Но эти связи и взаимодействия относятся к разному времени. Границы диалектных признаков далеко не всегда представляют результат спонтанной дифференциации «языка-предшественника» (согласно терминологии Н.А. Баскакова). Те или иные признаки, характеризующие в настоящее время данный диалект, могли явиться следствием не его спонтанного, «прямолинейного» развития, но воздействия со стороны соседних диалектов в результате межплеменных или межтерриториальных сношений или этнического смешения. В языке (как и в области этнических связей) возможны различные формы исторических взаимодействий между соответствующими разноязычными и разнодиалектными коллективами — расхождений и схождений, частичного или полного смешения. Диалектные изоглоссы представляют разновременные отложения языковых процессов, не сводимых к абстрактной схеме «родословного древа» наречий или языков.

Не карта, а атлас, состоящий из многих карт, фиксирующих изоглоссы отдельных диалектных признаков, должен быть

целью диалектологического исследования и соответствует его современному научному уровню.

2. Поучительно пересмотреть с этой точки зрения попытки общей классификации тюркских языков и диалектов.

Первая такая попытка, предпринятая В. В. Радловым на основе сравнительной фонетики тюркских языков[4], имела чисто описательный характер. Радлов выделил четыре основные группы — восточную, западную, среднеазиатскую и южную, перечислив ряд характерных фонетических признаков каждой из них; он, однако, не ставил вопрос о реальном географическом распространении и границах этих признаков в рамках каждой из основных групп и входящих в ее состав языков или наречий.

Гораздо более показательна в теоретическом отношении классификация Ф. Е. Корша[5], индоевропеиста по своей основной специальности, стоявшего на высоте лингвистической методологии своего времени. Корш стремится к «устранению всякой субъективности» и логических противоречий в классификации. Для этого он ограничивается всего двумя основными классификационными признаками, отбирая один из области фонетики, другой — из морфологии, с тем чтобы «их провести последовательно по всем турецким (т. е. тюркским.— *В. Ж.*) языкам и наречиям. ...Там, где оба эти признака совпадают, мы можем признать действительно более близкое родство, нежели там, где налицо один из них»[6].

Корш подразделяет тюркские языки на две основные группы — северную и южную по следующим признакам: судьбе «общетурецкого *г* в конце слова» (южн. *таз* «гора» — сев. *тау*) и по способу образования настоящего времени — с помощью причастия на *-р* или деепричастия на *-а* (*-е*) с вспомогательным глаголом, который в некоторых языках опускается (южн. *келюр-мен* «я прихожу» — сев. *келе турур-мен*). На основании этой лингвистической классификации прямолинейно восстанавливается древнейшая история тюркоязычных племен — расхождение племен как основа дробления диалектов: «Предки нынешних турок (т. е. тюркских народов. — *В. Ж.*),— пишет Корш,— когда жили все еще на своей прародине, которая была приблизительно где-то около Алтая, первоначально разделились на две группы, из которых одну можно назвать северной, а другую южной. Первая группа общетурецкое *г* в конце слова превращала в неслоговое *у* и настоящее время образовала посредством деепричастия на *-а*. Вторая группа сохраняла *г* во всех положениях и образовала настоящее время посредством причастия на *-р*»[7]. «Затем это деление стало усложняться», т. е. группы разделились на подгруппы (по принципу последовательного разветвления): южная группа распалась на подгруппы восточную и западную по признаку сохранения или выпадения *г* после согласных (причастие прош. *калган* «оставшийся» ю.-в. — *калан* ю.-з.).

Как и можно было ожидать, в классификации Корша, с логической точки зрения безукоризненной, сразу же получились «смешанные группы» с перекрестными признаками: с сохранением конечного *г* и с деепричастием на *-а* в основе форм настоящего времени («северноалтайская» и «среднеазиатско-узбекская»). В их смешанном характере Корш, по ходу своих рассуждений, должен был признать результат этнического смешения основных групп, столь же мало подтвержденного историей, как и предполагаемое распадение тюркского пранарода и праязыка на две (или три) основные группы. На самом деле этот «смешанный характер» явился

[4] W. W. Radloff, Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leipzig, 1882.

[5] Ф. Е. Корш, Классификация турецких племен по языкам, «Этнографическое обозрение», 1—2, М., 1910.

[6] Там же, стр. 120.

[7] Там же, стр. 121—122.

неизбежным результатом непригодности самой классификации, столкнувшейся и вступившей в конфликт с реальными историческими фактами.

Классификация Ф. Е. Корша, не столько по своему содержанию, сколько по методу, явилась исходной точкой для распространенных и в современной тюркологии концепций исторической дифференциации тюркских языков и наречий и их этнических носителей по той же схеме последовательного разветвления родословного древа. Устаревшая по материалу, сама генеалогическая классификация Корша нуждалась в более убедительном подкреплении историческими фактами; но факты эти в значительно усложненном виде по-прежнему укладывались в ту же схему родословного древа, как это видно, например, из генеалогической таблицы дифференциации тюркских языков (и народов), составленной Н. А. Баскаковым [8].

Между тем уже «Дополнения к классификации» акад. А. Н. Самойловича означали существенный пересмотр классификационных принципов его предшественников.

Располагая в соответствии с успехами тюркологии гораздо большим фактическим материалом, А. Н. Самойлович пересмотрел прежде всего классификационные критерии, установленные Ф. Е. Коршем. Отбросив морфологический признак образования настоящего времени как «недостаточно яркий и определенный», он ввел четыре новых фонетических признака: переход *з* > *р* для стоящего особняком чувашского языка (*токуз* — чув. *тахар*); форму вспомогательного глагола *ол* для юго-западной группы вместо *бол*, *пол*, *пул* (с существенной, однако, оговоркой, что форма *ол*, которую Самойлович считал «главным» «из отличительных признаков этой группы» [9], фактически отсутствует в подавляющем большинстве диалектов туркменского языка); отпадение конечного *г* после узких гласных в конце слова для диалектов «средней» группы (*таглы* «горный» вместо *таглык*); наконец, признак, который, по Самойловичу, является «основным» и «позволяет уточнить классификацию во всем ее объеме» [10],— это противопоставление в середине слова (между гласными) и в конце слова звуку *й* языков юго-западной группы согласных *д* (*т*), *з* (*с*) в языках восточной группы с подгруппами *д*-, *т*-, *з*-диалектов (*айак* «нога» — *адак*, *атак*, *азак*; *кой* «положи» — *код*, *кот*, *кос*).

Вместе с тем А. Н. Самойлович первый попытался придать классификации современных тюркских диалектов историческую перспективу путем систематического сопоставления их различительных признаков с данными средневековых письменных языков и с диалектологическими наблюдениями в незадолго до этого открытом «Словаре» Махмуда Кашгарского (середина XI в.) [11]. Надо сказать, что историческая идентификация в классификационной схеме А. Н. Самойловича имеет в основном номенклатурный характер. Различаются, например: *тау*-группа (лингвистический признак) как кыпчакская (этническое отождествление) и северо-западная (географическая локализация); *таглык*-группа как чагатайская и юго-восточная; *ол*-группа как туркменская (или огузско-туркменская) и юго-западная и т. п.; всего Самойлович выделяет таким образом 6 групп.

Однако наиболее существенное значение с точки зрения методологической представляет то обстоятельство, что классификационные при-

[8] См. приложение 2: «Общая схема развития тюркских языков» в кн.: Н. А. Баскаков, Тюркские языки, М., 1960.

[9] А. Самойлович, Некоторые дополнения к классификации турецких языков, Пг., 1922, стр. 6.

[10] Там же, стр. 8.

[11] См. C. Brockelmann, Mahmud al-Kašgharī über die Sprachen und Stämme der Türken im 11. Jahrhundert, «Kőrösi Csoma-Archivum», I, 1, Budapest, 1921, стр. 26—40.

знаки А. Н. Самойловича (в отличие от логического принципа деления у Корша) частично между собою перекрещиваются,— обстоятельство, получившее наглядное графическое выражение в составленной им схеме (см. табл. 1) [12].

Таблица 1

1	«Тахар»-группа	«Токуз (докуз и пр.)»-группы				
2	«Ура»-группа	«Адак»-группа	«Айак»-группы			
3	«Бол (пол, пул, бул)»-группы					«Ол»-группа
4	«Тау (ту)»-группа	«Таг»-группа	«Тау»-группа	«Таг (даг)»-группы		
5	«Ы»-группа	«Ыг»-группа	«Ы»-группа	«Ык (ыг)» группа	«Ы»-группы	
6	«Калан (йулна)»	«Калган»-группы				«Калан» гр
	I. «Р»-группа *Булгарская*	II. «Д»-группа *Уйгурская* [северо-восточная]	III. «Тау»-группа *Кыпчакская* [северо-западная]	IV «Таг-лык»-группа *Чагатайская* [юго-восточная]	V. «Таг-лы»-группа *Кыпчацк.-туркм.* [средняя группа]	VI «Ол»-группа *Туркменская* [юго-западная]

Например, на этой таблице северо-восточная (уйгурская) группа определяется признаками: *токуз*, *адак*, *бол*, *таг*, (*тагл-*)*ыг*, *калган*; северо-западная (кыпчакская) — признаками: *токуз*, *айак*, *бол*, *тау*, *-ы*, *калган*; юго-западная (огузско-туркменская) — признаками: *докуз*, *айак*, *ол*, *даг*, *-ы*, *калан* и т. д. Таким образом, из трех перечисленных для примера групп первая и вторая объединяются признаками: *токуз*, *бол*, *калган*, вторая и третья — признаками: *айак*, *-ы* (отпадение конечного *г* после предшествующих узких гласных), и т. д.

В сущности речь идет у Самойловича не о логически взаимоисключающих классификационных признаках родословного древа языков или генеалогической схемы, а об изоглоссах отдельных диалектных явлений в в том значении, которое придается этому слову лингвистической географией. Поэтому И. А. Батманов совершенно правильно употребил этот современный термин, излагая содержание и принципы «комбинированной классификации» тюркских языков, т. е. классификации А. Н. Самойловича [13]. Можно сказать, что эта классификация, несмотря на необходимость ряда фактических поправок, вызванных дальнейшими успехами тюркологии, до сих пор остается, по крайней мере по своим принципам, наиболее гибкой и «реалистической» [14].

Таким образом, в тюркологии в силу объективной необходимости возник оригинальный способ графической передачи изоглосс без применения лингвистических карт. И. А. Батманов использовал этот способ с незна-

[12] А. Самойлович, указ. соч., стр. 15.

[13] И. А. Батманов, Краткое введение в изучение киргизского языка, Фрунзе, 1947, стр. 87 и сл.

[14] Недаром и финский ученый М. Рясянен, следуя в своей классификации за А. Н. Самойловичем (и Г. Рамстедтом), воспроизвел классификационную таблицу первого в своей книге «Материалы по исторической фонетике тюркских языков» (М., 1955, стр. 30).

чительными изменениями в своем исследовании о северных диалектах киргизского языка — в приложенной к этой работе «Схеме территориального распределения главнейших классификационных признаков», где «наличие изоглосс» обозначается горизонтальной чертой в соответствующих клетках таблицы [15]. Чаще встречаются диалектологические исследования, пользующиеся системой координат: по горизонтали располагаются наименования географических территорий, а по вертикали — различительные признаки; наличие или отсутствие данного признака обозначается плюсом или минусом в соответствующем квадрате [16].

Эти «заменители» лингвистической карты лучше всего свидетельствуют о растущей потребности строить классификации языков и диалектов, опираясь на методику изоглосс, т. е. на принципы лингвистической географии.

Сам А. Н. Самойлович предполагал необходимым «дальнейшее усложнение» своей классификации путем введения добавочных фонетических признаков, не учтенных в его основной схеме: 1) соответствия *й* — *дж* с другими вариантами в начале слов (*йок* — *джок* — *жок* и т. п.) и 2) соответствия *о* — *а*, *ö* — *е* во втором и следующих слогах у основ с губными гласными [17] (т. е. наличие или отсутствие губного сингармонизма). Введение этих различительных признаков еще усилило бы перекрещивающийся характер, присущий «изоглоссам» Самойловича. Вслед за А. Н. Самойловичем И. А. Батманов перечисляет 14 дополнительных различительных признаков[18], в том числе: 1) озвончение начальных *т* и *к*, например кирг. *тил* «язык» — турецк., туркм., азерб. *дил*, кирг. *кер* «смотри» — туркм. и др. *гер* и т. п.; 2) чередование *ч* — *ш*, *ч* — *ц*, благодаря которому намечаются такие группировки: а) чокающие языки (например, киргизский, узбекский, туркменский); б) шекающие языки (как казахский); в) цекающие (например, мещерский диалект татарского языка, язык тобольских и барабинских татар и древнебашкирский язык, тогда как современный башкирский вместо *ц* имеет уже *с*), ср. кирг. *ач* «голодный», казах. *аш*, барабинск. *ац* — совр. башк. *ас*; 3) чередование начальных *й* — *дж* — *дь* — *ж* — *ч* — *с* перед гласным, благодаря которому в составе тюркских языков можно выделить шесть подгрупп: а) группу йокающих языков, как туркменский, азербайджанский, ряд диалектов узбекского языка, ряд диалектов татарского и некоторые другие (*йол*, татар. *йул* «путь»); б) джокающую группу в составе киргизского языка и некоторых других (*джол*); в) дёкающую группу в составе алтайского языка (*дьёл*); г) жокающую группу, например, в составе казахского и каракалпакского языков (*жол*); д) чокающую, как, например, шорский (*чол*); е) сокающую, как якутский (*суол*)[19].

И. А. Батманов распределяет свои дополнительные признаки по шести основным классификационным группам Самойловича как их дальнейшие подразделения. Существенное значение имеет, однако, оговорка, которую он вынужден сделать по этому поводу: указанные им признаки в ряде случаев выходят за пределы той основной группы, к которой они отнесены; они перекрещиваются между собой и с границами этих групп.

В связи с этим необходимо напомнить очень правильное высказывание В. А. Богородицкого: «При сравнительном изучении татарского вокализ-

---

[15] И. А. Батманов, Северные диалекты киргизского языка, I, Фрунзе, 1938.

[16] Ср., например: Ж. Доскараев, Краткий очерк о южном диалекте казахского языка, «Изв. АН КазССР». Серия филол., 4 (29), 1946, стр. 63, и др.

[17] А. Самойлович, указ. соч., стр. 14.

[18] И. А. Батманов, Краткое введение в изучение киргизского языка, стр. 86—90.

[19] Там же.

ма, как и консонантизма, необходимо определять смежные тюркские территории или объединения, по которым в настоящее время распределяются так или иначе рефлексы старотюркских фонем; эти территориальные объединения не одни и те же для разных случаев. Путем подобного рассмотрения лингвистических фактов мы считаем возможным получить указания на постепенное формирование тюркских языковых областей в разные периоды прошлого»[20]. Следует отметить, что «топографическая точка зрения», которую выдвигал В. А. Богородицкий, вовсе не означала, как обычно думают, замену классификации тюркских языков простым их описанием в порядке географической смежности. Богородицкий, как видно из нескольких примеров в его книге, особенно в разделе консонантизма[21], стоял на лингвогеографической точке зрения, предприняв первую и до сих пор единственную попытку применить принципы лингвистической географии к проблемам сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

3. Когда место того или иного тюркского языка в генеалогической классификации, построенной по принципу «родословного древа», определяется присущими этому языку различительными признаками, эти признаки обычно представляются в географически обобщенной, абстрактной форме, без достаточного учета реальной диалектной дифференциации данного языка. В основу классификации кладутся черты, присущие национальной литературной норме, а не той сложной и противоречивой реальности, которая скрывается за этой нормой. Такое упрощение существенным образом может исказить историческую картину взаимоотношения языков и диалектов. «Авторы классификационных схем,— справедливо замечает Б. А. Серебренников,— обычно мало внимания обращают на диалекты. При классификации тюркских языков обычно отбирают признаки литературных языков, например татарского, казахского, киргизского, азербайджанского и т. д. Между тем отбор отличительных признаков при учете показаний диалектов становится более затруднительным, но в то же время способствующим уточнению положения данного языка среди других родственных»[22].

Дифференциация языка с учетом диалектных признаков по изоглоссам (например, для казахского языка — границы жоканья или употребления *ш* вместо *ч*) вносит существенные поправки в реальную картину исторического развития и взаимоотношения языков.

Вместе с тем во всех приведенных выше классификациях неясным остается вопрос о лексическом охвате того или иного диалектного признака. Обозначая диалектные группы словами-примерами как группу с признаком *адак* или *тау* и т. п., А. Н. Самойлович, как и другие, следовавшие его примеру, не ставил вопроса, следует ли предполагать за этими примерами одинаковое развитие всего соответствующего лексически не замкнутого фонетического ряда (т. е. универсальный охват общего фонетического закона) или данное явление ограничено лексически и, наличествуя в одних словах, отсутствует в других.

Выдвинутые здесь положения можно иллюстрировать несколькими хорошо известными примерами. Узбекские диалекты, чрезвычайно разные по своим особенностям, издавна (со времен Е. Д. Поливанова) подразделяются исследователями на три основные группы, которым давались различные названия: 1) среднеузбекская (юго-восточная, чагатайская, или кар-

[20] В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1953, стр. 101.

[21] Там же, стр. 105—116.

[22] Б. А. Серебренников, К проблеме классификации тюркских языков, ВЯ, 1961, 4, стр. 67.

луко-чигиле-уйгурская); 2) южнохорезмская (юго-западная, или огузская); 3) северо-западная (кыпчакская, шейбанидо-узбекская, или джокающая). Диалекты первой группы, родственные многими своими особенностями новоуйгурскому, послужили основой для узбекского национального языка. Диалекты второй и третьей групп по своим основным признакам должны быть отнесены соответственно к огузской и кыпчакской группам, т. е. близки к туркменскому и к казахскому с каракалпакским. «В южнохорезмских говорах,— писал А. К. Боровков,— начальным глухим *к*, *т* соответствуют звонкие *г*, *д* (*гелді* «прибыл», *ді:рі* «живой» и т. д.), гласных девять, различаются сингармонистически контрастные гласные переднего ряда и заднего ряда, имеет место фонематическое различение кратких и долгих гласных (хив. *этің* «твоя лошадь», *э:дің* «твое имя»), конечные *ң*, *г*, *к*, *г* после предшествующих узких гласных в определенной категории слов отсутствуют (хив. *ді:рі* «живой», *са:рі* «желтый» и т. п.), форма настоящего данного момента на *-јатір* (*гелјатір* «приближается, идет»), форма будущего на *-джак*, *-джäк* (*гелäджäк* «придет, прибудет»), словарь отличается своими особенностями». В джокающих диалектах «гласных... восемь (или девять с усвоенной фонемой э в первых слогах), гармония гласных имеет место, в абсолютном начале слова на месте *ј* других говоров регулярно *дж* (*джол* «дорога», *джаман* «плохой» вместо *јол*, *јэмэн* и т. д.), конечным *ң* и *г* после предшествующих широких гласных соответствует *ш* (*таш* «гора», *баш* «сноп», *конгіраш* «звонок», ср. ташк. *тэг*, *бэг*, *конгірок*), после предшествующих узких гласных конечные *ң*, *г*, *к*, *г* отсутствуют в определенной категории слов (например, *кічі* «маленький», *сарі* «желтый», ср. ташк. *кічік*, *сарің*), есть особая форма дат. падежа местоимений личных и указательных, например, *маган* «мне», *саган* «тебе», *уган* «ему» и т. п., форма настоящего данного момента на *-джатір* (*-јатір*) или *-јап* (*келä-джатір*, *келјäтір*, *келјäпті* «приближается, идет»), имеется большой ряд особенностей в словаре»[23].

Несколько иной, частично уточненный и расширенный список различительных признаков обоих диалектов дает В. В. Решетов[24], но это не

Таблица 2

Таджикский язык			
	1. Карлуко-чигиле-уйгурский диалект		
Казахский и каракалпакский языки	2. Кыпчакский диалект	3. Огузский диалект	Туркменский язык

меняет общих выводов, как это ясно из графической схемы (см. табл. 2), на которой узбекский язык представлен автором как «сложившийся в результате объединения трех тюркских компонентов: 1) карлуко-чигиле-уйгурского, являющегося ближайше родственным современному уйгурскому языку и имеющего тесные этно-лингвистические связи с таджикским языком; 2) кыпчакского, ближайше родственного казахскому и каракалпакскому языкам, и 3) огузского, ближайше родственного туркменскому языку»[25].

[23] А. К. Боровков, Вопросы классификации узбекских говоров, «Изв. АН УзССР», 5, 1953, стр. 73.

[24] В. В. Решетов, Узбекский язык, ч. I — Введение. Фонетика, Ташкент, 1959, стр. 59—68.

[25] Там же, стр. 73—74; см. его же, Изучение узбекских народных говоров, сб. «Ўзбек диалектологиясидан материаллар», I, Тошкент, 1957, стр. 15—16.

В наиболее четкой форме эту точку зрения в свое время выдвинул Е. Д. Поливанов, который писал: «Следовательно, общеузбекского праязыка, как такового, никогда не существовало; узбекский язык (как совокупность говоров узбекского коллектива) возник не из дифференциации (диалектологического дробления) некогда единой (или более или менее единообразной) языковой системы, а, наоборот, путем объединения различных в языковом отношении турецких (т. е. тюркских.— *В. Ж.*) коллективов (на почве усвоения ими единообразной экономической характеристики, т. е. экономических признаков узбекского национального коллектива)»[26].

Вывод Е. Д. Поливанова имеет важное методологическое значение, а именно: диалекты в ряде случаев отнюдь не являются «ответвлениями» общенародного (тем более национального) языка (согласно известной формулировке И. В. Сталина); напротив, национальный (общенародный) язык может сам быть результатом схождения (сближения) диалектов. Это — существенная поправка, которую вносит современная лингвистическая география в классификацию, построенную по принципу «родословного древа».

Можно привести аналогичный пример из области индоевропейских языков, значительно лучше изученных с точки зрения сравнительной грамматики и исторической диалектологии. В традиционных классификациях германских языков и наречий, построенных по схеме родословного древа и восходящих к методологическим традициям «младограмматиков», немецкий язык относили к западногерманской группе, ответвившейся от общегерманского языка-основы («прагерманского») параллельно с северногерманским (скандинавская группа) и восточногерманским (готская группа). Западногерманский в свою очередь является «языком-предшественником»(«основой») для двух групп: англо-фризской и немецкой. Немецкий («пранемецкий» — Urdeutsch) по признакам второго (иначе «верхненемецкого») передвижения согласных распадается на нижненемецкий и верхненемецкий, а последний — на средненемецкий и южнонемецкий с дальнейшим подразделением этих основных наречий на диалекты и поддиалекты.

Однако современные исследования представителей немецкой диалектографии, основанные на «Атласе немецкого языка» («Deutscher Sprachatlas») и лингвогеографической интерпретации древних письменных текстов, убедительно показали, что древненижненемецкий не был связан с древневерхненемецким непосредственной общностью происхождения, а представлял первоначально самостоятельный племенной диалект (древнесаксонский), входивший в состав ингвеонской группы западногерманских диалектов вместе с родственными ему древнеанглийским (англосаксонским) и древнефризским. Тем самым «пранемецкого» языка как общего предка нижненемецкого и верхненемецкого наречий вообще никогда не существовало. В результате насильственного включения древних саксов в франкское государство Карла Великого (с конца VIII в.) произошло «онемечение» древнесаксонского и постепенное превращение его (закончившееся в XVI—XVII вв.) в нижненемецкий диалект (Plattdeutsch) общенемецкого национального языка. Немецкий общенародный язык складывался параллельно с формированием немецкой народности в исторических рамках восточной (германской) части франкского государства Меровингов и Каролингов в процессе схождения разных по своему происхождению западногерманских племенных наречий — франков (истеонов), баварцев и алеманнов (эрминонов), позднее также саксов (ингвеонов). Таким обра-

[26] Е. Д. Поливанов, Узбекская диалектология и узбекский литературный язык, Ташкент, 1933, стр. 4.

зом, единство немецкого общенародного языка лежит не в общности происхождения древненемецких наречий от мнимого общенемецкого «праязыка»: оно явилось результатом длительного исторического процесса, завершившегося объединением новонемецкого национального языка в условиях формирования буржуазного общества[27].

Известный интерес для вопроса о диалектных границах тюркских языков могут представить и наблюдения диалектологов-романистов. Если национальные языки романского мира, например французский и итальянский, четко противопоставлены друг другу, то народные говоры, не считаясь с национально-государственными границами, образуют языковую непрерывность с постепенной заменой одного диалектного признака другим. Об этом говорит Г. Шухардт в своей классической работе «О классификации романских диалектов» (1900). Если, перевалив через Апеннинский хребет, пишет Шухардт, продвигаться в северной Италии по направлению к французской границе, пользуясь в этой пешеходной прогулке из села в село только местными народными говорами, мы заметим, как будут исчезать один за другим отличительные признаки итальянского языка, уступая место соответствующим французским. «Но где же поставить нам пограничный столб?—спрашивает Шухард.— Там ли, где пастухи зовут своих свиней не *i porci* (итал. — *В. Ж.*), но *lus cusciuns*, *les cochons* (франц.—*В. Ж.*), или там, где мы впервые услышали, как ребенок называет отца *mon pair*, *mon père* (франц.—*В. Ж.*), вместо итал. *mio padre*? Я опасаюсь, что в этом случае каждый будет руководствоваться собственным вкусом»[28].

Мы сталкиваемся с таким «географическим варьированием», как называет Шухард это явление, и в тюркской диалектологии, не только в таких классических примерах, какие представляют собой с этой точки зрения огузские и кыпчакские диалекты узбекского языка, непосредственно связанные с соседними туркменскими и казахскими, но и в ряде других, менее отчетливо выраженных случаях, когда изоглоссы тех или иных различительных признаков не считаются ни с национальными границами, ни с ориентированными на них классификационными схемами.

Так, южные диалекты казахского языка объединяются по ряду признаков с соседними узбекскими. Например, казахскому *ш*, по сообщению Н. Т. Сауранбаева и Ш. Ш. Сарыбаева, на территории «от Кзыл-Ординской области до Семипалатинской области» соответствует аффриката *ч* (как в узбекском), например: *шақпақ* «спички» — *чақпақ*, *шаң* «пыль» — *чаң*, *шатақ* «скандал» — *чатақ* и др. Чередование это происходит, однако, «главным образом в позиции анлаута» (что значит «главным образом»?), из конечных слогов — только в суффиксе *-шы/-чы*: *етікші* «сапожник» — *етікчі*, *сауншы* «доярка» — *саунчы*, *тігінші* «швея» — *тігінчі* и др.[29]. При широком географическом распространении этого явления говорить здесь о «переходных говорах» или об «узбекизации», как принято в таких случаях, вряд ли есть основания.

Вопрос о лексическом охвате различительных признаков в подобных случаях обыкновенно не ставится. Между тем свидетельством взаимодействия двух соседних языков (точнее — двух соприкасающихся диалектов этих языков) может служить наличие лексически ограниченной группы

[27] См. В. М. Жирмунский, О племенных диалектах древних германцев, сб. «Вопросы германского языкознания. Материалы Второй научной сессии по вопросам германского языкознания», М.— Л., 1961, стр. 29; его же, История немецкого языка, 4-е изд., М., 1956, стр. 40—42.

[28] Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., 1950, стр. 123—125.

[29] Н. Т. Сауранбаев, Ш. Ш. Сарыбаев, К изучению казахских диалектов, «Вопросы истории и диалектологии казахского языка», 1, Алма-Ата, 1958, стр. 8.

случаев, выпадающей из общих исторических закономерностей данного языка (или диалекта). Так, «кыпчакское» джоканье в составе отдельных слов, как мимоходом отметил В. В. Решетов, проникло в ташкентский (в своей основе «чагатайский», т. е. йокающий) диалект узбекского языка и из него — в письменную норму узбекского национального литературного языка[30]. Таких слов довольно много; к их числу относятся, например: *жун* /дж-/ «шерсть», *жилов* «повозка», *жар* «овраг», *жилмоқ* «двигаться», *жилдирмоқ* «двигать», *жайналмоқ* «цвести» и некоторые другие. Освоение этих «кыпчакских» форм не представило фонетических затруднений для носителей центральноузбекских городских говоров ввиду наличия в литературном узбекском языке и в ташкентском говоре фонемы /дж/ в многочисленных словах, заимствованных из таджикского. Проследить изоглоссы некоторых из перечисленных слов было бы весьма поучительно: они свидетельствуют о том, что степь подходила вплотную к воротам Ташкента.

Озвончение начальных *т* и *к* (*қ*), которое И. А. Батманов упоминает в своем перечислении дополнительных к классификации А. Н. Самойловича изоглосс, при реализации его в лексике того или иного языка обнаруживает неоднородную и весьма пеструю картину. Озвончение начальных *т*, *к* считается одним из древних признаков огузского наречия. Оно отмечено (для *д* — *т*) уже Махмудом Кашгарским в середине XI в.: «Каждое *t* гуззы и родственные им народы обращают в *d*, например: *tävä* «верблюд» — *dävä*, *ot* «дыра» — *od*»[31]. Звонкость встречается эпизодически и в других тюркских языках и диалектах, наиболее регулярно — в некоторых юго-восточносибирских, в то же время, как правило, — отмечает Рясянен,—«большая путаница в этом вопросе наблюдается даже в юго-западных тюркских языках»[32]; например: туркм., азерб. *гыз* «девушка» — турецк. *кыз*; азерб. *даш* «камень», туркм. *дäш* — турецк. *таш* и ряд других. Пестрота еще увеличивается, если от литературных языков обратиться к диалектам, где расхождения в лексическом охвате этого явления очень значительны и могут быть показаны наглядно только методом изоглосс[33].

Перекрестный характер изоглосс обнаруживается особенно отчетливо в описаниях языков и диалектов малых тюркских народов южной Сибири: алтайского — с диалектами алтайским, телеутским и теленгитским (северная группа), кумандинским, лебединским и черневым (южная группа)[34]; шорского — с диалектами кондомским и мрасским[35]; хакасского с двумя группами диалектов — сагайским, бельтирским и качинским, койбальским, кызыльским и шорским[36]; тувинского[37] и близкого ему карагас-

---

[30] В. В. Решетов, Узбекский язык, ч. I, стр. 36.

[31] C. Brockelmann, указ. соч., стр. 39.

[32] Примеры см.: М. Рясянен, указ. соч., стр. 132—139; примеч. к стр. 133.

[33] Попытку дать фонетически закономерное объяснение лексической пестроты чередования *t* — *d* в тюркских наречиях содержит статья В. М. Иллича-Свитыча, «Алтайские дентальные: *t*, *d*, *δ*», публикуемая в настоящем номере ВЯ, стр. 37—56.

[34] Н. А. Баскаков, Алтайский язык (Введение в изучение алтайского языка и его диалектов), М., 1958; N. A. Baskakov, La classification des dialectes de la langue turque d'Altai, «Acta orient. Hung.», VIII, 1, 1958.

[35] Н. П. Дыренкова, Грамматика шорского языка, М.— Л., 1941, стр. 5—6.

[36] Н. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхаков, Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов (материалы для научной грамматики), Абакан, 1954; Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул, Фонетические особенности хакасского языка и его диалектов, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954.

[37] Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка, М., 1961; Ф. Г. Исхаков, Тувинский язык. Очерк по фонетике, М.— Л., 1957.

ского[38]. Если применить к этим диалектам те традиционные критерии, которые обычно кладутся в основу классификации тюркских языков (отражение начального *й-*, чередование *-й-*, *-з-*, *-д-* внутри слова, звонкое или глухое произношение шумных согласных в начале слова, переходы *ш* > *с*, *ч* > *ш*, судьба конечного *-г*, сужение или расширение ударных гласных и некоторые другие), то изоглоссы данных признаков позволят разделить сравнительно небольшую территорию распространения этих языков на группы диалектов, по своим особенностям противопоставляемые друг другу и объединяемые с соседними языками.

Диалекты алтайские делятся на группы южную и северную по признакам: *дьил* (или *йыл*) «год» — *чыл*, *туу* «гора» — *тау*, *чапкан* «скакавший» — *ш'апкан* и др.; шорский распадается на два диалекта, разделенные изоглоссами *азак* «нога» — *айак*, *кеш* «переправляйся» — *кеч* и др. Две группы хакасского различаются как «свистящая» и «шипящая» (*сас* «волосы» — *шаш*), однако кызыльский в отличие от трех других диалектов второй группы имеет *чеч*, демонстрируя один из многих примеров перекрестной дифференциации по изоглоссам.

В сущности мы имеем дело с целой группой племенных диалектов (языков), сохранявших в еще недалеком прошлом относительную самостоятельность в условиях значительной изоляции, архаической экономики и прочных в недавнее время пережитков родоплеменных отношений. В. В. Радлов сто лет назад — в 60-х годах прошлого века — еще застал и описал это состояние, расположив сделанные им записи в т. I—II своих «Образцов» по племенам и племенным группам. Только в эпоху социалистического строительства эти племена, племенные группы или осколки племен объединились в народности и соответственно стали сближаться и в языковом отношении. Поэтому было бы анахронизмом с точки зрения исторической возводить, например, хакасские диалекты к общенародному языку как его «ответвления», отождествляя этот язык с тем общим хакасским литературным языком, который формируется на наших глазах (в основном на диалектной базе сагайского и качинского наречий). Диалекты эти, подобно узбекским, связаны между собой не генетическим единством языка-основы, реконструированным по принципу родословного древа, а процессами конвергирующего развития (схождения), совершающегося в нашу эпоху вместе с формированием социалистических народностей и наций.

С южноалтайскими наречиями связан в своих древних основах и киргизский язык[39]. К многочисленным древним изоглоссам, объединяющим современный киргизский язык с южноалтайскими диалектами, присоединяется группа новых изоглосс, кыпчакских и узбекских по своему происхождению, проникших в киргизские диалекты, в особенности в южные, в процессе общения с новыми соседями на тяньшаньской родине киргизов[40].

Вопрос о возможном отражении древних племенных объединений на современных диалектологических картах есть вопрос исторический, и, как всякий исторический вопрос, он не допускает догматического и суммарного, одинакового для всех случаев решения. Как показали диалектологические атласы, отражения древних племенных связей немецкими или русскими диалектами должны быть признаны минимальными: племенные

---

[38] См. также Н. А. Баскаков, Тюркские языки, стр. 212—219, 204—207, 198—204, 192—194.

[39] См.: Б. М. Юнусалиев, К вопросу о формировании общенародного киргизского языка, «Труды Ин-та языка и литературы [АН КиргССР]», VI, 1956.

[40] См. И. А. Батманов, К генезису диалектов киргизского языка, «Труды Ин-та языка, литературы и истории [Кирг.ФАН СССР]», 1944, стр. 55—57.

границы оказались перекрытыми позднейшими границами феодальных объединений. Было бы, однако, необоснованным «европоцентризмом» придавать этим выводам универсальное значение. В тюркских языках и наречиях южной Сибири, развивавшихся в других общественно-исторических условиях, мы видим воочию отражение этих племенных границ на современной диалектологической карте.

Разумеется, из этого не следует, что в исторических условиях, например Узбекистана, можно установить наличие особого диалекта мангытов, которые будто бы на обширнейших пространствах своего расселения продолжают «в своих говорах и диалектах... сохранять сходные языковые факты»[41]. Эти древние племенные самоназвания, разбросанные в настоящее время по всей территории расселения некогда кочевых юрских народов, до сих пор прикреплены к осколкам племенных объединений, давно распавшихся и перемолотых в процессе взаимодействия с другими родственными по языку кочевыми племенами. «Такими раздробившимися на части племенами были кыпчаки, кунграты, канглы, уйгуры, кенегесы, найманы, уйшуны, мангыты и другие»[42]. Если некоторые из них и различались в прошлом по языку, то в условиях многократных этнических смешений и сношений с другими тюркскими племенами они давно должны были утратить эти различия.

4. Вообще историческая интерпретация изоглосс, как она практикуется в современной лингвистической географии, представляется более надежным способом исторического и сравнительного изучения родственных диалектов, чем суммарное отождествление нерасчлененного языкового или диалектного массива с теми или иными племенными коллективами или союзами племен далекого прошлого.

История народов, говорящих на тюркских языках, показывает нам грандиозную картину многовекового передвижения кочевых скотоводческих племен и больших племенных союзов из Центральной Азии через среднеазиатские и южнорусские степи, Волгу и Урал до Кавказа и Крыма, Малой Азии и Балканского полуострова. Расселяясь в разное время в разных частях этой обширной территории, тюркоязычные народы частично сохраняли вплоть до недавнего времени свой древний кочевой быт, частично переходили к оседлости, смешиваясь с местным нетюркоязычным оседлым населением.

История тюркских народов представляет последовательную смену патриархально-родовых и феодальных отношений, с длительным сохранением внутри феодального общества пережитков старых родоплеменных связей и патриархально-родового уклада. Образование более поздних феодальных объединений в условиях непрекращающихся межплеменных распрей, столь отчетливо проявляющееся, например, в прежней территориально-политической раздробленности областей современного Узбекистана, в дальнейшем перекрывает древние племенные связи. При этом отчетливо выступает культурное и языковое влияние феодальных городов как экономических и политических центров с их смешанным, разноплеменным и разнонациональным, частично ираноязычным населением. Формирование наций и национальных языков у ряда народов происходит и завершается в наше время, в эпоху социалистической революции. Национальное размежевание и распространение национального литературного языка через школу и печать содействует процессам интеграции первоначально очень различных, племенных по своему происхождению диалектов. Рядом с сплошными языковыми массивами, в рамках которых происходило и

[41] А. Ишаев, Из истории мангытов и мангытского диалекта узбекского языка, «Вопросы диалектологии тюркских языков», II, стр. 163.

[42] «История народов Узбекистана», 2, Ташкент, 1947, стр. 24.

происходит смешение и выравнивание диалектов, существуют (например, в Сибири) изолированные острова и островки языков и наречий, сохранивших вследствие своей длительной изоляции особо архаические черты.

Почти повсюду в результате этнических смешений в разной форме возникает проблема субстратных воздействий (иранских в Узбекистане и Азербайджане, монгольских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, палеоазиатских — в языках южной и восточной Сибири). При этом картографирование некоторых фонетических и в особенности лексических признаков на территории, например, Узбекистана следовало бы производить одновременно в узбекских и таджикских диалектах (А. К. Боровков придавал в этом отношении большое значение старой терминологии искусственного орошения).

Изоглоссы диалектных явлений, как уже было сказано, представляют отложения языковых сношений между общественными коллективами. Они объединяют языковые коллективы и разграничивают одновременно, свидетельствуя о границах общения, относящихся к разному времени. Каждая изоглосса или группа изоглосс требует интерпретации в свете исторической судьбы данного языкового и социального коллектива. Старые племенные расселения и группировки и приток нового кочевого населения, языковые взаимодействия между соседними группами и процессы позднейшей унификации в рамках феодальной или национальной территории — все эти исторические факты запечатлелись с разной степенью ясности в границах диалектных явлений, рассматриваемых не суммарно, а дифференцированно, в соответствии с особенностями изоглосс.

Таким образом, методика лингвистической географии, примененная к тюркским языкам, открывает широкие перспективы для изучения истории тюркоязычных народов, создателей и носителей этих языков и диалектов.

5. Необходимость создания диалектологических атласов в национальных масштабах в настоящее время, кажется, стала очевидной для всех ведущих представителей советской тюркологии. Пример «Атласа русских народных говоров» и ряда национальных атласов, подготовляемых в советских республиках, показал осуществимость такого рода предприятий. Известно, что А. К. Боровков еще в 1944 г. задумал подготовить атлас узбекских народных говоров и в целях сплошного диалектографического обследования составил анкету, содержавшую 65 вопросов по фонетике, грамматике и лексике[43]. План узбекского диалектологического атласа развил В. В. Решетов в тезисах доклада, подготовленного ко II региональному совещанию по диалектологии тюркских языков[44]. Прочное начало составления национального диалектологического атласа уже положено Академией наук Азербайджанской ССР (руководитель акад. М. Ш. Ширалиев). О предварительных результатах работы по составлению пробного атласа восточноазербайджанских диалектов, которая должна быть закончена в 1965 г., М. Ш. Ширалиев доложил IV региональному совещанию[45]. В «Материалах Второго регионального совещания» был опублико-

---

[43] «Ўзбек шева-лаҳжаларини текширишга доир савол-жавоблар», Тошкент, 1944.

[44] В. В. Решетов, О диалектологическом атласе узбекского языка, «Второе региональное совещание по диалектологии тюркских языков. Ноябрь 1958 г. Казань (Тезисы докладов)», Казань, 1958.

[45] См.: «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа азербайджанского языка», редакторы: М. Ширалиев, Р. Рустамов, Баку, 1958 (на азерб. яз.); М. Ш. Ширалиев, Диалектологический атлас азербайджанского языка, «Второе региональное совещание по диалектологии тюркских языков. . . (Тезисы докладов)»; его же, Азербайджанская диалектология на новом этапе, «Вопросы диалектологии тюркских языков», II; его же, Вопросы азербайджанской диалектологии, М., 1960 («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»).

ван доклад Н. Б. Бургановой и Л. З. Заляя «О принципах составления диалектологического атласа татарского языка»[46]. С тех пор работа эта успешно подвигается в Казанском филиале АН СССР. На IV региональном совещании был прослушан также доклад Г. Бакиновой «О принципах составления атласа киргизских говоров»[47].

Значение этих работ для истории и диалектологии национальных языков после всего сказанного не требует дальнейших доказательств. Следует только добавить, что всякое сплошное и систематическое обследование определенной диалектной территории, независимо даже от реализации этого обследования в форме атласа, всегда сопровождается открытием и регистрацией большого числа новых фактов, которые трудно было бы предугадать при монографическом изучении нескольких разрозненных опорных диалектных пунктов.

Однако в свете изложенных выше положений было бы своевременно подумать и о более сложной и отдаленной задаче — о возможности создания общего диалектологического атласа тюркских языков Советского Союза. Изоглоссы отдельных диалектных различий тюркских языков, притом важнейшие, не укладываются, как уже было сказано, в границы более поздних национальных размежеваний,— и это касается не только случаев так называемых «переходных говоров», но имеет почти всеохватывающий характер.

Историческое место и значение определенных диалектных различий для диалектологического членения отдельных языков можно установить лишь в более общей и широкой географической и исторической перспективе. Только когда каждый отдельный диалектный признак будет прослежен на всей территории распространения тюркских языков, группировки по языкам и диалектам выступят с полной отчетливостью. Вместе с тем такой атлас представит объективный языковой материал, указывающий на последовательные группировки этнического характера (племен и народностей), относящиеся к различным периодам истории тюркоязычных народов, их более древних объединений и позднейших передвижений. Без этой надежной опоры представляются невозможными и общая классификация тюркских языков и диалектов, историческая и современная, и их сравнительно-историческая грамматика, учитывающие всю сложность исторического развития тюркских языков и диалектов, их схождений, расхождений и смешений в реальных историко-географических условиях.

Еще одно обстоятельство с неизбежностью должно вывести составителей национальных атласов за пределы их родного языка. Как известно, национальное размежевание в Средней Азии не привело и не могло привести к тому, чтобы национальные массивы полностью замкнулись в рамках своих национально-государственных границ. На территории каждой национальной республики имеются значительные осколки соседних национальных групп и их диалектов, а в ряде случаев эта языковая чересполосица принимает весьма пестрый характер. Национальный диалектологический атлас, применяющий методику лингвистической географии, не может, конечно, игнорировать этот факт, так как в результате подобного длительного сожительства народов, говорящих на близкородственных языках и диалектах, неизбежно осуществляется сложное и в историко-лингвистическом отношении весьма поучительное взаимодействие между соседними разноязычными говорами. Диалектологический атлас Узбекистана отметит на его территории группы казахских, каракалпакских, киргизских и туркменских диалектов. Но факт этот также указывает на

[46] См. «Вопросы диалектологии тюркских языков» [1], Казань, 1960.

[47] «Тезисы докладов IV регионального совещания по диалектологии тюркских языков», Фрунзе, 1963.

общетюркологическую перспективу, которую полностью может показать лишь общий атлас тюркских языков и наречий Советского Союза.

В работе над подготовкой такого атласа следовало бы принять участие как Институту языкознания АН СССР (его тюркологическому сектору), так и лингвистическим институтам тюркоязычных республик. Перед избранной IV региональным совещанием Комиссией по координации диалектологической работы в области тюркских языков СССР поставлена задача выработать общие принципы и план такой работы, а также самое важное — диалектологическую анкету.

Разумеется, эта работа представляет немало трудностей и потребует затраты времени и участия квалифицированных научных сил. По соображениям практического характера, она могла бы по началу выполняться республиканскими институтами как часть их работы по составлению национальных атласов. Но общий атлас не может быть простой суммой национальных работ, осуществленных без предварительной координации. Координации подлежит прежде всего транскрипция, которая по необходимости должна быть общей (или по крайней мере соотносительно общей), и составление диалектологических анкет. Без такой предварительной координации национальные атласы окажутся несовместимыми.

Самым простым решением этого вопроса могло бы явиться включение в анкеты всех национальных атласов небольшой группы одинаковых вопросов, содержащих примеры (50—60 слов) на важнейшие общезначимые диалектные явления. Частично эти слова или явления будут совпадать с уже имеющимися в национальной анкете. Но частично примеры будут касаться и явлений, не существенных для диалектной дифференциации внутри данной национальной территории и потому не отмеченных в национальной анкете (которая может, с другой стороны, содержать вопросы, имеющие различительное значение только в пределах данной территории). Лишние 50—60 примеров вряд ли особенно отягчат национальный вопросник. Можно надеяться, что в пределах такого краткого вопросника в работу сумеют включиться и республиканские центры, которые еще не планировали составления трудоемкого национального атласа.

Решение задач, связанных с общетюркским вопросником, позволит заложить основу для общего лингвистического атласа тюркских языков и наречий, которая в дальнейшем может быть соответственно расширена с помощью новых анкет, содержащих дополнительную серию вопросов. Методика лингвогеографического исследования вполне допускает такое последовательное расширение круга поставленных вопросов. Дополнительная серия вопросов даст материал для выпусков атласа, которые последуют за первым, по необходимости пробным (экспериментальным).

Образцом для составления общего атласа на базе местных, национальных может служить общеславянский лингвистический атлас, подготовительные работы над которым ведутся в настоящее время согласно решению IV Международного съезда славистов. В обсуждении плана и анкеты этого атласа принимали участие все славянские академии наук и специальная Международная комиссия. На первых же совещаниях выяснилось, что вопросник для общеславянских изоглосс не совпадает с анкетами национальных атласов, так как охватывает круг явлений, имеющих общеславянское, а не местное значение. Подготовленный Комиссией проект общеславянской анкеты представлен в сентябре 1963 г. на утверждение V Международного конгресса славистов в Софии. Затем составители предполагают испробовать анкету в ряде опорных пунктов на всех славянских территориях. После обработки и проверки материала исправленная анкета будет окончательно пущена в работу. Представляется, что советские тюркологи могли бы воспользоваться результатами этого опыта.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

К. Ф. ЗАХАРОВА, В. Г. ОРЛОВА

ГРУППИРОВКА ГОВОРОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ДАННЫМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

В настоящее время, после того как проведено изучение русского языка методами лингвистической географии, может быть подвергнут переоценке и пересмотру вопрос о диалектной дифференциации русского языка. Группировка говоров русского языка была предложена впервые в 1915 г. авторами «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе». Для характеристики отдельных групп говоров были использованы данные, полученные при помощи разного рода анкет. В общих контурах была намечена реальная картина расчленения говоров русского языка.

В связи с тем, что созданию этой группировки не предшествовало изучение географии достаточного количества явлений, естественно, оставались неизвестными закономерности распространения явлений, нередко связанные с их происхождением и положением в ходе развития русского языка. Отсутствие этих данных приводило авторов «Опыта» к тому, что в некоторых случаях при выявлении тех или иных характеристик они опирались на черты, не показательные для этой цели (например, роль рефлексов ѣ при группировке говоров северновеликорусского наречия); в результате в ряде случаев получаемые характеристики являлись не вполне сопоставимыми и в известной мере произвольными. Авторы «Опыта» не могли в силу тех же обстоятельств достаточно последовательно оценить роль междиалектных контактов между различными объединениями говоров русского языка на основе распределения характерных для них изоглосс. Этим объясняется, например, преувеличение ими роли «белорусского» элемента при членении говоров западной части территории распространения русского языка (по закономерностям распространения некоторых представленных там черт эти говоры можно считать в равной мере как белорусскими, так и русскими)[1].

Проведенное изучение говоров русского языка методами лингвистической географии дает принципиально новую основу для рассмотрения вопросов диалектной дифференциации. Оно позволяет в принципиальном плане рассмотреть вопрос о возможности создания группировки или классификации говоров языка, а затем создать и самое группировку. На основе новых данных может быть дан анализ общей картины размещения изоглосс, выявлено наличие или отсутствие закономерностей в этом размещении, иными словами, может быть создана общая характеристика лингвистического ландшафта языка, осуществлено установление его структуры и характерных для нее закономерностей.

Систематическая интерпретация новых данных обеспечивает внутренне единый принцип при выделении диалектного объединения любого ранга и в большой степени позволяет устранить случайность в установлении этих объединений.

[1] В. Г. Орлова, Русско-белорусские отношения по данным диалектологических атласов, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, II, М., 1961.

При впервые осуществляемом обобщении всего многообразия изоглоссных данных языка на первое место выдвигается необходимость дать общую оценку характера различных изоглосс, поскольку этот характер может быть весьма различным для разных языков. В результате должны быть сформулированы основные закономерности лингвистического ландшафта языка [2].

Общее изучение лингвистического ландшафта показало, что для русского языка типичным является обособление отдельных частей территории его распространения, достигаемое совмещением ареалов языковых явлений, границы распространения которых — изоглоссы — образуют пучки. Этот тип членения территории является наиболее важным для построения группировки говоров. Существенным для характеристики различных территориальных величин является и то, с какими другими величинами, противостоящими им на данной территории, они соотносятся.

Разного другого типа ареалы и сочетания ареалов имеют в ряде случаев различное значение для группировки говоров языка или для установления его диалектной структуры. Определенные явления могут быть распространены и на микротерриториях, единичных или нескольких, разбросанных в виде разного размера «островов»; при этом соответствующие изоглоссы образуют замкнутые кривые на общей территории распространения языка. Такое распространение имеет, например, употребление особых «закрытых», «напряженных» звуков в соответствии этимологическим *ě* и *о* (под восходящим ударением) или слов с гласным *е*, не изменившимся в *о* под ударением. К той же категории по характеру распространения принадлежит употребление неоглушенных согласных на конце слова или употребление мягких шипящих согласных. Существенными для понимания лингвистического ландшафта являются случаи повсеместного, хотя и не сплошного, распространения определенного круга явлений, находящихся за пределами литературного языка, но не дающих в своем распространении изоглосс. Это, например, произношение слов типа *первый* с мягким *р* или произношение слова *сундукй* с редуцированным гласным во втором предударном слоге (*съ́ндукй*).

Два последних типа распространения явлений (в виде «островов» или вне определенной территориальной приуроченности) важны для общего понимания характера лингвистического ландшафта, однако они не представляют непосредственных данных для установления группировки говоров; при создании группировки говоров на основе общего изучения лингвистического ландшафта проводится отбор данных, которые характеризуют диалектную дифференциацию как таковую и связаны с достаточно определенными территориальными разновидностями языка.

Некоторые замечания следует сделать о границах рассматриваемой территории. Картографированная к настоящему времени часть общей территории распространения русского языка — это центральные области Европейской части СССР. С исторической точки зрения это территория, на которой складывались русские диалекты (примерно в период до XV в.)

---

[2] В последнее время П. Ивич разработал приемы применения математических методов для изучения лингвистического ландшафта (см. П. И в и ћ, Основни аспекти структуре дијалекатске диференцијације, «Македонски јазик», XI—XII, 1—2, 1960—1961; P. I v i č On the structure of dialectal differentiation, «Word», XVIII, 1—2, 1962). Это дает возможность установить показатели, характеризующие частоту изоглосс в пределах отдельных пучков с учетом их направления. Такая обработка материала, как замечает сам П. Ивич, не даст полной картины комплексных отношений на данной территории, а лишь абстракцию того, что в этих отношениях существенно («Основни аспекти структуре. . .», стр. 92). Стремление к установлению такого рода абстрактных показателей хорошо согласуется с той задачей сравнительного изучения лингвистического ландшафта разных славянских языков, которую ставит перед собою П. Ивич.

и где современные говоры в наибольшей степени связаны с диалектными объединениями предшествующего периода. Группировку говоров целесообразно строить в первую очередь на основе изучения изоглосс данной территории, так как именно здесь, в отличие от более восточных областей, заселявшихся в основном после XV в., наблюдаются основные закономерности выделения ареалов.

Изучение диалектного членения на территориях, заселявшихся в более позднее время, представляет собой задачу особого рода и может быть вторым этапом в общем изучении состава говоров русского языка. Это изучение должно будет опираться на понимание структуры говоров центральных территорий; оно даст объяснение того, в ряде случаев более дробного и менее определенного, размещения диалектных групп, которое сложилось на территориях позднего заселения.

*

При создании группировки говоров языка может и должна быть использована лишь часть изоглоссных данных, характеризующих лингвистический ландшафт; имеются в виду прежде всего данные о территориальных величинах, обладающих достаточной определенностью своих очертаний, выделяющихся пучками изоглосс и характеризующихся, таким образом, совмещением ареалов ряда языковых явлений. Однако и из числа такого рода территориальных величин не все непосредственно связаны с выделением групп говоров как реальных разновидностей диалектного языка; некоторые из них дают представление о фонде явлений (обладающих определенностью территориального распространения), общем для нескольких групп говоров. С другой стороны, такого рода территориальные величины находятся как бы в отношении иерархического порядка. Известное количество территориальных подразделений (меньших по своему размеру) существует лишь как часть каких-то более широких объединений. В плане языковом каждому из таких меньших подразделений, наряду с характерным для него комплексом языковых черт, присущи все черты высшего подразделения. Характеристика любого диалектного подразделения определяется тем, какое место занимает оно в общей иерархии таких подразделений, т. е. в системе намечающихся противопоставлений территориальных величин, а также тем, каковы типы совмещения этих подразделений друг с другом, если такое совмещение наблюдается.

При изучении пучков изоглосс и тех их сочетаний, которые образуют, налагаясь друг на друга, ареалы различных языковых явлений на центральных территориях распространения русского языка, прежде всего возникает задача выделения основных для структуры говоров русского языка территориальных величин.

Высшими по своему значению величинами должны быть признаны те, которые связаны с наиболее широким — бинарным — членением говоров изучаемой территории и, таким образом, являются взаимно противопоставленными. Важной особенностью этих наиболее широко противопоставленных величин, при обозначении которых мы будем пользоваться традиционными для русской диалектологии терминами «северновеликорусское наречие» и «южновеликорусское наречие», является то, что каждая из них выделяется несколькими пучками изоглосс, отражающими определенные комплексы диалектных признаков, присущих только говорам каждой из противопоставленных территорий. Эти пучки изоглосс направляются с востока на запад, причем разные отрезки пучков изоглосс, выделяющих каждое из наречий, в разной степени одни спускаются к югу, а другие поднимаются к северу.

При этом территория каждого из наречий ограничивается теми пределами, в которых сочетаются все характерные для каждого из наречий признаки (см. карту 1)[3].

Естественно, что в данной статье и на данной карте нельзя дать перечень всех изоглосс, выделяющих наречия; на карте даны лишь изоглоссы, взятые в качестве представителей отдельных пучков. В действительности же наречиям русского языка, высшим единицам в иерархии диалектных групп, присущ комплекс многочисленных явлений, относящихся к разным сторонам языка. Наиболее характерны для этого комплекса фонетические явления-закономерности, в наибольшей степени типизующие диалектную речь, поскольку закономерности этого рода реализуются в принципиально неограниченном кругу слов.

Собственно лексические явления занимают особое положение в составе языковых комплексов, характеризующих территориальные объединения крупного масштаба. Той или иной лексеме сплошного распространения на данной территории (или нескольким словообразовательным вариантам, образованным от одного корня) нередко противостоит на противоположной территории несколько разных лексем, объединенных общим значением. Таким образом, если фонетические и грамматические явления чаще образуют двучленные диалектные различия, то лексические различия чаще являются многочленными; поэтому приходится условно выделять один член из состава многочленного диалектного различия, имеющий наиболее широкое распространение.

Определение территории наречия как такой, на которой совмещаются ареалы всех характеризующих наречие явлений, уже предполагает наличие пространства неравномерного совмещения окраинных частей ареалов различных явлений и взаимоналожение различных пучков изоглосс (см. карту 1).

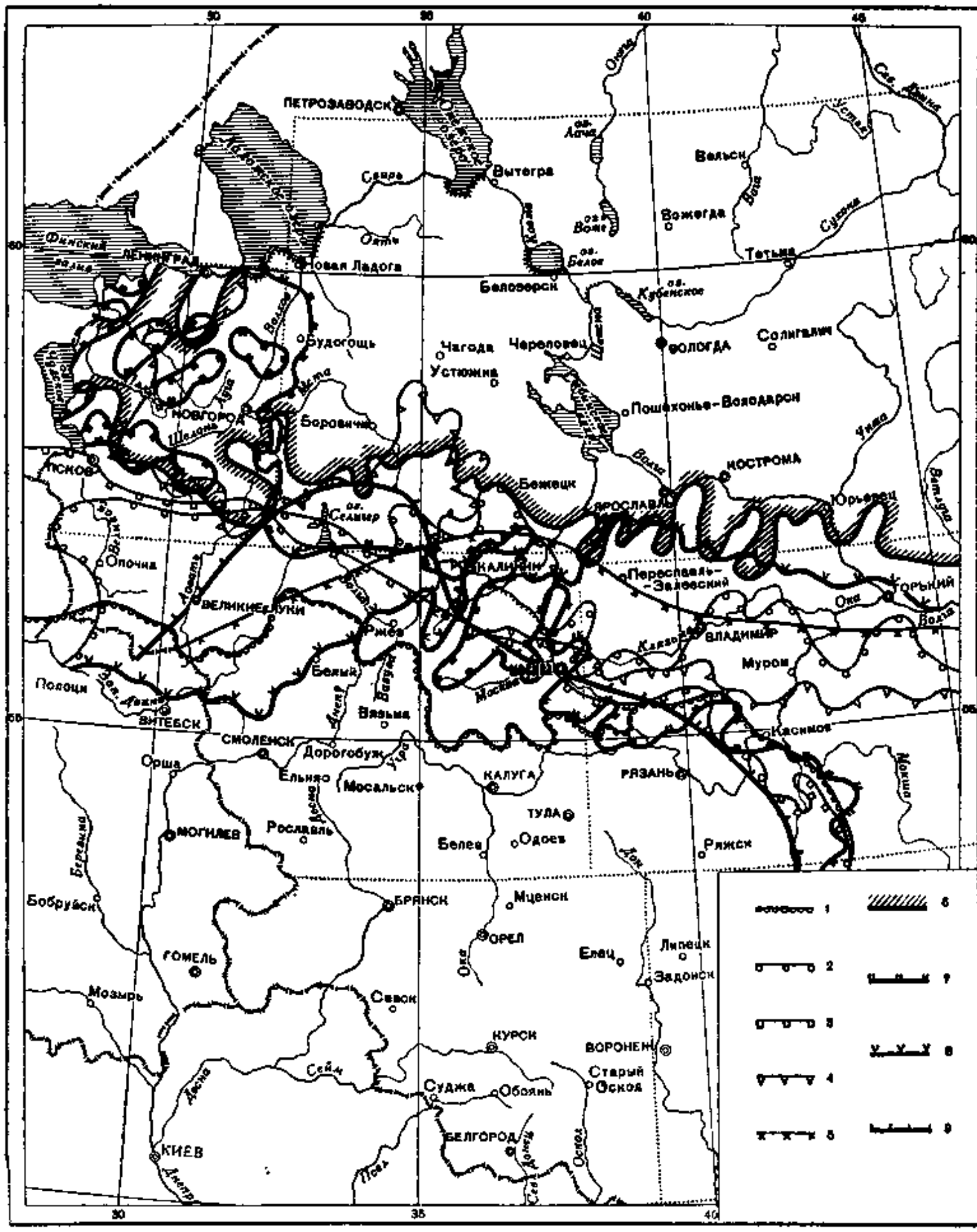
Здесь мы оставляем в стороне вопрос о том, что в пределах таких окраинных частей ареалов нередко наблюдается изменение характера самих соответствующих явлений. Изменения этого рода связывают иногда с самим процессом распространения явлений и их удалением от центров первоначального возникновения[4]. В возникновении этого рода изменений и, что главное, в их направлении играют роль междиалектные контакты, внешним выражением которых на карте является взаимоналожение окраинных частей ареалов. Однако явления этого рода должны быть предметом специального внимания при изучении вопросов диалектной дифференциации в историческом аспекте.

При построении же группировки говоров более всего следует считаться с тем, что говоры, расположенные в зоне совмещения ареалов явлений, порознь характерных для наречий русского языка, отличаются значительным разнообразием своего строя, зависящим от того, в какие конкретные сочетания входят в их системах структурные элементы, порознь известные на территории бинарно противопоставленных друг другу величин (наречий). Говоры этого рода можно обозначить как «переходные» или «центральные переходные» в отличие от говоров, находящихся на территории взаимоналожения ареалов более мелких диалектных подразделений. Возможно также, что для этих центральных переходных говоров было бы целесообразно сохранить термин «средне-

---

[3] Для обозначения области, в пределах которой все явления данного сочетания ареалов составляют комплекс, пользуются обычно термином «ядро», который не кажется подходящим к случаям нашего типа, поскольку соответствующие изоглоссы не образуют замкнутых кривых.

[4] О процессах, наблюдаемых в «зонах вибрации», см., например, В. М. Жирмунский, О некоторых проблемах лингвистической географии, ВЯ, 1954, 4.



Карта 1

1. Фрикативное произношение задненёбного звонкого согласного (γ)
2. Окончание -*е* в форме род. падежа ед. числа существительных жен. рода (*у же[н'ё]*)
3. Мягкое *т'* в форме 3-го лица глаголов
4. Неразличение гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге после твердых согласных (аканье)
5. Распространение глагола *брать* для обозначения процесса уборки льна (*лен берут*)
6. Различение гласных во втором предударном слоге
7. Безударные глагольные формы 3-го лица ед. числа I спряжения с выпадением интервокального *j* и стяжением гласных (*он дёл[ает], дёл[аат], дёл[ат]*)
8. Совпадение дат.-твор. падежей мн. числа существительных-прилагательных в форме дательного (*с худым рука́м, своим дела́м*)
9. *Квашня — квашонка* — название сосуда для приготовления теста

великорусские», поскольку он содержит указание на их географическое расположение, а подчеркивание их переходности не во всех случаях является правомерным: многие из этих говоров настолько давно сложились, что представляют большую устойчивость и определенность характерных для них систем. Весьма важными для выявления диалектной дифференциации переходных говоров являются местные новообразования, свидетельствующие о длительности языковых контактов.

Таким образом, группировку центральных переходных (средневеликорусских) говоров можно строить по характерному для разных частей этих говоров сочетанию разнодиалектных в прошлом черт, по тем структурным связям, которые возникали в них при становлении собственно местных систем и по характеру развитых ими инноваций, ареалы которых не выходят за пределы переходной зоны.

Наречия как высшие по своему значению единицы иерархии диалектной дифференциации русского языка, центральная полоса находящихся между наречиями переходных средневеликорусских говоров — таково наиболее широкое и общее членение говоров русского языка.

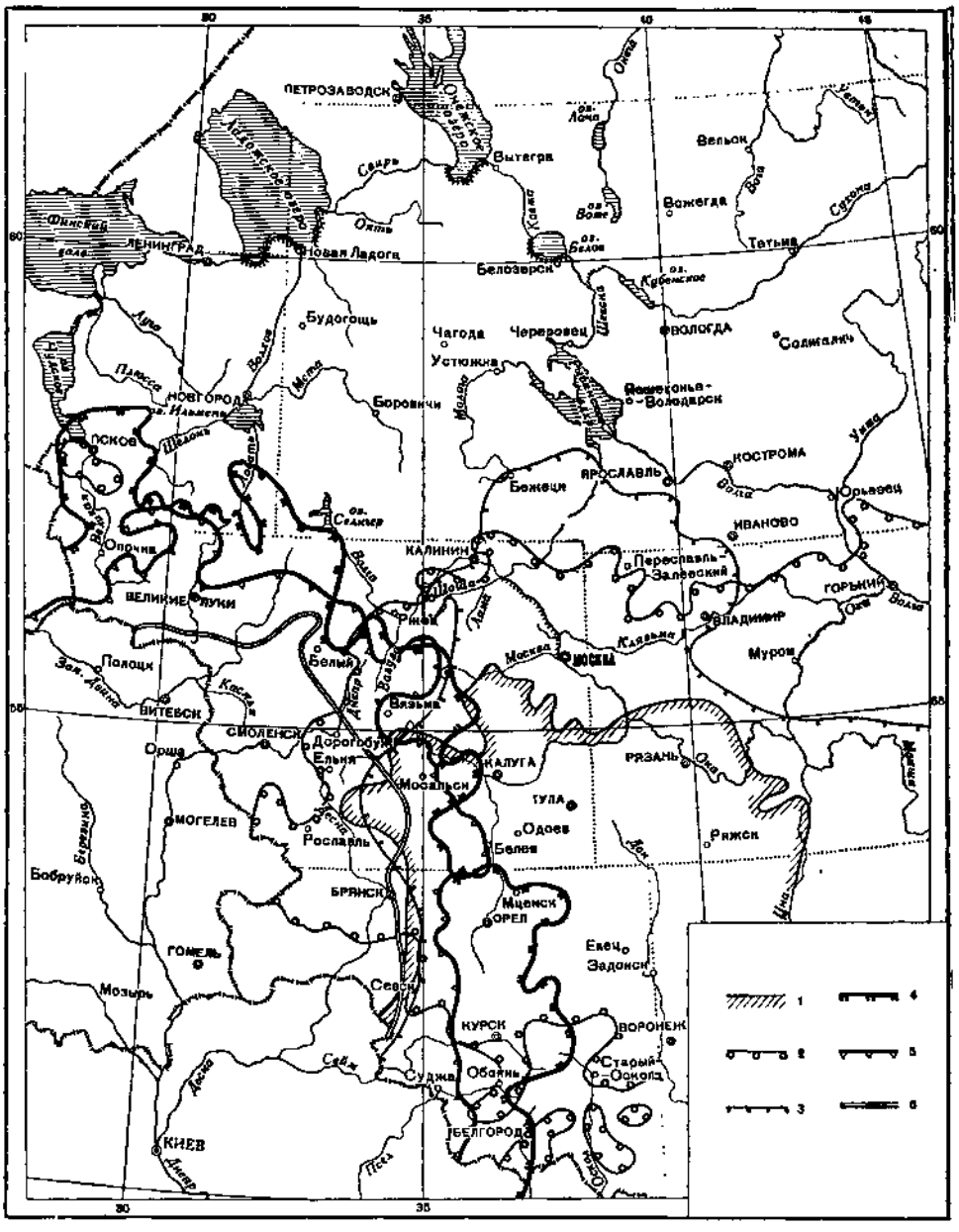
*

В пределах лингвистического ландшафта русского языка выделяются и другие достаточно определенные ареалы, охватывающие значительные пространства. Каждый из языковых комплексов, характерных для таких величин, противопоставлен в территориальном аспекте не другому единому диалектному комплексу, но нескольким (самое меньшее — двум) диалектным языковым комплексам.

Противопоставление таких территориальных величин, которые можно назвать диалектными зонами (зонами распространения данных языковых комплексов), отличается от бинарного противопоставления. На карте 2 показаны два случая обособления диалектных зон в южной части территории распространения русского языка.

Можно назвать и другие явления, изоглоссы которых приближаются по своим очертаниям к изоглоссам, показанным на карте 2. К изоглоссам 1, 2, 3, образующим пучок юго-восточной диалектной зоны, относятся изоглоссы таких явлений, как ассимилятивное смягчение губных согласных перед мягкими задненебными — *дé[ф'к']и*, *лá[м'к']и*; смягчение задненебных согласных в основе существительных при образовании форм твор. падежа мн. числа — *ýт[к'и]ми*, *дéнь[г'и]ми* и под.; склонение существительного *мышь* по типу слов муж. рода; согласование с существительными ср. рода, имеющими ударенное окончание *-о* (*молокó*, *селó*), прилагательных и местоимений жен. рода (*какáя молоко*, *большáя село*); образование формы им. падежа мн. числа с ударенным окончанием *-а* от существительных *мать*, *дочь* (*матеря́*, *дочеря́*); употребление ударенного окончания *-уя* у прилагательных жен. рода вин. падежа ед. числа (*молодýя женý*); употребление возвратных глаголов с частицей *-си* (*умы́лси*, *бойшси*); наличие ударенного гласного *о* в формах глагола *тащить* (*тóщит*, *тóщим*); употребление названий малой укладки снопов, образованных от основы *хрест-* (с начальным сочетанием *хр-*).

По отношению к юго-западной диалектной зоне приведем соответствующие данные дифференцированно. Близкими по своему распространению к изоглоссе 4 (см. карту 2) оказываются такие черты, как употребление протетического *в* перед начальными *о*, *у* (*вóсень*, *вýтка*); распространение формы вин. падежа ед. числа с ударением на окончании у определенного круга существительных жен. рода (*рукý*, *горý*, *ногý*, *водý*, *боронý*, *сторонý*); наличие ударения на основе у некоторых



Карта 2

1. Формы вин. падежа ед. числа слов *мать*, *дочь* с наращением основы (*ма́терю*, *дочерю*)
2. Формы деепричастий прошедшего времени с суффиксом *-мшы* (*разу́мшы*, *одёмшы*)
3. Формы кратких предикативных прилагательных мн. числа с окончанием *-и* (*сы́ти*, *ра́ди* и др.)
4. Наличие гласного в позиции 1-го предударного слога перед начальным сочетанием сонорного с последующим согласным (*иржи́*, *ильну́*)
5. Обобщение основы с ы для форм прошедшего и настоящего времени глаголов типа *рыть*, *мыть* (*ры́ю*, *мы́ю*)
6. Формы настоящего времени глагола *быть*: *ё*, *ёсь*, *ёсть*

глаголов прошедшего времени (*бра́ла*, *вра́ла*, *спа́ла*, *зва́ла*); наличие окончания *-ей* в косвенных падежах прилагательных (*у однéй*, *у однэ́й*, *к однéй*, *к однэ́й*).

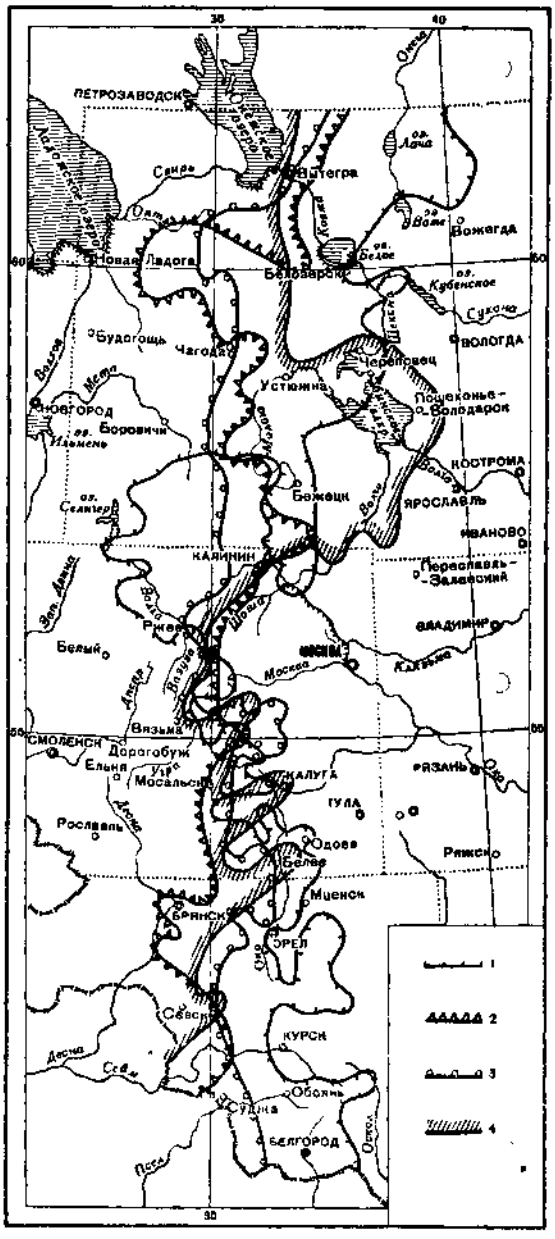
Близкими по своему распространению к изоглоссам 5 и 6 можно считать такие явления, как наличие *в* на месте *у* в начале слова или в предлогах (*в него*, *вчи́тель*); наличие ударения на основе в формах местоимений дат. падежа *нико́му*, *ничо́му*; ударение на 1-м слоге у прилагательных *сёмый*, *шо́стый*; формы им. падежа мн. числа на *-ы* от существительных муж. рода (*гла́зы*, *рукавы́*); распространение словоформ *ма́тка*, *до́чка́* в значении «мать», «дочь»; перенос ударения на корень в форме жен. рода прошедшего времени глагола *помереть* (*помёрла*); распространение слова *шея* с *ы* в корне (*шы́я*) и некоторые другие.

Каждая из диалектных зон с территориальной точки зрения связана преимущественно с одним из наречий; так, на приведенной карте показана связь каждой из южных зон с отдельными частями южновеликорусского наречия, западной и восточной. Соответственно диалектные зоны, выделяющиеся в северной части центральной территории, связаны с западной и восточной частями северновеликорусского наречия. При этом пучки изоглосс, выделяющие диалектные зоны, выходят за пределы наречий, в связи с чем соответствующие ареалы явлений оказываются распространенными также на территории переходных говоров, а в отдельных случаях и на территории противоположного наречия.

Таким образом, по характеру расположения ареалов языковых явлений и по характеру соотношения с основным членением говоров русского языка диалектные зоны не могут быть признаны такими диалектными объединениями, в пределах которых распространены специфические внутренне единые разновидности диалектной речи. Ареалы языковых явлений, характерных для диалектных зон, совмещаясь с ареалами языковых явлений, присущих наречиям или переходным говорам, а также с ареалами специфически местных явлений в пределах этих подразделений, дают материал для внутреннего членения как наречий, так и переходных говоров. Размещение ареалов основных диалектных зон показывает, что первым и наиболее широким членением наречий должно быть признано членение их на западную и восточную части. При таком членении наречий и переходных говоров учитываются отдельные отрезки пучков изоглосс и части ареалов языковых явлений, присущих диалектным зонам. В целом комплексы явлений, присущие наречиям и диалектным зонам, образуют лишь общую основу таких конечных по своему характеру подразделений, как группы и подгруппы говоров, которые являются местными разновидностями диалектной речи.

Так, говоры, находящиеся на территории совмещения ареалов языковых явлений южновеликорусского наречия и юго-восточной диалектной зоны, характеризуются комплексами явлений, характерных как для наречия, так и для зоны, но само выделение групп и подгрупп говоров осуществляется на основе тех пучков изоглосс, которые выделяют определенные более узкие ареалы в пределах восточной части южновеликорусского наречия. Для каких-то других групп говоров характерно, кроме языкового комплекса наречия, сочетание черт двух соседних диалектных зон, ареалы которых совмещаются здесь и сочетаются с собственно местными чертами.

Среди диалектных зон особо выделяется наиболее широкая по размерам охватываемой территории зона, образуемая пучком изоглосс (правда, немногочисленным по своему составу), идущих с севера на юг и вычленяющих тем самым западную часть русских народных говоров. Внешне выделение этой зоны напоминает второе (после наречий) членение террито-



Карта 3

1. Форма личного местоимения 3-го лица ед. числа муж. рода с начальным *й* (*ён*)
2. Формы указательного местоимения *та* с *j* в основе (*тая́*, *та́я* и др. формы)
3. Окончание -ы в им. падеже мн. числа местоимения 3-го лица (*оны́*, *ёны́*, *яны́*)
4. Употребление деепричастия в роли сказуемого (*пбезд ушбши*)

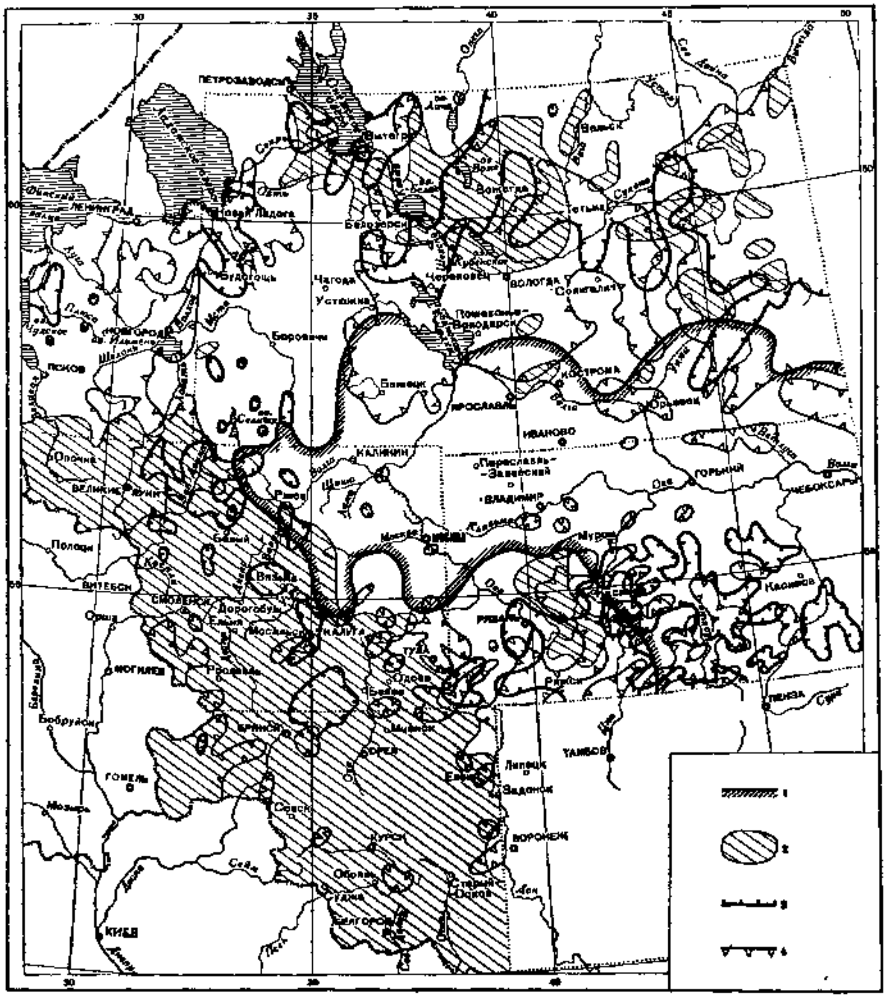
рии русского языка на попарно противопоставленные величины (см. карту 3).

Однако фактически положение выделяющейся на западе сплошной территориальной величины определяется тем, что на востоке ей противостоят языковые комплексы по крайней мере двух диалектных зон (северо-восточной и юго-восточной). На востоке отсутствует единый комплекс диалектных явлений общевосточной локализации, в связи с чем отсутствует и противопоставление западной и восточной территорий, взятых в целом. Таким образом, ареалы явлений общезападной локализации могут учитываться только при внутреннем членении наречий и центральной полосы переходных говоров, причем лишь по частям. Отрезки западного пучка изоглосс сочетаются с отрезками пучков северо-западной и юго-западной диалектных зон. В связи с этим о наличии западной диалектной зоны русского языка можно, видимо, говорить лишь с той существенной оговоркой, что характерные особенности этой зоны выступают в системе территориальных противопоставлений в совмещении с ареалами северо-западной и юго-западной диалектных зон.

*

При изучении лингвистического ландшафта имеет весьма своеобразное значение еще один тип распределения изоглосс. Имеется в виду то, в достаточной мере условное и нечеткое по характеру расположения изоглосс, выделение территорий центра с включением в него Москвы, которое противопоставляется по определенному кругу черт всем окружающим говорам русского языка. Изоглоссы, связанные с выделением центра, не группируясь в пучки, выделяют его

каждая в отдельности в различной степени и в различных очертаниях но в то же время с той относительной степенью определенности, которая позволяет говорить о самом факте вычленения территории центра (см. карту 4).



Карта 4

1. Форма им. падежа ед. числа *мать*, *дочь*
2. $\breve{у}$ (*w*) в соответствии *в* на конце слова и слога
3. Наличие *н* мягкого в случаях типа *сб[н']це*, *полотё[н']це*
4. Формы косвенных падежей притяжательных местоимений ед. числа с ударенным *о* в окончании (*моёй*, *твоёй*, *своёй*)

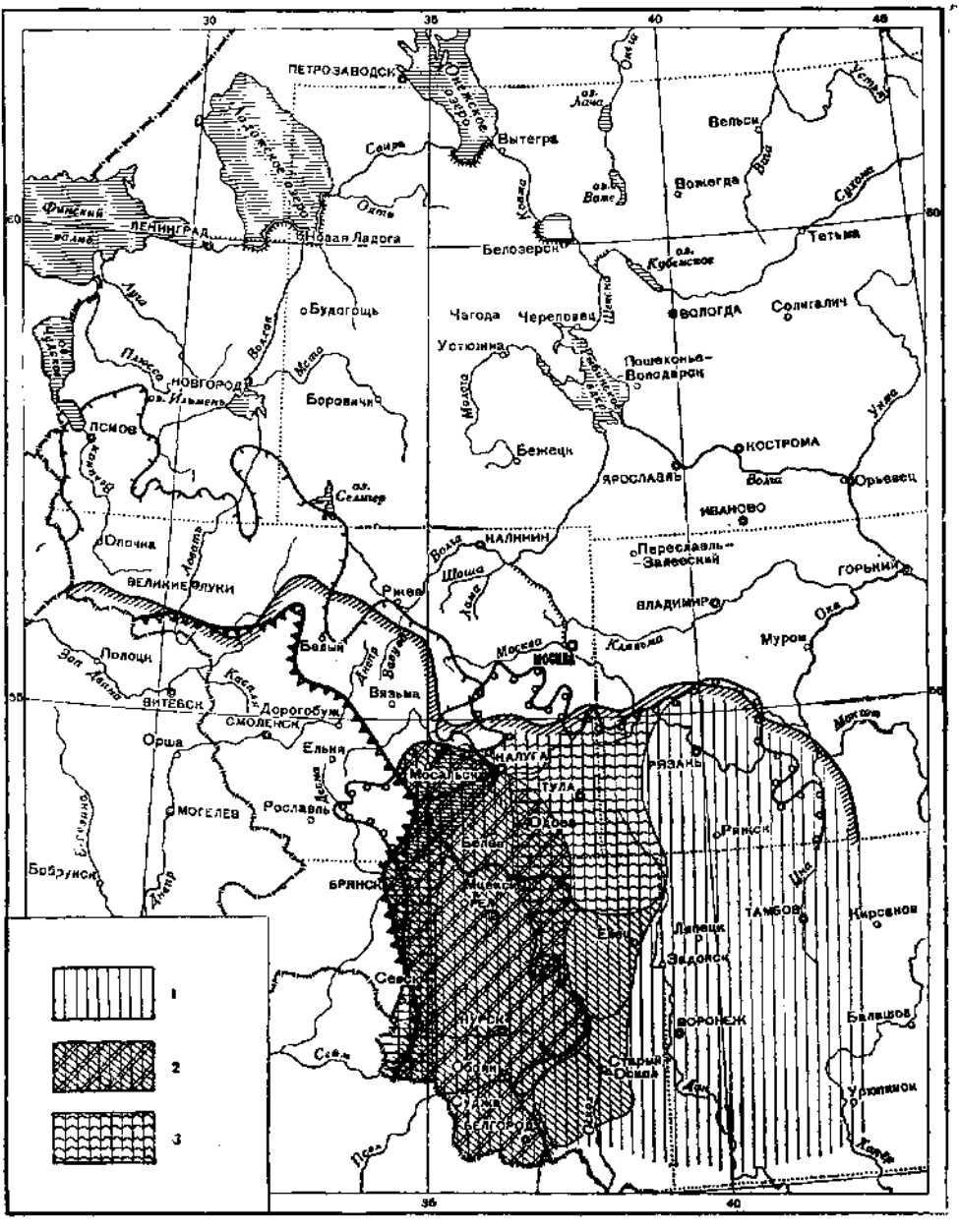
Более полное представление о составе явлений, дающих противопоставление говоров центра и окружающей его периферии, дает таблица, приведенная на стр. 30.

В составе черт, выделяющих центр, преобладают черты, генетически присущие говорам данной территории, причем они могут быть как характерными для этих говоров инновациями, так и архаизмами (первые, впрочем, преобладают). Многие из этих черт выделяются весьма условно лишь по исключительности своего распространения на территории центра. Это

Центральные говоры	Периферийные говоры
1. Результаты последовательного перехода *е* в *о* перед следующими твердыми согласными	Единичные случаи неперехода *е* в *о* перед следующими твердыми согласными или следы неперехода *е* в *о* в определенных словах или категориях слов
2. Последовательное различение аффрикат *ч'* и *ц*	Разные случаи совпадения аффрикат *ч'* и *ц* или их утрата
3. Наличие долгих мягких шипящих *ж̄'*, *ш̄'*	Наличие долгих твердых шипящих *ж̄*, *ш̄* или разных звуковых комплексов в соответствии с долгими мягкими шипящими *ж̄'* и *ш̄'*
4. Наличие *в*, чередующегося с *ф* в конце слова и слога	Наличие *в*, чередующегося с *ў* (*w*) в конце слова и слога
5. Различение *л — л'*	Различение *l — л'*
6. Твердость *н* в случаях типа *полотенце*, *солнце* и т. д.	Мягкость *н* в тех же случаях: *полоте*[*н'*]*це*, *со*[*н'*]*це* и т. д.
7. Твердость *р* в случаях типа *огурцы*, *сердце* и т. д.	Мягкость *р* в тех же случаях: *огу*[*р'*]*цы*, *се*[*р'*]*це* и т. д.
8. Твердость согласных перед суффиксом *-ск-* (*-ьск-*) в случаях типа *женский*, *русский*	Мягкость согласных в том же положении: *дереве*[*н'*]*ский*, *же*[*н'*]*ский* и т. д.
9. Наличие твердых согласных в словах *дупло*, *нутро*	Наличие мягких согласных в словах *дуп*[*л'*]*о̂*, *нут*[*р'*]*о̂*
10. Произношение слов *клев* (постройка для скота), *крестец* (малая укладка снопов) с начальным *к*	Произношение тех же слов с начальным *х* (*хлев*, *хрестец*) или отсутствие данных слов
11. Начальный согласный *х* в слове *хутор*	Произношение того же слова со звуком *ф* — *фу́тор* или *к* — *ку́тор*
12. Наличие словоформы *свекровь* (им. падеж ед. числа)	Распространение других словоформ: *свекры́*, *свекра́*, *свекро̂вья*, *свекро̂вя*, *свекро̂вка*, *свекру́ха*
13. Наличие словоформ *мать*, *дочь* (им. падеж ед. числа)	Распространение других словоформ: *ма̂терь*, *до̂черь*; *ма̂тка*, *до̂чка*; *ма̂ти*, *до̂чи*
14. Формы косвенных падежей притяжательных местоимений жен. рода ед. числа с ударенным *е* в окончании: *моей*, *твоей*, *своей*	Формы косвенных падежей притяжательных местоимений жен. рода ед. числа с ударенным *о* в окончании: *моёй*, *твоёй*, *своёй*
15. Твердость согласного в возвратных частицах глаголов: *бою*[*с*], *бою*[*са*], *боял*[*са*], *боиш*[*са*]	Мягкость согласного в возвратных частицах: *бою*[*с'*], *боял*[*с'а*], *боял*[*с'е*], *боял*[*с'и*], *боиш*[*с'а*]

объясняется отчасти и тем, что, являясь исконными для говоров центра, данные черты характерны одновременно и для литературного языка, а потому получают в настоящее время распространение в любых говорах русского языка.

Выделение говоров центра в отличие от вместе взятых окружающих говоров не может быть поставлено в один ряд с другими видами членения, характерными для лингвистического ландшафта русского языка. Ареалы распространенных в говорах центра явлений настолько разнятся по своим очертаниям, что об их совмещении можно говорить лишь условно по отношению к незначительной части территории центра. В данном случае нет и подобия пучка изоглосс; тем самым нет и противопоставления достаточно оформленных территориальных величин (центра и периферии). Тем не менее группа языковых черт, имеющих относительную локализацию на центральных территориях, выделяет определенный круг таких групп говоров, которые характеризуются бо́льшим по сравнению с остальными



Карта 5

1. Рязанская группа
2. Курско-орловская группа
3. Тульская группа
4. Елецкая подгруппа
5. Оскольская подгруппа
6. Мценско-одоевская подгруппа
7. Мосальская подгруппа. (Территории подгрупп обозначены путем сочетания штриховок, которыми показаны группы говоров.) На карте показана для сопоставления граница южновеликорусского наречия, две типичных изоглоссы юго-западной зоны (*иржи́*, *ильну́*; *ёсь*, *ёсть*) и одна типичная изоглосса юго-восточной зоны (*ма́терю*, *дбчерю*)

говорами русского языка числом элементов общерусского характера и наибольшей близостью к литературному языку, создаваемой за счет черт, исконно характерных для этих говоров [5].

*

Выделение наречий и диалектных зон осуществляется на основе выявления характера противопоставления территориальных величин в пределах распространения говоров русского языка на территории центральных областей Европейской части СССР, взятых как единое целое. От противопоставлений этого рода, как наиболее широких и определяющих основу достаточно разнообразного круга диалектных объединений, следует отличать противопоставление таких территориальных величин, которые различаются по определенным комплексам языковых признаков лишь в пределах наречий или в пределах полосы переходных говоров. При этом конечное распределение говоров русского языка на группы и подгруппы устанавливается в пределах наречий и центральных переходных говоров и не выходит за эти пределы, в то время как в пределах диалектных зон такого законченного членения не наблюдается.

При выделении групп говоров и разработке их характеристик должна быть прежде всего уточнена та основа, на которой сложилась та или иная группа. Эта основа может определяться в одних случаях совмещением ареалов той или иной диалектной зоны с ареалами наречий; в других случаях в качестве такой основы выступает сочетание в первую очередь окраинных отрезков ареалов языковых явлений. Соотношение окраинных отрезков важно учитывать применительно к разным частям территории центральной полосы переходных говоров.

Естественно, что основа группы говоров может оказаться характерной не для одной, а одновременно для нескольких групп, в связи с чем решающее значение для выделения групп и подгрупп говоров приобретает комплекс собственно местных черт, характерный для данной территории и находящийся в органическом соединении с этой основой.

На карте 5 изображено диалектное членение такого рода, относящееся к восточной половине южновеликорусского наречия.

Как показывает карта 5, в пределах южновеликорусского наречия на основе юго-восточной диалектной зоны выделяются три группы говоров, которые можно обозначить на основании ориентиров географического характера как рязанскую, самую восточную в ряду групп южновеликорусского наречия, тульскую — центральную и курско-орловскую, самую западную. Этим группам свойственны все черты, характерные для южновеликорусского наречия и для юго-восточной диалектной зоны. Разделение на группы обусловливается как сочетанием окраинных частей некоторых ареалов разных диалектных зон, имеющим место в определенных случаях, так и наличием ареалов некоторых собственно местных черт.

Так, для говоров курско-орловской группы характерно совмещение ареалов юго-восточной зоны с наиболее удаленными на восток частями ареалов юго-западной диалектной зоны (см. пучок 4 на карте 2).

---

[5] Охарактеризованное отношение явлений центральной локализации к явлениям окружающей периферии дает достаточное представление о том, что центр является началом распространения лишь той части инноваций, которая в ходе исторического развития русского языка вошла в состав его литературной нормы. Что же касается инноваций, оставшихся местными, то центры их распространения в разных случаях находятся в пр'делах различных диалектных областей, что лишний раз дает основание снять то упрощенное представление о «маргинальных» ареалах, которое справедливо критикует Б. В. Горнунг в своей статье «Задачи индоевропеистики в свете задач общего языкознания» (ИАН ОЛЯ, 1960, 6, стр. 460).

Для этих говоров также характерен ряд черт, широко распространенных в говорах общезападной локализации. Такими чертами являются: произношение твердых губных в соответствии с мягкими на конце слова, наличие фонемы *в*, чередующейся с *ў* в конце слова и слога и в начале слова перед согласным, и связанная с этим замена *ф* на *х*, *хв* в заимствованных словах (явления, связанные с губными спирантами, известны и в говорах рязанской группы, но далеко не повсеместно). При этом следует заметить, что изоглоссы всех этих распространяющихся с запада на восток явлений образуют очень широкий и расплывчатый по своим очертаниям пучок, что затрудняет проведение четкой границы между орловской и рязанской группами говоров.

Собственно местными чертами, характерными для курско-орловской группы, являются: суджанский тип диссимилятивного яканья; утрата затвора в аффрикате *ч'*; прогрессивное ассимилятивное смягчение *к* только после парных мягких согласых и *j* (но не после *ч*); произношение сочетания *мн* в соответствии с *вн* (особенно последовательно в словах *да[мн]б́*, *ро[мн]б́*); безударная флексия *-'а* дат.-пред. падежей существительных жен. рода (*в ха́[т'а]*, *к ма́[м'а]*); формы пред. падежа ед. числа с безударным окончанием *-у* от существительных ср. рода с мягкой основой (*в по́[л'у]*); наличие формы вин. падежа ед.числа *ма́терю* (при именительном *мать*); наличие словоформ им. падежа ед. числа *свекро́вя*, *свекро́вья*; существительного *туча* с ударением на окончании [6].

Рязанская группа говоров прежде всего отличается тем, что на ее территории отсутствуют изоглоссы и соответственно часть ареалов юго-западной диалектной зоны или изоглоссы явлений, имеющих широкое распространение в русских говорах, но чуждых большинству говоров юго-восточной зоны. Для характеристики говоров этой группы наибольшее значение имеет сочетание черт южновеликорусского наречия и юго-восточной зоны с собственно местными чертами. К числу этих последних принадлежат: ассимилятивно-диссимилятивный тип яканья; наличие случаев неперехода *е* > *о* в корнях слов перед следующим твердым согласным; следы различения фонем *о* и *ô*, *е* и *ê*; распространение слова *д[ú]верь* с гласным *и* под ударением; наличие парадигмы слова *мать* с наращением основы во всех формах (*ма́терь— ма́терю*); наличие словоформы им. падежа ед. числа *свекры́*.

Характерно распространение на территории говоров рязанской группы и таких черт, ареалы которых выходят за ее пределы и сближают ее с некоторыми соседними группами говоров (с отдельными говорами центральной переходной зоны или говорами тульской группы) или связаны с явлениями, характерными для периферийных говоров в широком смысле этого слова. К числу этих черт относится сохранение этимологической мягкости согласных в случаях типа *ко[н']цы́*, *полоте́[н']це*, *се[р']це*, *огу[р']цы́* и распространение словоформы *дуплё* с мягким *л'*. Из области морфологии характерно здесь наличие форм косвенных падежей ед. числа притяжательных местоимений жен. рода с гласным *о* во флексии (*моёй*, *твоёй*) и форм дат.-пред. падежа ед. числа существительных жен. рода с основой на мягкий согласный с окончанием *-е* (*в грязе́*, *по степе́* и под.).

Известны и такие черты, которые объединяют рязанскую и курско-орловскую группы, противопоставляя их тульской группе. К их числу относится совпадение заударных гласных *е*, *а*, *и* после мягких согласных перед твердыми в звуке *а* (*де́[н'а]г*, *бро́[с'а]л*, *ме́[с'а]ц*); наличие согласного *е*, не изменяющегося в *о*, во всех личных формах глаголов настоя-

[6] В характеристику групп говоров входят также данные лексики, которые здесь не приводятся, но которые хорошо согласуются с намечающимся членением говоров на группы.

щего времени I спряжения (*нес[é]ш, нес[é]т, нес[é]м, нес[é]те*); произношение ударенного гласного *а* в основе глагола *лавиш*; распространение парадигм личных и возвратного местоимений: род.-вин. *менé, тебé, себé*, дат.-пред. *мнé, тобé, собé*; твор. *мной, тобóй, собóй*.

Для характеристики говоров тульской группы наиболее существенно то, что на ее территории совмещаются (чаще всего не полностью ее охватывая) черты, порознь характерные для говоров двух соседних групп. Это такие частично распространенные в курско-орловских говорах черты, как произношение *в—ў* в соответствующих положениях и замена *ф* на *х, хв*, словоформы *в пóлю, мáтерю* и *свекрóвя — свекрóвья*. Специфически тульскими являются умеренное яканье, распространение словоформы *моркувá* с характерным для нее местом ударения, распространение глагольных форм 3-го лица ед. числа без окончания от глаголов I спряжения, распространение глагольных форм с ударенным *о* в основе (*вóлиш, вóриш*) (это явление известно к югу от территории тульских говоров).

Границы между группами говоров юго-восточной зоны выражены неотчетливо, так как почти каждая характерная для этих групп черта имеет свою, индивидуальную границу распространения. Поэтому на окраинах территории каждой группы имеется зона взаимоналожения изоглосс, т. е. зона переходности. Если в этой переходной зоне появляются микроареалы с явлениями, типичными только для этой зоны, если в переходную зону включаются изоглоссы другой диалектной зоны, то можно говорить о подгруппах в пределах восточной части южновеликорусского наречия. Так, можно выделить подгруппу елецких говоров, для которой характерен щигровский тип яканья, оскольских говоров, для которых характерен обоянский тип яканья, мценско-одоевских с умеренно-диссимилятивным яканьем суджанского подтипа и мосальских говоров с характерным для них сочетанием изоглосс курско-орловской группы с одной из групп юго-западной диалектной зоны.

В связи со всем сказанным становится ясным, что установление границ между группами говоров всегда является в известной степени условным. В чисто описательных (или учебных) целях в качестве границы может быть принята изоглосса того или иного характерного явления, фактически же границей является зона совмещения изоглосс различных явлений.

Установление определенной иерархии между группами и подгруппами говоров в структуре наречий или в центральной полосе переходных говоров предполагает учет целого ряда моментов. Здесь имеет свое значение, характеризуется ли данная группа только ей присущими чертами или для нее в основном характерно совмещение разнодиалектных черт. Учитывается и определенность очертаний соответствующего пучка изоглосс собственно местных явлений, выделяющих группу, количество изоглосс, находящихся в составе пучка, и их связь с разными сторонами языковой структуры. В настоящем случае весьма существенным оказывается установить, имеются ли в составе черт, характерных для данной группы, явления-закономерности, связанные с высокой частотностью употребления слов в речевом потоке.

*

Особый круг вопросов связан со значением для структуры лингвистического ландшафта разного рода инноваций. В упоминавшейся статье П. Ивича[7] справедливо подчеркивается, что именно ареалы инноваций являются результатом развития процессов диалектного членения, в то вре-

[7] П. Ивић, Основни аспекти структуре. . . , стр. 95

мя как ареалы архаизмов в сущности лишь показывают, что́ сохранилось после появления инновации. На этом основании, правда не без колебаний (ср. там же замечание о том, что исключение ареалов архаизма может выглядеть искусственно), П. Ивич приходит к выводу, что ареалы архаизмов не имеют настоящего типологического значения. Б. В. Горнунг также считает необходимым проводить определенное различие между ареалами инноваций и архаизмов и соответственно между «глобальными» и «парциальными» изоглоссами [8].

Нам представляется, что при изучении лингвистического ландшафта в синхронном плане должно быть сделано различие по крайней мере между двумя типами ареалов архаических явлений в зависимости от характера представляемых ими очертаний. Ареалы многих архаических явлений оказываются недостаточно определенными по своим очертаниям или представляют собой отдельные разбросанные «острова», что связано, очевидно, со временем распространения соответствующих инноваций и с состоянием диалектной дифференциации определенного периода. Такого рода ареалы действительно не связаны с современным диалектным членением и не должны приниматься во внимание при его характеристике. В случаях этого рода ареалы архаизмов полностью отвечают пониманию парциальных изоглосс как выделяющих ареалы этого рода, которое находим у Б. В. Горнунга. Однако наряду с этим в составе архаических явлений встречаются и такие, которые обладают достаточной определенностью очертаний и, что главное, совмещаются с ареалами других явлений, характеризующих то или иное объединение, в частности, и таких диалектных объединений, какими являются группы говоров. Здесь, очевидно, сохранение определенной черты в архаическом состоянии имеет для данной территориальной разновидности языка то же значение, что и возникновение инноваций. Граница распространения новообразований, шедших с центральных частей данной территории, одновременно была своего рода преградой для новообразований, шедших извне. Взятые в целом процессы этого рода приводили к оформлению данной территориальной единицы как таковой и оставались в дальнейшем равнозначными для характеристики ее системы.

Таким образом, для проводимой с синхронной точки зрения группировки говоров как определенной структуры территориальных противопоставлений существенным является весь круг тех ареалов, которые обладают достаточной определенностью очертаний и выделяются пучками изоглосс независимо от их связи с разными сторонами структуры и от оценки явлений с точки зрения их генезиса.

*

Предлагаемая система диалектных подразделений является не классификацией, а группировкой говоров русского языка. Говоры и их минимальные объединения (группы и подгруппы) не могут и по существу быть объектом классификации, поскольку специфика территориальных разновидностей языка выражается, как правило, в признаках разного ранга и характера.

В настоящее время, когда появилась возможность изучения большого количества изоглосс, относящихся к разным сторонам языка и нередко связанных с целостными структурными элементами его системы (состав гласных под ударением, системы вокализма того или иного из предударных слогов, типы парадигм глаголов или отдельных существительных и под.), можно утверждать, что выделение разного рода территориальных величин основывается на сочетании ареалов самых различных по своей

[8] Б. В. Горнунг, указ. соч., стр. 460.

значимости явлений, притом несоотносительных при сравнении одних величин с другими. Поскольку изучение лингвистического ландшафта и его структуры прежде всего преследует цель выявления его конструктивных особенностей в территориальном аспекте, нет сомнения в том, что во внимание должны быть приняты все достаточно регулярные совпадения ареалов друг с другом и выделяющиеся соответствующими комплексами явлений территориальные величины. В связи с этим нет основания игнорировать какую-то часть изоглосс или придавать второстепенное значение изоглоссам, связанным с особенностями, имеющими не столь важное значение в структуре языка. Лишь после того как установлены территориальные единицы, характеризующие членение языка, их соотношения друг с другом, может быть подвергнут оценке весь комплекс черт, характеризующих то или иное подразделение[9].

Опора на данные лингвистической географии позволяет также в ряде случаев по-иному вычленять территорию того или иного диалектного подразделения, как это было показано на примере выделения территории северновеликорусского и южновеликорусского наречий и центральной полосы переходных средневеликорусских говоров. Эти территории определяются нами в иных пределах, чем это имело место в «Опыте», что в полной мере соответствует и характеру строя этих диалектных подразделений. Значителен круг таких отличий в составе групп, выделяющихся в пределах более крупных территориальных единиц.

Группировка говоров строится на основе изучения размещения пучков изоглосс языковых явлений, относящихся к разным сторонам языковой структуры, а также и имеющих различную значимость. Тем самым выделяющиеся объединения не могут быть соотнесены друг с другом на основе одного и того же признака, их характеристика является описательной, причем самое описание включает несколько планов; важно то, что полученные характеристики создаются на основе внутренне единого подхода, предполагающего учет объективно существующих закономерностей размещения разного рода ареалов языковых явлений.

---

[9] При разработке вопроса о возможных путях изучения диалектной дифференциации высказывались предложения о том, чтобы наибольшее значение придавать при этом структурно важным элементам диалектов. Основой этого рода предложений можно считать, пожалуй, высказывания У. Вайнрайха о том, что релевантными являются только функциональные различия. См. U. Weinreich, Is a structural dialectology possible?, «Word», X, 2—3, 1954.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ

АЛТАЙСКИЕ ДЕНТАЛЬНЫЕ: *t*, *d*, *δ*

В современной тюркологии прочно утвердилась точка зрения, согласно которой в пратюркском в начале слова был возможен только глухой дентальный **t-*[1]. Такая реконструкция поддерживается данными древнетюркского и большинства современных тюркских языков, которые в незаимствованной лексике имеют, как правило, *t-*. С другой стороны, она будто подтверждается внешним сравнением: монгольскому **d-* и тунгусо-маньчжурскому **d-*, на основании которых восстанавливают алтайский **d-*, в большом числе примеров соответствует тюркский **j-*[2], так что тюркский **t-* остается единственным возможным рефлексом алтайского **t-*.

Реконструируя для пратюркского только начальный **t-*, тюркологи вынуждены объяснять многочисленные случаи с начальным *d-* в юго-западных (огузских) языках[3] локальным процессом **t-* > *d-*[4]. Уже то обстоятельство, что условия предполагаемого изменения до сих пор не удалось установить, порождает сомнения в правильности этого объяснения[5]. В такой ситуации весьма заманчивой кажется гипотеза К. Менгеса, предлагающего рассматривать огузский *d-* (и палатальный *g-*) как непосредственные отражения соответствующих пратюркских и алтайских фонем[6]. Подобное предположение нуждается в развернутом доказательстве и уточнении. Ниже мы попытались проделать соответствующую работу, ограничившись исследованием рефлексов дентальных фонем.

Древность огузской дихотомии (*t-* и *d-*) подтверждают материалы старотурецких памятников, Лейденская рукопись словаря 1245 г. (составитель которого приводит среди кыпчакских слов отдельные слова языка «türkmäni», т. е., по-видимому, какого-то туркменского говора[7]) и труд Ибн-Муханны (начало XIV в.), описывающего тюркские говоры се-

---

[1] См., например, М. Рясянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 124; L. Basin, Structure et tendances communes des langues turques (Sprachbau), в кн. «Philologiae turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959 (далее — PhTF), стр. 13.

[2] См. об этом: G. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I — Lautlehre, Helsinki, 1957 (далее — Ramstedt EAS), стр. 38, 50—52; N. Poppe, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, Wiesbaden, 1960, стр. 22—23.

[3] Фонетически представлены колебания от обычного звонкого *d* (турецкий) до слабого (lenis) глухого *D* (азербайджанский; туркменские диалекты: см. Н. К. Дмитриев, Язык туркменских сказок Марыйского района, в кн. «Туркменские народные сказки Марыйского района», М.— Л., 1954, стр. 30—31).

[4] См. М. Рясянен, указ. соч., стр. 138.

[5] Предположение Г. Рамстедта о возникновении слов с *d-* из первоначальных вариантов сандхи (G. J. Ramstedt, Egy állítólagos török-mongol hangtörvény, «Nyelvtudományi Közlemények», XLII, 1—2, 1913, стр. 73—74) можно было бы признать вероятным, если бы варианты с *d-* и *t-* обнаруживались для каждого слова. В действительности это не так (подробнее см. ниже).

[6] K. H. Menges, Die aralo-kaspische Gruppe, PhTF, I, стр. 451.

[7] См. M. Th. Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar. Nach der Leidener Handschrift, Leiden, 1894, стр. 14 (далее в тексте — L; по этому же изданию цитируется материал из «Ребаб-намэ», условно обозначаемого RN).

веро-западной Персии[8]. Существование начального *d-* в определенной группе слов во всех огузских языках[9] — турецком (с его балканскими и крымским говорами), гагаузском, азербайджанском, туркменском и саларском[10] — предполагает по крайней мере общеогузскую древность упомянутого противопоставления. Еще более древний его характер обнаруживается при учете данных тувинского и карагасского (тофаларского) языков.

Уже М. Кастрен отметил наличие в карагасских говорах слабого *d-*, противостоящего в ряде случаев сильному *tʿ-*[11]. Аналогичное противопоставление /*D*/ — /*tʿ*/(в современной орфографии *д—т*) обнаруживается и в ближайшем родственнике карагасского — тувинском языке[12]. Недавно Ф.Г. Исхаков отметил, что тувинским словам с начальным *d-*/*D-*/соответствуют обычно слова с *d-* в огузских языках[13]; аналогичный вывод сделал К.Менгес для карагасского материала, записанного в свое время М. Кастреном[14]. К сожалению, Исхаков ограничился несколькими примерами, Менгес примеров не привел совсем. Между тем, проверка и уточнение обнаруженного ими соответствия имеет важное значение для реконструкции тюркской и алтайской системы дентальных.

Сопоставление слов с начальными дентальными в огузских языках, с одной стороны, и в тувинско-карагасском, с другой, обнаруживает два типа образований: А) слова, представляющие *d-* без каких бы то ни было колебаний в обеих языковых группах, и Б) слова, обнаруживающие варианты с *t-* и *d-* внутри каждой из групп или имеющие *t-* в одной, но *d-* в другой группе (сюда же можно отнести весьма немногочисленные слова, имеющие без колебаний *t-*, см. ниже). Приводим соответствующий материал[15].

А. Огуз. *d-* (турецк., гаг., азерб., туркм. *d-*) ~ тувинско-карагасск. *d-*

---

[8] П. М. Мелиоранский, Араб Филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. XVI, XX (далее в тексте—IM).

[9] Ср. аналогичное замечание о начальном *g-*: K. Foy, Azerbajğanische Studien mit einer Charakteristik des Südtürkischen [I], «Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin», II. Abt., Jg. 6, 1903, стр. 145.

[10] Э. Р. Тенишев предположил недавно, что тюрки-салары (КНР) являются одной из ветвей туркменского рода саларов (см. Э. Р. Тенишев, Из наблюдений над саларским языком, ВЯ, 1960, 4, стр. 97—98; È. Tenišev, Sur le folklore et la langue des Salars, «Acta orientung.», XIV, 3, 1962, стр. 254—255).

[11] M. A. Castrén, Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre, St. Petersburg, 1857, стр. 3—4.

[12] См., например, А. А. Пальмбах, Система согласных фонем тувинского языка и ее отражение в письменности, «Уч. зап. [Тув. научно-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории]», IV, Кызыл, 1956, стр. 111.

[13] Ф. Г. Исхаков, Тувинский язык. Очерк по фонетике, М.— Л., 1957, стр. 71; см. также: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология, М., 1961, стр. 57.

[14] K. H. Menges, Das Sojonische und Karagassische, PhTF, I, стр. 650.

[15] Поскольку в Лейденской рукописи не-огузский (кыпчакский) материал преобладает, а в труде Ибн-Муханны не-огузский — «туркестанский» (или «караханидский», по терминологии PhTF; см. И. М. Мелиоранский, указ. соч., стр. XX) — материал несомненно наличествует и поскольку в обоих случаях представлены языки, знающие только начальный *t-*, решающее значение могут иметь лишь формы с *d-* (т. е. явно огузские формы), отмеченные в этих памятниках. Ниже мы будем приводить слова, записанные Ибн-Муханной с *t-*, лишь в редких случаях, если они подтверждаются современными азербайджанскими или туркменскими данными. Аналогичные ограничения введены при цитировании карагасских материалов Кастрена. Кастрен обычно отмечал дублетные формы с *d-* и *t-*, стремясь точнее передать произношение [D-]; слова с сильным [*tʿ-*] он записывал только с *t-*; поскольку иногда параллельная форма с *d-* могла быть им не зарегистрирована, решающее значение имеют только случаи с двойным написанием (практически мы будем приводить лишь формы с *d-*).

1) турецк. *dal-* «погружаться; впадать в забытье» /гаг.[16] *dal-* «нырять» /азерб. *dal-*/ туркм. диал. *dal-*[17]~тув. *dal-* «падать в обморок»;

2) турецк. *dil-* «резать» / гаг. *dil-*/ азерб. *dilim* «ломтик» / туркм.[18] *dil-* «резать», L *dillä-* «разрезать» ~ тув. *dil-* «пилить, резать»;

3) турецк. *dil* «язык» / гаг. *dil* / азерб. *dil*; IM *dil* / туркм. *dil* ~ тув. *dyl* «язык» / карагасск. *dyl*;

4) турецк. *dul* «вдова» / азерб. *dul* / туркм. *dul* ~ тув. *dulgujak* «вдова; вдовец»;

5) турецк. *dur-* «стоять», RN *dur-* / гаг. *dur-* / азерб. *dur-*; IM *dur-*/ / туркм. *dur-* ~ тув. *dur-* «стоять»[19];

6) турецк. *deş-* «раскалывать; пронзать» / азерб. *deš-* «прокалывать» / / туркм. *deš-*; L *diš-* ~ тув. *deʿž-* «прокалывать»;

7) азерб. *döš* «скат, склон» ~ тув. *döʿš* «подъем»;

8) L *düš* «полдень»[20] ~ тув. *düʿš* «полдень»;

9) турецк. *diz-* «нанизывать» / гаг. *diz-* / азерб. *düz-* / туркм. *düz* ~ тув. *diz-* «нанизывать»;

10) турецк. *değ-* «трогать, касаться» / гаг. *dī-* / азерб. *däj-*; IM *däg-* «попадать» / туркм. *deγ-*; L *dägin-* «доставать» ~ тув. *deg-* «трогать, прикасаться»;

11) турецк. *de-* «говорить», RN *de-* / гаг. *de-* / азерб. *de-* / туркм. *dī-* / салар. *dė-*, *di-*[21] ~ тув. *de-* «говорить» / карагасск. *de-*;

12) турецк. *düş* «сон, сновидение» / гаг. *düš* / азерб. диал. (Ганджа) *düš*[22] / IM *düš* / туркм. *düjš* ~ тув. *düš* «сон, сновидение»;

13) турецк. *diz* «колено» / гаг. *diz* / азерб. *diz*; IM *dīz* / туркм. *diz* ~ ~ тув. *diskek* «колено»;

14) турецк. *dağ* «гора», ст.-турецк. *dag* / гаг. *dā* «лес» / азерб. *daγ* «гора»; IM *dāk* / туркм. *dāγ* / салар. *daγ* ~ тув. *dag* «гора» / карагасск. *dag*;

15) турецк. *dip* «дно, низ» / гаг. *dip* / азерб. *dib* / туркм. *düjp* ~ тув. *düp* «дно»;

16) турецк. *dört* «четыре» / гаг. *dört* / азерб. *dörd*; IM *dörd* / туркм. *dörd* / салар. *döt* ~ тув. *dört* «четыре» / карагасск. *dört*;

17) турецк. *daya-* «подпирать, прислонять», *dayan-* «опираться», *dayak* «палка» / гаг. *daja-* «подпирать», *dajaǯan* «подпорка» / азерб. *daja-*,

---

[16] Данные по гагаузскому языку приводятся по книге: В. Мошков, Наречия бессарабских гагаузов, СПб., 1904 («Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым», ч. X).

[17] N. K. Dmitrijev, Gagausische Lautlehre, AO, IV, 2, 1932, стр. 220.

[18] См. А. Алиев, К. Борисов, Русско-туркменский словарь, Ашхабад, 1929.

[19] По правилам современной орфографии этот тувинский глагол пишется с *m-* (*myp-*; см. А. А. Пальмбах, Система согласных. . ., стр. 111).

[20] Туркм. *tüš vakty* «полдень» — явно книжное образование, по-видимому, заимствованное из чагатайского. В современных огузских языках слово **düš* утрачено полностью.

[21] В саларском, по данным записей Ж. Какук (S. Kakuk, Textes salars, «Acta orient. Hung.», XIII, 1961, стр. 97—109), обнаруживается троичное противопоставление начальных дентальных: *tʿ-* (глухой придыхательный) ~*t-* (обычный глухой) ~ *D-* (слабый); (Какук отмечает в начале слова иногда также *d-* и *Dʿ-*, не являющиеся основными вариантами); одно и то же слово часто засвидетельствовано в двух вариантах, причем в части слов представлены колебания *t-*/*D-*, а в части — колебания *tʿ-*/*t-*. В этих случаях *t-* — результат нейтрализации противопоставления *D-* — *tʿ-* (аналогичного соответствующему азербайджанскому противопоставлению); в нашем списке саларские слова, обнаруживающие варианты с *D-*, передаются при помощи начального *d-*, а слова, обнаруживающие варианты с *tʿ-*,— посредством начального *t-*. Далее данные по саларскому языку приводятся по глоссарию, опубликованному Ж. Какук (см. S. Kakuk, Un vocabulaire salar, «Acta orient. Hung.», XIV, 1962).

[22] См. O. Chatskaya, N. K. Dmitriev, Chansons populaires tatares. III. Quatrains populaires de l'Azerbaïdjan, JA, CCXII, 2, 1928, стр. 236.

dajag / туркм. *daja-*, *dajanč* «опора» ~ тув. *dajan-* «опираться», *dajaŋgȳš* «палка» / карагасск. *dajak* «палка»;

18) турецк. *dahi* «и, также», RN *dahy* / азерб. *dähi* / туркм. *daky* «еще, также», K [23] огуз. *daky* / салар. *daγy* ~ тув. *dagyn* «снова, опять»;

19) турецк. *dadan-* «привыкать, приучаться» / гаг. *dadan-* «надоедать» / азерб. *dadan-* «привыкать» / туркм. *dadyn-* «пристраститься» ~ тув. *dadyg-* «закаляться»;

20) турецк. *dağıl-* «рассеиваться; расходиться» / гаг. *dāl-* / азерб. *daγyl-* «разрушаться, изнашиваться; расходиться»; IM *dāgyl-* «рассеиваться», *dāgyt-* «рассеивать» / туркм. *dāγyl-* «рассеиваться» [24] / салар. *daγyt-* «разрушать» ~ карагасск. *dagy-* «расходиться; заканчиваться»;

21) турецк. *dolu* «полный» / гаг. *dolu* / IM *dolu* (*dōl-* «наполняться») / / туркм. *dōly* ~ тув. *dolu* «полный»;

22) турецк. *demir* «железо», ст.-турецк. *dämür* / гаг. *demir* / азерб. *dämir*; IM *dämür* / туркм. *demir*; L *dämür* / салар. *dīmir* ~ тув. *demir* «железо» / карагасск. *demir*;

23) турецк. *duman* «дым; туман» / гаг. *duman* «туман» / азерб. *duman* / туркм. *duman* ~ тув. *duman* [25] «туман»;

24) турецк. *doru* «гнедой» / туркм. *dōr* ~ тув. *dorug* «гнедой»;

25) турецк. *diri* «живой», ст.-турецк. *diri* / гаг. *diri*; IM *dīrık* «живой» (*dīril-* «жить») / туркм. *dīri* «живой» / салар. *diri* ~ тув. *dirig* «живой»;

26) турецк. *damla* «капля» / гаг. *damla* / азерб. *damʒy*; IM *dam-* «капать» / туркм. *damča* «капля» ~ тув. *damdy* «капля»;

27) турецк. *dinle-* «слушать», ст.-турецк. *diŋlä-* / азерб. *dinlä-* / туркм. *diŋle-* ~ тув. *dyŋna-* «слушать»;

28) турецк. *değirmen* «мельница» / гаг. *dermen* / азерб. *däjirman*; IM *dägirmänči* «мельник» / туркм. *deγirmen* / салар. *dêrmen* ~ тув. *dārbe* «мельница»;

Б. огуз. *t-* / *d-* ~ тувинско-карагасск. *t-* / *d-*

1) турецк. *toy*, P [26] *doj* «свадьба, пир» / азерб. *toj*; IM *toj* «собрание» / / туркм. *toj* «свадьба» / салар. *döj* ~ тув. *dāj* «свадьба, пир»;

2) турецк. *ter* «пот» / гаг. *ter* / азерб. *tär*; IM *där* / туркм. *der* ~ тув. *der* «пот» / карагасск. *der*;

3) турецк. *denk* «равный» / гаг. *denk* / азерб. *tän* / туркм. *deŋ* ~ тув. *deŋ* «равный»;

4) турецк. *düş-* «падать; худеть, ослабевать»; RN *düš-* / гаг. *düš-* / / азерб. *düš-*, диал. (Баку, Норашен, Шахбуз, Ордубад, Сальян, Дманиси) *tüš-* [27]; IM *düš-* / туркм. *düš-*, диал. (сев.-йомудск.) *tüš-* [28] / салар. *duš-* ~ тув. *du'ž* «спускаться; падать; выпадать»;

---

[23] K — здесь и далее указывает на издание: C. Brockelmann, Mitteltürkischer Wortschatz nach Maḥmūd al-Kāšrarīs Dīvan lurāt at-turk, Budapest — Leipzig, 1928.

[24] N. K. Dmitrijev, Gagausische Lautlehre, стр. 220.

[25] Орфографически *туман* (см. А. А. Пальмбах, Система согласных. . ., стр. 111). Форма с начальным *t-*, по сообщению Ш. Ч. Сата, представлена в восточнотувинских говорах.

[26] P — здесь и далее означает: В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, I — IV, СПб., 1893—1911.

[27] См. М. Ш. Ширэлиев, Бакы диалекти, Бакы, 1957, стр. 28; «Азэрбајҹан дилинин Нахчыван групу диалект вэ шивэлэри», Бакы, 1962, стр. 46; Т. Б. Гамзаев, Ордубадский диалект. Канд. диссерт., Баку, 1959, стр. 85; К. Т. Рамазанов, Сальянский диалект азербайджанского языка. Канд. диссерт., Баку, 1955, стр. 74; В. Т. Джангидзе, Особенности дманисского говора азербайджанского языка. Канд. диссерт., Тбилиси, 1953, стр. 63. При цитировании материала из перечисленных и ниже указанных кандидатских диссертаций впредь будем давать в тексте только топоним, указывающий на сферу распространения диалектного факта.

[28] См. Дж. Амансарыев, Северные говоры ёмудского диалекта туркменского языка. Канд. диссерт., Ашхабад, 1954, стр. 82.

5) турецк. *daz* «плешь» / азерб. *daz* ~ тув. *tas* «лысый; со скудной растительностью», *daʿzyr* «голый (о местности)»;

6) азерб. диал. (Джебраил, Элиабад) *täz-* «убегать» [29] ~ тув. *dez-* «убегать»;

7) азерб. *tap-* «находить; отгадывать»; IM *dap-* «находить, настигать» / туркм. *tap-* «находить» ~ тув. *typ-*, *dyʿʊ-* [30] «находить» / карагасск. *taf-*;

8) турецк. *tep-*, P *däp-* «брыкаться лягаться» / гаг. *tep-* /азерб. *täpik* «пинок»; IM *däp-* «топать, лягать»/туркм. *dep-*, *depin-* «лягаться» ~ тув. *tep*, *deʿv-* [31] «лягать»;

9) турецк. *tök-* «лить, сыпать» /азерб. *dök-*; IM *dök-*/ туркм. *dök-* ~ тув. *tök*, *dö ʿg-* «лить» [31] / карагасск. *töh-*;

10) турецк. *dik-* «шить», *dikiş* «шов»/гаг. *dik-* «шить» / азерб. *tik-*; IM *tik-*/туркм. *tik-*, диал. (сев.-йомудск.) *dik-* ~ тув. *tig* «трещина; шов»;

11) турецк. *tik-*, P *dyk-* «втыкать, всовывать» / гаг. *tyka-* «затыкать» / азерб. *tyxa-* «втыкать»; IM *tyk-* «набивать» / туркм. *tyk-*, *dyk-* «втыкать», *dyky* «пробка» ~ тув. *dygy-* «плотно набивать; просовывать»;

12) турецк. *tut-*, P *dut-* «хватать, держать», RN *dut-* /гаг. *tut-*/азерб. *tut-* / / туркм. *tut-* ~ тув. *tut-*; *duʿd-* [31] «держать» /карагасск. *tut-*;

13) турецк. *dar* «узкий, тесный» /гаг. *dar* / азерб. *dar*; IM *tār*, *dār* / туркм. *dār*, диал. (трухменск.) *tār* [32] / салар. *dar* ~ тув. *tar* «узкий», *tarla-* «суживаться»;

14) турецк. *tün*, P *dün* «вечер, ночь», *dün* «вчера»; RN *dün* «вечер, ночь»/гаг. *dün* «вчера»/азерб. *dünän*; IM *dün* «вечер, ночь»/туркм. *tün* «ночь», *düjn* «вчера» ~ тув. *dün* «ночь», *dün* «вчера» / карагасск. *dün* «ночь»;

15) турецк. (Европейская Турция) *taş*, (Анатолия) *daş* [33] «камень»; RN *taš* / гаг. *taš* / азерб. *daš*; IM *tāš* / туркм. *dāš* / салар. *daš* ~ тув. *daš* «камень»;

16) турецк. *döş* «бок, передняя часть туши» / азерб. *döš* «грудь»; IM *döš* / туркм. *dȫš*, L *dȫs* (вместо **dȫš*) ~ тув. *töš* «грудина; грудь» / карагасск. *döjś*;

17) турецк. *diş* «зуб» / азерб. *diš*, диал. (Тауз, Басаркечар, Сальян и др.) *tiš* [34]; IM *dīš*, *tīš* / туркм. *dīš* / салар. *tiš* ~ тув. *diš* «зуб» / карагасск. *diś*;

18) турецк. *tuz* «соль», диал. (Родопы) *dus* [35] / гаг. *tuz* / азерб. *duz*; IM *tūz* / туркм. *dūz* ~ тув. *dus* «соль» / карагасск. *tus*;

19) турецк. *tara-* «чесать», *tarak* «гребень» [36] / гаг. *tara-*, *tarak* / азерб. *dara-*, *darag*, диал. (Нуха) *tarax* [37]; IM *darak*, *tarak* «гребень» / туркм. *dara-*, *darak* / салар. *dara-*, *darax* ~ тув. *dyra-* «чесать», *dyrgak* «гребень»;

---

[29] См. Т. И. Гаджиев, Джебраильский говор азербайджанского языка. Канд. диссерт., Баку, 1961, стр. 369; «Азәрбајҹан дилинин Муған групу шивәләри», Бакы, 1955, стр. 193.

[30] Тув. *t-* если первый слог закрытый, *d-* если первый слог открытый; например, *typ* «найди», *dyvar* «находить» (орфографически — *тып*, *тывар*; см. А. А. Пальмбах, Система согласных..., стр. 111).

[31] Распределение форм аналогично распределению *typ-*, *dyv-* (см. выше).

[32] С. Куренов, Особенности туркменского говора Северного Кавказа (Ставрополья). Канд. диссерт., Ашхабад, 1959, стр. 111 (далее — трухменск.).

[33] K. Foy, Azerbajǧanische Studien. . . [I], стр. 145.

[34] И. Г. Джафаров, Говоры Таузского района. Канд. диссерт., М., 1954, стр. 49; З. М. Велиев, Говоры Басаркечарского района. Канд. диссерт., Ереван, 1954, стр. 78; «Азәрбајҹан дилинин Муған групу шивәләри», стр. 47.

[35] G. Hazai, Textes turcs du Rhodope, «Acta orient. Hung.», X, 2, 1960, стр. 219 (данные, цитируемые по этой статье, далее обозначаются «диал. (Родопы)»).

[36] На турецкий диалектный (балканский) вариант с *d-* указывает болг. *дарак*, «гребень» (ср. сербско-хорв. *тра̏рак* с *t-*).

[37] М. И. Исламов, Нухинский диалект. Канд. диссерт., Баку, 1961, стр. 66.

20) турецк. *tanı-* «знать, узнавать», *tanık*, P *danyk* «свидетель» / гаг. *tany-* «знать», / азерб. *tany-* «знать»; IM *tanuk* «свидетельство» / туркм. *tany-* «знать» / салар. *tany-* ~ тув. *tany-* «знать, узнавать» / карагасск. *tana-*;

21) турецк. *taşı-*, P *daš-*, диал. (Родопы) *dašy-* «переносить, перевозить» / гаг. *tašy-* / азерб. *dašy-* / туркм. *dašy-* ~ тув. *daʿžy-* «тащить»;

22) турецк. *döşe-* «расстилать, стлать» / гаг. *döše-* / азерб. *döšä-*; IM *döšä-*, *töšä-* / туркм. *döše-*, диал. (сев.-йомудск.) *tüše-* ~ тув. *dö'že-* «расстилать»;

23) турецк. *tepe*, P *däpä* «холм; макушка» / гаг. *tepe* / азерб. *täpä*; IM *täpä* «холм», *töpä* «макушка»/ туркм. *depe* ~ тув. *tej* «холм, макушка»;

24) турецк. *dolu*, диал. (Родопы) *tolu* «град»/гаг. *tolu* / азерб. *dolu*/ туркм. *döly*, L (Türkmäni) *tolu* ~ тув. *dolu* «град» / карагасск. *dolo*;

25) турецк. *damar*, диал. *tamar*[38] «жила»/ гаг. *damar* / азерб. *damar*; IM *tamyr*/ туркм. *damar*, K огуз. *tamar* ~ тув. *damyr* «жила»;

26) турецк. *topuk* «лодыжка» /азерб. *topug* /туркм. *topyk* ~ тув. *doʿvuk* «коленная чашечка»;

27) турецк. *dokuz* «девять» / гаг. *dokuz* / азерб. *dogguz*; IM *dokuz* / туркм. *dokkyz*, диал. (Сарык) *tokuz*[39] / салар. *dokus* ~ тув. *tos* «девять» / карагасск. *tohos*;

28) турецк. *derin* «глубокий» / азерб. *därin* / туркм. *derīŋ*, диал. (зап.-йомудск.) *terīŋ*[40] ~ тув. *tereŋ* «глубокий» / карагасск. *teräŋ*;

29) турецк. *torum* «внук; двухгодовалый верблюд»; IM *torum* «верблюжонок-сосунок»/ туркм. *tōrym* «двухгодовалый верблюд» ~ тув. *dorum* «двухгодовалый верблюд»;

30) турецк. *taban*, диал. *daban*[41] «подошва, ступня» / гаг. *taban* «подошва горы» / азерб. *daban* «ступня»/ туркм. *dāban* ~ тув. *davan* «нога», *tavaŋaj* «ступня» / карагасск. *taban*;

31) турецк. *turna*, диал. *durna*[42] «журавль»/ гаг. *turna* / азерб. *durna* / / туркм. *durna*, диал. (трухменск.) *turna* ~ тув. *durujā* «журавль»;

32) турецк. *tilki*, диал. (Конья) *dilki*[43] «лиса»/ гаг. *tilki* / азерб. *tülkä*; IM *tülkü* / туркм. *tilki* / салар. *tylygu* ~ тув. *dilgi* «лиса» / карагасск. *dilge*;

33) турецк. *duynak* «копыто» / туркм. *tojnak*[44] ~ тув. *dujug* «копыто» / карагасск. *tujug*;

34) турецк. *tırnak* «ноготь» / гаг. *tyrnak* / азерб. *dyrnax*; IM *dyrnak* / туркм. *dyrnak*; L *dyrgak* ~ тув. *dyrgak* «ноготь»;

35) турецк. *tokmak* «пест, колотушка» / гаг. *tokmak* / азерб. *toxmak*; IM *tokmak* / туркм. *tokmak* / салар. *toxmax* ~ тув. *doʿkpak* «колотушка», *tokpak* «чурка, полено»;

36) турецк. *toprak* «земля, почва, прах»; RN *toprak* / гаг. *toprak* / азерб. *torpag*; IM *tobrak* / туркм. *toprak* / салар. *torax* ~ тув. *doʿvurak* «земля, пыль».

Весьма редки случаи, когда в обеих сравниваемых группах языков представлено без колебаний *t-*. В таких случаях мы обычно не располагаем достаточно полными данными (ср., например, IM *tanag* «ноздря» / туркм. *tāna* — тув. *tanak* «ноздря»; слово не зафиксировано в западных

[38] A. Caferoğlu, G. Doerfer, Das Aserbeidschanische, PhTF, I, стр. 291.

[39] Н. Нартыев, Сарыкский диалект туркменского языка. Канд. диссерт., Ашхабад, 1960, стр. 110.

[40] К. Шамурадов, Западные говоры ёмудского диалекта туркменского языка. Канд. диссерт., Ашхабад, 1960, стр. 48.

[41] N. K. Dmitrijev, Gagausische Lautlehre III, AO, V, 1933, стр. 107.

[42] T. Kowalski, Osmanisch-türkische Dialekte, «Enzyklopaedie des Islām», IV, Leiden — Leipzig, 1934, стр. 1001.

[43] T. Kowalski, указ. соч., стр. 1001.

[44] На туркменский диалектный вариант с *d-* может указывать каракалп. *dojnak*, по-видимому, заимствованное из туркменского.

огузских языках) или имеем дело с явными заимствованиями (например, турецк. *tuǧ* «султан, бунчук» / азерб. *tuγ*; IM *tūk* / туркм. *tūγ* «знамя» ~ тув. *tuk* «знамя»; слово восходит к китайскому оригиналу, как и монг.-письм. *tug*, корейск. *tuk*, тибет. *tog*).

По-видимому, слова групп А и Б нельзя объединять, постулируя в обоих случаях изменение **t-* > *d-*. При этом останется неясным, почему предполагаемый процесс полностью прошел во всех рассматриваемых языках в словах группы А, но осуществился спорадически в словах группы Б, представляющих такие же типы корней (корни типа *tat*, *tāt*, *tata*, *tāta*, *tatat*, *tātat*, *tattat*, где *t* — любой неслогообразующий, *a* — любой слогообразующий).

С другой стороны, соответствие огузских и тувинско-карагасских данных в словах группы А сразу же исключает предположение о специфически огузской инновации **t-* > *d-*. Поскольку тувинско-карагасский и огузские языки не имеют непосредственного контакта никак не меньше тысячелетия (вероятно, намного дольше), находясь на противоположных окраинах тюркской языковой области, речь может идти скорее о сохранении архаизма в двух окраинных зонах. Описанные факты, таким образом, допускают следующее объяснение: в группах А и Б представлены в начале слова две различные пратюркские фонемы — соответственно **d-* и **t-*; фонема **d-* сохранена в огузском и тувинско-карагасском (слова группы А), фонема **t-* частично совпала в этих языках с **d-* (слова группы Б).

Первоначальные условия изменения **t-* > *d-* (в словах группы Б) сейчас затемнены в результате действия аналогии и междиалектных смешений; без детального изучения диалектных данных следует ограничиться осторожными предположениями. Условия эти могли быть различными в тувинско-карагасском и в огузском и в отдельных языках каждой группы. Так, упоминавшееся выше правило о распределении *t-* и *d-* в тувинском в соответствии с характером первого слога (повелительное наклонение *typ*, *tut*, *tik*, *tök* при *dyʿ-var* «находить», *duʿ-dar* «держать», *diʿ-ger* «ставить юрту», *dö-ger* «проливать», *tas* «лысый» при *daʿ-zyr* «голый», ср. также *xyp*, *xak* при *kyʿ-var* «гореть», *kaʿ-gar* «бить» [45] стоит в явной связи с собственно тувинским (отсутствующим в карагасском) ослаблением сильных согласных в позиции между гласными. Исходное огузское распределение могло быть сходным с современным саларским, где **t-* представлен аллофонами [tʿ-]- и [t-], а **d-* — аллофонами [t-] и [D-]; распределение сильных и слабых аллофонов обеих фонем могло регулироваться просодическими факторами. Приняв последующее совпадение промежуточного по напряженности [t-] со слабым [D-], мы получили бы объяснение современному огузскому состоянию: **d-* сохранен как [D-]; **t-* отражен двояко — как [tʿ-] или [D-].

Итак, огузские языки и тувинско-карагасский сохраняют (в несколько измененной форме) пратюркское противопоставление **d-* и **t-*. Для остальных тюркских языков следует принять изменение **d-* > *t-*, приведшее к совпадению двух дентальных фонем в одной (*t-*). Следы прежней дихотомии, возможно, сохранены и здесь. Мы имеем в виду ряд слов с начальным **d-*, употреблявшихся преимущественно энклитически, так что в фонетическом слове позиция **d* оказывалась срединной; в таких случаях *d* сохранено большинством тюркских языков, ср. тюрк. **dē-* «говорить», **daγy* «также, и», **däγin*, *däγri* «до», возможно **dört* «четыре» [46].

---

[45] См. А. А. Пальмбах, Система согласных. . . , стр. 111—112.

[46] Большинство кыпчакских языков имеет начальный *d-* в названиях свиньи (балкар *doŋuz* кумык. *doŋuz*, татар. *duŋyz*/ног. *doŋyz*/каракали. *doŋyz*/кирг. *doŋuz*)

Однако доказательность случаев такого рода ослабляется тем обстоятельством, что не обнаруживаются надежные примеры с тюрк. *t- в соответствующей позиции.

Первоначально противопоставление *d- и *t- сохранялось и в булгарской группе тюркских языков (в современном чувашском только t-). Об этом свидетельствуют венгерские слова, заимствованные из булгарского не позднее VIII в.:

венг. *dara* «крупа» < булг. *daryγ (чуваш. *tyrä* «хлеба; зерно») [47]; ср. турецк. *darı* «просо», азерб. *dary*; IM *dary*, туркм. *dary*;

венг. *dél* «полдень, юг» < булг.* *dël* [48]; ср. L *düš* «полдень», тув. *du'š*;

венг. *tyük* «курица» < булг. *tyγuk (чуваш. *čăx*, *čăxă* «курица») [49]; ср. турецк. *tavuk*, диал. *davux* «курица», азерб. *tojug*, IM *takuk*, туркм. *tavyk*, L (türkmäni) *dagyk*, *dakuk*;

венг. *tinó* «бычок» < булг. *tynaγ (чуваш. *tyna* «бычок») [50]; ср. турецк. *dana* «теленок», таг. *dana*, азерб. *dana*, туркм. *tāna*;

венг. *toklyó*, диал. *tokló* «годовалый ягненок» < булг. *toklyγ [51]; ср. турецк. *toklu* «годовалый ягненок», туркм. *tokly*.

Булгарский *d- сохранялся, вероятно, и в ранний период булгарско-пермских контактов, ср. удм. *dolak* «полный» < булг.*dolaγ (чуваш. *tulă* «полный») [52] при огуз. *dōlu* «полный» (A 21), тув. *dolu* [53].

Резюмируем: анализ собственно тюркского материала требует реконструкции двух дентальных в начале слова в пратюркском. Мы условно обозначаем эти фонемы символами *t- и *d-; данные азербайджанских и туркменских говоров, с одной стороны, и тувинско-карагасского — с другой, позволяют предположить, что в пратюркском противопоставлялись не глухой и звонкий, но сильный (fortis) и слабый (lenis) взрывные.

тюрк. * t - → огуз. t - (> t - /d -)
→ тув.-карагасск. t - (> t - /d -)
→ (прочие языки) t -

тюрк. * d - → огуз. d -
→ тув.-карагасск. d -
→ (прочие языки) t -

*

Если в тюркском в начале слова был возможен не только *t-, но существовало противопоставление *t-—*d-, следует пересмотреть принятую в современной алтаистике реконструкцию двух алтайских дентальных: алт. *t- > тюрк. *t-, монг. *t-, тунг. *t-; алт. *d- > тюрк. *j-, монг. *d-, тунг. *d-. В свое время З. Гомбоц восстанавливал в алтайском тро-

и моря (крымско-татар. *dāŋiz*/кумык. *deŋiz*/татар. *diŋez*/башк. *diŋāδ*/ног. *deŋiz*, ср. еще узб. *deŋiz*, уйг. *deŋiz*). В обоих случаях, несмотря на наличие *d-* во всех огузских языках, мы имеем, по-видимому, дело со вторичным и достаточно поздним озвончением (ср. СС *toŋuz*; СС *teŋiz*, казах. *tāŋiz*, каракалп. *tāŋiz*), возможно, обусловленным специфическим консонантизмом этих двух слов (*t-ŋ-z*). Аналогичное озвончение вероятно в данном случае и для огузского, так как название моря по крайней мере следует реконструировать с начальным *t- в алтайском и пратюркском, ср. эвен. *toŋār* «озеро» и венг. *tengér*, др.- венг. *töngör* «море» < булг. *teŋör*.

[47] Z. Gombocz, Die bulgarisch-türkische Lehnwörter in der ungarischen Sprache, Helsinki, 1912, стр. 68, 165.

[48] Ср. Z. Gombocz, указ. соч., стр. 165; Н. Н. Поппе, Чувашский язык и его отношение к монгольскому и тюркским языкам, «Изв. Российск. АН», VI серия, XVIII (1924), 12—18, 1925, стр. 306.

[49] Z. Gombocz, указ. соч., стр. 135.

[50] Там же, стр. 130.

[51] Там же.

[52] Ср. T. E. Uotila, Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen, Helsinki, 1933, стр. 13.

[53] Эвен. *tolī* «полный, ровный», по-видимому, заимствовано из якут. *tolu*, *tolū* и не указывает, следовательно, на *t- в алтайском.

ичное противопоставление: **t-* (тюрк. **t-*, монг. **t-*, тунг. **t-*) —**d-* (тюрк. **t-*, монг. **d-*, тунг. **d-*) — **δ-* (тюрк. **j-*, монг. **d-*, тунг. **d-*) [54]. Эта концепция, которую ранее принимал и Н. Поппе [55], была впоследствии незаслуженно забыта. Одной из главных причин отказа от нее явилось, вероятно, то обстоятельство, что ни в одной группе алтайских языков не находили отражения постулируемого троичного противопоставления дентальных: и Гомбоц, и Поппе специально подчеркивали, что огуз. *d-*, развившееся, по их мнению, вторично из тюрк. **t-*, не имеет непосредственной связи с алт. **d-* [56]. Данная выше новая интерпретация тюркских фактов позволяет по-новому взглянуть на гипотезу З. Гомбоца.

Сравнение тюркского материала с данными других алтайских языков обнаруживает, что тюрк.**d-*(> огуз. *d-*, тув.-карагасск. *d-*), как правило, соответствует монг. **d-* и тунг. **d-*, а тюрк. **t-* (>огуз. *t-*, *d-*, тув.-карагасск. *t-*, *d-*) регулярно отвечает монг. **t-*, тунг. **t-*.

I. Тюрк. **d-* ~ монг. **d-* ~ тунг. **d-*

Тюрк. **dül'* «полдень» ~ монг. **düli* «середина; полдень, полночь» ~ тунг. **dulyn* «середина, половина» (Gombocz LA, 19 [57]): L *düš* «полдень» / / тув. *düˀš* (ср. K *tüš* / CC *tüš* / венг. *dél* < булг. **del*) ~ монг.-письм. *düli* «середина; полдень, полночь» / ср.-монг. M [58] *düli* «зенит» / монгор.[59] *dur* «середина» ~ эвенкийск. *dulin* «середина, половина» / эвен. *dulakān* «середина», *dulag* «средний» / нан.[60] *doli*ⁿ «середина» / маньчж.[61] *dulin*;

тюрк. **daja-* «опирать(ся), прислонять(ся)» ~ монг. **dajibal-* «наклоняться» (Ramstedt KW, 83 [62]) ~ тунг. **daja-* «опираться»: огуз. **daja-* «подпирать, прислонять» (A 17 [63]) / тув. *dajan-* «опираться» / карагасск. *dajak* «палка» (ср. K *taja-* «опираться», *tajak* «опора» / CC *tajak* «палка», L *tajak* / якут. *tajan-* «опираться» / чуваш. *tujalan-*)[64] ~ монг.-письм. *dajibal-* «сгибаться, наклоняться» / калм. *dāwl̥-* ~ маньчж. *daja-* «прислоняться, опираться»;

тюрк. **daky*, *daγy* «еще, также; снова» ~ монг. **daki-* «снова; начинать снова» (Gombocz LA, 27) ~ тунг. **daγa* «и, также»: огуз. **daky*, *dahy* «и, также» (A 18) / тув. *dagyn* «снова» (ср. др.-тюрк. *taky* «и, еще» / / K *taky* / CC *taγy*, *daγy* / якут. *daγany* «также») ~ монг.-письм. *daki-*

[54] Z. Gombocz, Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen, «Keleti szemle», XIII, 1912/13 (далее — Gombocz LA).

[55] N. Poppe, Altaisch und Urtürkisch, UJb (далее — Poppe AU), стр. 100—101.

[56] См. Gombocz LA, стр. 36; Poppe AU, стр. 101. Связь огузского *d-* с алт. **d-* была замечена лишь А. Тромбетти в его разборе примеров Гомбоца (A. Trombetti, Elementi di glottologia, Bologna, 1923, стр. 390).

[57] Г. Рамстедт ошибочно сближает монгольское и тунгусское образование с тюрк. **jūlūn* «костный мозг» (Ramstedt EAS, 52); это не единственный пример, когда очевидные этимологии игнорировались или оказывались забытыми в результате неполной реконструкции системы алтайских дентальных. На случаи такого рода недавно обратил внимание Д. Синор [D. Sinor, Observations on a new comparative Altaic phonology, «Bull. of the School of Oriental and African studies», XXVI, 1963 (далее — Sinor)], сделавший, впрочем, неправомерные выводы на основании немногочисленных разнородных сопоставлений.

[58] Литера M указывает на материал словаря «Мукаддимат ал-Адаб» (Н. Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, I — III, М.— Л., 1938).

[59] См. A. de Smedt, A. Mostaert, Le dialecte monguor parlé par les mongols du Kansou occidental. III. pt.— Dictionnaire monguor-français, Pei-pʿing, 1933.

[60] См. Т. И. Петрова, Нанайско-русский словарь, Л., 1960.

[61] См. И. Захаров, Полный маньчжурско-русский словарь, СПб., 1875.

[62] Ramstedt KW = G. J. Ramstedt, Kalmückisches Wörterbuch, Helsinki, 1935.

[63] Здесь и ниже цифры указывают на соответствующие слова списков А и Б в первом разделе статьи.

[64] Из тюркского (скорее всего из др.-уйг. *tajak*) заимствовано монг. **tajag* «палка» (монг.-письм. *tajag* и т. п.).

«начинать снова», *dakin* «снова» / ср.-монг. М *daγi* «еще» / дагур.[65] *dagī* «снова» / калм. *dakŋ* ~ эвенкийск. *-dā* (*-dä*) «и, также» (энклитика) / / эвен. *-dā*;

тюрк. **dōrt* «четыре» ~ монг. **dōrben*[66] «четыре» ~ тунг. **düγin* «четыре» (Poppe AU, 100): огуз. **dōrd* (A 16) / тув. *dört* / карагасск. *dört* (ср. др.-тюрк. *tört* / K *tōrt* / QB[67] *tört* / CC *tört*, *dört* / якут. *tüört* / чуваш. *tăvattă*) ~ монг.-письм. *dörben* / ср.-монг. *dōrben* / дагур. *dùrwę* (*n*) / /монгор. *diēran* / могол. R. *dùrbōn* / калм. *dörwŋ* ~ эвенкийск. *diγin* / / эвен. *diγän* / ульч.[68] *dùjn* / нан. *duiⁿ* / маньчж. *dujn*;

тюрк. **dalga* «волна» ~ монг. **dolgiγan* «волна» (Poppe AU, 100) ~ тунг. **dal*[γ]*an* [ø][69] «наводнение»: турецк. *dalga* «волна, вал» / гаг. *dalga* / азерб. *dalga*[70] ~ монг.-письм. *dolgijan* «волна», *dolgi-* «волноваться» / дагур. *dolg'ēŋ* «волна» / калм. *dol'γān* ~ нан. *dalan* «наводнение»;

тюрк. **dölə-* «быть спокойным» ~ монг. **dölüγen* «спокойный» ~ тунг. **d*[ö]*lə* [*u*] «быть спокойным» (Gombocz LA, 28; Ramstedt KW, 105): турецк. P. *dölük* «спокойный», *dülän-* «успокаиваться», *düläklik* «покой» /

---

[65] Дагурский материал приводится по изданиям: Н. Н. Поппе, Дагурское наречие, Л., 1930; N. Poppe, Über die Sprache der Daguren, «Asia Major», X, 1—1934, 2 — 1935.

[66] Мы восстанавливаем прамонгольские долгие гласные на основании показаний окраинных и во многом архаических дагурского, монгорского и могольского языков. Недавно Сиро Хаттори показал, что монгорские и дагурские долготы неретракционного происхождения нельзя объяснить комбинаторными условиями (см. Shirô Hattori, The length of vowels in Proto-Mongol, «Studia mongolica», II, 17—23, Ulan-Bator, 1961, стр. 459—461). В равной степени это относится и к долготам в могольском. Сравнение с тюркскими и тунгусо-маньчжурскими данными показывает, что во многих случаях прамонгольские долготы восходят к долготам алтайским. Кроме приводимого здесь соответствия монгор. *diēran* ~ туркм. *dōrd*, якут. *tüört*, можно указать еще следующие случаи (могол. *L* = могольский по записям Л. Лигети, могол. Leech = могольский по данным словарика Р. Лича: см. L. Ligeti, Le lexique moghol de R. Leech, «Acta orient. Hung.», IV, 1—3, 1955; Z = Shinobi Iwamura, The Zirni manuscript, Kyoto, 1961; могол. R = G. J. Ramstedt, Beiträge zur Kenntnis der Moghol-Sprache in Afghanistan, JSFOu, XXIII₄, Helsingissä, 1906): дагур. *mōd*, *modo* «дерево», монгор. *mōdi*, могол. L (Марда) *mādun*, Z *mōdun* ~ эвенкийск. *mō* «дерево»; дагур. *ōŋ*, (Хайлар) *xōn* «год», монгор. *xuān* ~ якут. *uon* «год», карагасск. *ōn*; монгор. *dōli-* «лизать» ~ туркм. *jāla-* «лизать»; дагур. *dālbūr* «грива» ~ туркм. *jāl* «грива», якут. *siäl*; монгор. *dźiōrgo-* «встречать» (<**ʒōlgo-*) ~ эвенкийск. *ʒōl* «счастье», туркм. *jōl* «путь», якут. *suol*; могол. R *nōm* «лист» (<**nāb*, *nām*) ~ туркм. *jāprakčyk* «листик» (но *japrak* «лист» с сокращением); могол Leech *īda-* «есть» ~ якут. *īt-* «кормить, выращивать»; могол. Leech *īra-* «приходить» ~ эвенкийск. *ī-* «входить»; могол. Leech *šīra* «желтый» ~ туркм. *sāry* «желтый», IM *sāru*. Вывод об алтайском происхождении части прамонгольских долгот, по-видимому, сделал и Н. Поппе (ср. его прежнюю точку зрения: N. Poppe, Introduction to Mongolian comparative studies, Helsinki, 1955, стр. 74), судя по его замечанию в предисловии к кн.: Shinobu Iwamura, The Zirni manuscript (стр. VII). Нам, к сожалению, известна только по заглавию последняя статья Поппе, посвященная этому вопросу (JSFOu, 1962). Весь вопрос о соотношении прамонгольских, пратюркских и пратунгусских долгот несомненно нуждается в специальном исследовании.

[67] QB = «Кутадгу билиг» по кн.: С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951.

[68] См. Т. И. Петрова, Ульчский диалект нанайского языка, М.—Л., 1936.

[69] В квадратных скобках помещаем те части праформы, для которых допустимо несколько различных реконструкций; другие возможные варианты следуют за праформой в таких же скобках; ø — нуль звука, ə — гласный неизвестного качества.

[70] Туркм. *tolkyn* «волна», как и формы других тюркских языков с *-o-* в первом слоге, вероятно, является преобразованием исходного **dalga* под влиянием глагола **tolkə-* (ср. тув. *dolga-* «крутить», уйг. *tolkan-* «вертеться»; начальный **t-* в глаголе подтверждает эвенкийск. *tōlgan* «водоворот»). Аналогичной контаминацией можно объяснить *-o-* в монгольском.

карагасск. *dülei* «спокойный»[71] (ср. чагат. *tüläk* «воздержанный») ~ монг.-письм. *dölüγen* «тихий, мирный, спокойный» / орд. *dülē(n)* / калм. *dölēn* ~ эвенкийск. *dulī-* «утихнуть, успокоиться», *dulumkūn* «смирный, спокойный» / эвен. *dulam* «спокойный»;

тюрк. **del'-* «раскалывать; прокалывать» ~ монг. **delberkei* «расколотый» (Poppe AU, 100) ~ тунг. **dälkä-* «разделять»: огуз. **deš-* «раскалывать; пронзать» (A 6) / тув. *de'ž-* (ср. CC *tešik* «дыра» / якут. *täs-* «прокалывать») ~ монг.-письм. *delberkei* «глубокая трещина; расколотый» / / калм. *delwγkē* ~ эвен. *dälkä-* «отделять» / нан. *dälxäu-* «разлучаться» / маньчж. *dälxä-* «разделяться»;

тюрк. **d[ā]l [a]* «верхняя часть спины, спина» ~ монг. **dālu* «лопатка»[72]: турецк. *dal* «спина» / азерб. *dal* «спина, зад», диал. (Тебриз, Эрзерум) «часть спины между плечами»[73] / туркм. (устар.) *dal*[74] «зад» ~ монг.-письм. *dalu* «лопатка» / ср.-монг. M *dalu* / монгор. *dālī* «плечо» / могол. R *dōlu*, Z *dālū* «лопатка» / калм. *dal*^{a};

тюрк. **dālγak, d[ā]lγäk[ä]* «селезенка» ~ монг. **deliγün* «селезенка» (Gombocz LA, 21): турецк. *dalak* / таг. *dalak* / азерб. *dalag*, диал. (Тебриз) *däläγ-*[75] / туркм. *dālak* (ср. K *talak* / L *talak* / якут. *tāl*) ~ монг.-письм. *deliγün* / ср.-монг. M *delün* / дагур. *delū* / монгор. *diliu* / калм. *delün*;

тюрк. **dada-* «привыкать» ~ монг. ** dadu-, dasu-* «привыкать» (Poppe AU, 100): огуз. **dadan-, dadyn-* «привыкать, приучаться» (A 19) / тув. *dadyg-* «закаляться» ~ монг.-письм. *dasu-* «привыкать», *dadumag* «привычный» / калм. *dadm*^{a}*g* «привычный»;

тюрк. **döl'* «пологий склон (подъем)» ~ монг. **döli-* «пологий; склон» (Ramstedt KW, 98)[76]: азерб. *döš* «скат, склон» / тув. *dö'š* «подъем» (ср. якут. *tüs* «конусообразный верх стога») ~ монг.-письм. *döligü* «пологий», *dölügen* «склон горы» / халх. *dölö* «склон» / калм. *dölü* «пологий»;

тюрк. **dāγa-* «разрушать; заканчивать» ~ монг. **daγus-* «расходоваться, кончаться» (ср. Ramstedt KW, 104): огуз. **dāγyl-* «разрушаться, рассеиваться» (A 20) / карагасск. *dagy-* «расходиться; заканчиваться» (ср. CC *tavus-, tuvus-* «заканчивать») ~ монг.-письм. *dagus-* «кончаться, расходоваться» / ср.-монг. M *da'us-* / калм. *dūs-*;

тюрк. **dür'-, dir'-* «нанизывать; вдевать» ~ монг. **dürü-* «всовывать, протыкать» (Poppe AU, 100)[77]: огуз. **düz-, diz-* «нанизывать» (A 9) / тув. *diz-* (ср. K *tiz-* / QB *tiz-* / якут. *tis-* / чуваш. *tir-* «вдевать, нанизывать») ~ монг.-письм. *dürü-* «всовывать, протыкать» / ср.-монг. M *dürü-* «затыкать» / дагур. *dürü-* «хватать, быть в самый раз» / калм. *dür-* «протыкать»;

тюрк. **dalbə-* «махать; порхать» ~ монг. *dala-* «махать» (Poppe AU, 100): тув. *da'lbaj-* «расправляться (о крыльях)», *da'lbaŋna-* «взмахивать крыльями» (ср. K *talbyn-, talbyr-* «порхать» / якут. *talbā* «размахивание», *talbar-* «вспархивать») ~ монг.-письм. *dalal-, dalajidu-* «махать» / ср.-монг. M *dala-* «подавать знак» / калм. *dalǰ-* «махать»;

---

[71] Омонимичное карагасск. *dülei* «глухой», как и тув. *dülei*, кирг. *dülöi*, заимствовано из монгольского (ср. монг.-письм. *dülei* «глухой»).

[72] Г. Рамстедт сближает монгольское слово с тюрк. **jāl, jāl* «грива» (Ramstedt KW, 73), что скорее связано с монг. **dēl* (монг.-письм. *del* «грива», дагур. *dālbār*).

[73] K. Foy, Azerbajğanische Studien, II, «Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin», II. Abt., Jg. VII, 1904, стр. 213.

[74] Количественная характеристика гласного неизвестна.

[75] K. Foy, указ. соч., II, стр. 226.

[76] Г. Рамстедт предполагает также связь с тюрк. **töl'* «грудь», что едва ли верно (ср. ниже, стр. 50).

[77] Ср. еще корейск. *turim* «двадцать нанизанных рыб»: G. J. Ramstedt, Studies in Korean etymology [I] — Helsinki, 1949 (далее — Ramstedt SKE), стр. 277

тюрк. *dü[γ]ür [j] «полный» ~ монг. *düγüreŋ «полный» (Ramstedt KW, 107): турецк. düyüz «полный, совершенный, зрелый» ~ монг.-письм. dügüreŋ «полный, целый» / ср.-монг. М dü'üren / калм. dürŋ̥;

тюрк. *dūb «дно, нижний конец» ~ тунг. *dübe «верхний конец, оконечность» (Sinor, 142): огуз. *dūb, dīb «дно, низ» (А 15) / тув. düp «дно» (ср. др.-тюрк. tüp «дно» / К tūb «корень, дно» / чуваш. tĕp «дно») ~ эвенкийск. duwä «вершина дерева» / нан. duä «верхний конец» / маньчж. dube «конец, оконечность»;

тюрк. *dyl, dil «язык, речь» ~ тунг. *dylgan «голос» (Gombocz LA, 28): огуз. *dıl «язык; речь» (А 3) / тув. dyl / карагасск. dyl (ср. др.- тюрк. tyl «лазутчик» / К tyl «язык», др.-уйг. til / СС til / якут. tyl / чуваш. čĕlxe) ~ эвен. delgan «голос» / нан. ʒelga / маньчж. ʒilgan;

тюрк. *dāγ «гора, лес» ~ тунг. *dajγa «лес, гора»: огуз. *dāγ «гора» (А 14) / тув. dag / карагасск. dag (ср. др.-тюрк. tag / К tāg / СС tag / L tag / якут. tya «лес» / чуваш. tăv «гора») ~ ороч. dihi «лес», ср. якут. dajγa «тайга», русск. (сибирск.) дайга «горы в верховьях рек», предполагающие тунг. *dajγa.

II. Тюрк. *t- ~ монг. *t- ~ тунг. *t-

Тюрк. *tary- «возделывать землю» ~ монг. *tari- «возделывать» ~ тунг. *tary- «сеять» (Ramstedt KW, 380): турецк. tarla «поле, нива» / / гаг. tarla / азерб. tarla / тув. tary- «сеять, пахать» (ср. др.-тюрк. tarlaγ «пашня», taryγ «урожай» / К tary- «возделывать землю» / СС tarlov «нива») ~ монг.-письм. tari- «возделывать» / ср.-монг. М tari- / дагур. tari- / монгор. tari- / калм. tarān «нива» ~ эвенкийск. диал. tare- «сеять» / ульч. tari- / нан. tare- / маньчж. tari-;

тюрк. *tūn «ночь, вечер; вчера» ~ монг. tüne «темнота» (Ramstedt KW, 415) ~ тунг. t[ö]nə [i] «вчера»; огуз. *tūn / dūn (Б 14) / тув. dün «ночь», dün «вчера» / карагасск. dün «ночь» (ср. др.-тюрк. tün / К tün / СС tün «ночь», tünekün «вчера» / якут. tün «ночь» / чуваш. tĕm «темный») ~ монг.-письм. tüne «темнота; чаща» / калм. tūnü ~ эвенкийск. tiniw «вчера», tinäp «со вчерашнего дня»;

тюрк. *topyrak «земля, пыль» ~ монг. *toβarag «пыль» (Ramstedt KW, 405) ~ тунг. *tōr (< *tōwirʔ) «земля»: огуз. *toprak «земля, почва, прах» (Б 36) / туркм. toprak / тув. do'vurak (ср. К toprak / СС toprak / L toprak / якут. toburax «пыль» / чуваш. tăpra «земля») ~ монг.-письм. toγorag, tobarag «пыль» / дагур. toaral / калм. tōrm̥, tōrŋ̥ ~ эвенкийск. tūr, tūräŋ «земля, область»;

тюрк. *topyk «коленная чашечка; лодыжка» ~ монг. *to[β]ig [γ] «коленная чашечка» ~ тунг. *tobgi «коленная чашечка»: огуз. *topuk, topyk «лодыжка» (Б 26) / тув. do'vuk «коленная чашечка» (ср. К tubyk «коленная чашечка» / QB tobyk / L topuk «лодыжка» / якут. tobuk «колено») ~ монг.-письм. tojig, tojiŋ «коленная чашечка» / калм. tŏg, tŏŋ ~ ульч. tahi «коленная чашечка» / маньчж. tobgija;

тюрк. *tyk- «втыкать, всовывать, набивать» ~ монг. *čiki- «всовывать, набивать» (Ramstedt KW, 439) ~ тунг. *t[y]k[y]- [i] «вмещаться»: огуз. *tyk- / dyk- (Б 11) / тув. dy'gy- «набивать, просовывать» (ср. К tyk- «всовывать» / СС tyxa- «набивать» / якут. tyk- «ударять во что-либо, жалить» / чуваш. čik- «колоть, втыкать») ~ монг.-письм. čiki- «всовывать, набивать» / калм. tʃik'- ~ ульч. tiki- «помещаться»;

тюрк. *tap- «находить; отгадывать» ~ монг. *ta[β]a- [γ] «отгадывать» (Ramstedt KW, 386): огуз. *tap-/dap- (Б 7) / тув. typ-, dy'v- / карагасск. taj- (ср. др.-тюрк. tap-/ К tap- / QB tap-/ СС tab-/ якут. tap- «попадать, делать кстати» / чуваш. tup- «находить») ~ монг.-письм. taγa- «отгады-

вать» / ср.-монг. М, Н [78] *ta'a-* / дагур. *tāul* «загадка» / монгор. *tā-* «отгадывать» / калм. *tā-*;

тюрк. **tany-* «знать, узнавать» ~ монг. **tani-* «знать» (Ramstedt KW, 387): огуз. **tany-/dany-* (Б 20) / тув. *tany-* / карагасск. *tana-* (ср. К *tanuk* «свидетель» / СС *tany-* «знать» / венг. *tanú* «свидетель» < булг. **tanuγ*) ~ монг.-письм. *tani-* «знать» / ср.-монг. М *tani-* / монгор. *tani-* / могол. *tani-* / калм. *tan*^{i}-;

тюрк. **tāl'* «камень» ~ монг. **čilaγun* (< **t'al'a*) «камень» (Ramstedt KW, 444): огуз. **tāš* / *dāš* (Б 15) / тув. *daš* (ср. др.-тюрк. *taš* / К *tāš* / СС *taš* / якут. *tās* / чуваш. *čul*) ~ монг.-письм. *čılaγun* / ср.-монг. *čila'un* / / дагур. *tšolō* / орд. *tšilū* / калм. *tšolūn*;

тюрк. **tāban* «ступня, подошва» ~ монг. **tabag* «ступня, подошва» (Ramstedt KW, 385): огуз. **tāban* / *dāban* (Б 30) / тув. *davan* «нога», *tavaŋaj* / карагасск. *taban* (ср. К *taban* / СС *taban* / якут. *tabaγaj* «ладонь, лапа» / чуваш. *tupan*) ~ монг.-письм. *tabag* / орд. *tawag* / монгор. *tawag* / калм. *tawag*;

тюрк. **tabyl'γan* «заяц» ~ монг. *taβɜlai* «заяц» (Ramstedt KW, 413): турецк. *tavşan*, диал. *davšan*, *doušan* [79] / азерб. *dovšan*; IM *taušan* / туркм. *tavšan* (ср. др.-тюрк. *tabyšγan* / К *tavyšγan* / L *taušan*) [80] ~ монг.-письм. *taulai* / ср.-монг. кв.[81] *tavlaji*, М *ta'ulai*, Н *taulai* / дагур. *taɣl'ē* / монгор. *tūlī* / калм. *tūlā*, *tūlā*;

тюрк. **tuŋak* «копыто» ~ монг. **tuγur* (< **tuŋur*) «копыто» (Ramstedt KW, 413) [82]: турецк. *duynak* / туркм. *tojnak* / тув. *dujug* / карагасск. *tujug* (ср. др.-тюрк. *tujuγ* / К *tujaγ* / якут. *tujax*) ~ монг.-письм. *tuγurai* / ср.-монг. IM *tu'ur* / могол. *tūr* / калм. *tūr*;

тюрк. **turuŋa* «журавль» ~ монг. **turag* «журавль» (Ramstedt KW, 411): огуз. **turna/durna* (Б 34) / тув. *durujā* (ср. др.-тюрк. *turuñaja* / QB *turna* / CC *turna* / L *turna* / якут. *turuja* / чуваш. *tărna*, *tĕrne*) ~ монг.-письм. *turag* / ср.-монг. Н *tura'un* / калм. *tur*^{u}*g* [83];

тюрк. **takyγu* (с метатезой **taγyku*) «курица» ~ монг. **takiγa* «курица» (Ramstedt KW, 375): турецк. *tavuk*, диал. (Бруса) *davux* [84] / азерб. *tojug*; IM *takuk* / туркм. *tavyk* / L (türkmäni) *dagyk*, *dakuk* [85] / салар. *tox* (ср. К *takaγu*, др. -уйг. *takyγu* / СС *tavuk*, *tavox* / чуваш. *čăx*, *čăxă*, венг. *tyúk* < булг. **tywuk*) ~ монг.-письм. *takija* / ср.-монг. М, кв. *taki* 'a / орд. *dakā* / монгор. *tagū* / калм. *takā*;

тюрк. **tānag* «ноздря, крыло носа» ~ монг. **tanała* «носовые хрящи, крылья носа» (Ramstedt KW, 378): IM *tanag* «ноздря» / туркм. *tāna* / / тув. *tanak* (ср. якут. *tanÿ* «ноздря, крыло носа») ~ монг.-письм. *tanaγa* «носовые хрящи, углубления у крыльев носа» / бурят-монг. *tanā* / калм. *tanā*);

---

[78] H = M. Lewicki, La langue mongole des transcriptions chinoises du XIVe siècle. Le Houa-yi yi-yu de 1389, I — II, Wrocław, 1949—1959.

[79] K. Foy, Azerbajğanische Studien. . . [I], стр. 145.

[80] Тунгусо-маньчжурское название зайца **tuksa* (эвенкийск. *tuksaki*/солонск. *tutčahi*/удм. *tuksa*/ульч. *tuksa*/нан. *toksa*), возможно, родственно рассмотренным образованиям: **tuksa* < **tawksa*.

[81] Кв. = памятники монгольской квадратной письменности (см. N. Poppe, The Mongolian monuments in hP'ags-pa script, Wiesbaden, 1957).

[82] Ср. также: K. H. Menges, Glossar zu den volkskundlichen Texten aus Ost-Türkestan. II, «Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse [der Akademie der Wissenschaften und der Literatur]», Jg. 1954, 14, Wiesbaden, 1955, стр. 808(130).

[83] Формы монг.-письм. *toγuriγun*, ср.-монг. М *tuγra'un*, калм. *toγrūn* — вероятно, результат метатезы в исходном **turaγɜγun*.

[84] T. Kowalski, указ. соч., стр. 1001.

[85] Тув. *dagā* «курица» заимствовано из монгольского (ср. калм. *takā*).

тюрк. *tāt- «пробовать на вкус» ~ монг. *tatɜ- «жадно есть, жаждать» (Ramstedt KW, 385): турецк. tad- «пробовать», tatlı «сладкий», диал. datly[86]; RN tatlu «сладкий» / гаг. dat «вкус», tatly «сладкий» / азерб. dad- «пробовать»; IM dāt-, dātlu, dātlug «сладкий» / туркм. dāt-, dātly «вкусный» / салар. dahly «сладкий» / тув. taptyg «сладкий» (ср. K tatyγ «вкус», tatlyγ «сладкий», др.-уйг. tat- «пробовать» / CC tat-, tatly / чуваш. tută-, tutan- «пробовать», tutlă «вкусный») ~ монг.-письм. tačija- «страстно желать» / монгор. tadun «прожорливый» / калм. tatšā- «жаждать»;

тюрк. *tar' «плешивый, с редкой растительностью» ~ монг. *tar «плешивый, с редкой растительностью» (Ramstedt KW, 380): турецк. daz «плешь» / азерб. daz / тув. tas «лысый; со скудной растительностью», daʿzyr «голый, без растительности» (ср. K taz «плешивый» / CC taz / венг. tar < булг. *tar) ~ монг.-письм. tar «голый, с редкой растительностью» / ср.-монг. H taraxai «плешивый» / калм. tar «с редкой растительностью»;

тюрк. *tāla- «грабить» ~ монг. *tala- «грабить» (Ramstedt KW, 376): турецк. tala-, P dala- / азерб. tala- / туркм. tāla- (ср. якут. talā-) ~ монг.-письм. tala- / ср.-монг. M tala- / калм. tal[a]-;

тюрк. *täp- «лягать» ~ монг. *teβe- «бить ногой» (Ramstedt KW, 395)[87]: огуз. *tep-/däp- «брыкаться, лягаться» / тув. tep, deʿv- (ср. якут. täp- / / чуваш. tap-) ~ монг.-письм. teγeg «трава под снегом (которую добывают лошади)» / калм. tē- «бить передними ногами, разрывать ногами землю, снег»;

тюрк. *tōrym «детеныш; верблюженок» ~ монг. *torai «поросенок» (Ramstedt KW, 401): огуз. *tōrum (Б 29) / тув. dorum (ср. K t[ō]rum[ū]) ~ монг.-письм. torai «поросенок (дикой свиньи)» / калм. torā[88].

тюрк. *tik «прямой, крутой, отвесный» ~ монг. *čike «прямой, правильный» (Ramstedt KW, 439): турецк. dik «прямой, отвесный, крутой» / гаг. dik / азерб. dik, диал. (Тауз, Дманиси, Нуха) tix / туркм. dık (ср. CC tik) ~ монг.-письм. čike «прямой, правильный» / калм. tšik[e];

тюрк. *tām «стена, крыша, помещение» ~ монг. *tama «стена» (Ramstedt KW, 377): турецк. dam «крыша, землянка» / азерб. dam «крыша», диал. «конюшня»; IM dām / туркм. tām, диал. (трухменск.) dām «комната, дом» / салар. dam «стена» (ср. др.-тюрк. tam «стена» / K tām / CC tam «крыша» / L tam) ~ монг.-письм. tama «стена» / калм. tam[a];

тюрк. *tär'- «убегать, бежать» ~ монг. *tergɜ- «убегать» (Ramstedt KW, 393): азерб. диал. täz- / тув. däz- (ср. K täz- / чуваш. tar-) ~ монг.-письм. tergil-, tergili- / бурят.-монг. tirgel- / калм. tergl̥-;

тюрк. *tākä «козел» ~ монг. *teke «козел» (Ramstedt KW, 390): турецк. teke / азерб. täkä / туркм. teke / тув. te «горный козел», deʿge «козел» (ср. K teke) ~ монг.-письм. teke / ср.-монг. M teke / калм. tek[e];

тюрк. *tūr' «соль» ~ тунг. *turu- «соль» (Ramstedt EAS, 49[89]): огуз. *tūz/dūz (Б 18) / тув. dus / карагасск. tus (ср. K tūz / CC tuz / L tūz / якут. tūs / чуваш. tăvar) ~ эвенкийск. turukä;

тюрк. *tȫl' «грудь, грудная часть» ~ тунг. *t[ö]l[ü] [ü, u] [u] «грудь» (Gombocz LA, 20): огуз. *tȫš/dȫš «бок, грудь» (Б 16) / тув. töš / карагасск. döjš (ср. K tȫš / CC töš / якут. tüös) ~ маньчж. tulu «грудь лошади или быка».

---

[86] A. Caferoğlu, Die anatolischen und rumelischen Dialekte, PhTF, I, стр. 250; G. Hazai, указ. соч., стр. 218.

[87] H. Poppe сближает тюркское слово с монг. *deb-se- «наступать» (Poppe AU, 100).

[88] Монг. *torum «верблюженок» (монг.-письм. torum, ср.-монг. torum), вероятно, заимствовано из тюркского.

[89] Неприемлемо фонетически часто повторяемое сближение тюркского слова с монг. dabusun «соль».

Случаи отклонения от описанного распределения немногочисленны. В ряде примеров, когда тюрк. **d-* соответствует монг. **t-*, мы имеем дело с общемонгольскими заимствованиями из древнеуйгурского или другого юго-восточного тюркского диалекта, в котором осуществился процесс **d-*>*t-*[90]. Так можно объяснить, например, следующий случай: монг. **tegirmen* «мельница» (монг.-письм. *tegermen* / ср.-монг. M, кв. *tegirmen* / монгор. *tiermie*/ могол. R. *tērmōn* / калм. *tērmŋ*)<юго-вост. тюрк.**täγirmän* (ср. K *tägirmän*)<тюрк. **däγirmän* (огуз. **däγirmen* A 28/тув. *därbe*); в монгольском слово изолировано, тогда как в тюркском оно объясняется как производное от глагола **däγir*-«вращать» (турецк. P *dävir*-, чуваш. *tavăr*-)[91]. Аналогичное объяснение приложимо к монг. **temür* «железо» (монг. - письм. *temür* / монгор. *timur* / калм. *tömŋ*), ср. юго-вост. тюрк. **tämür* (др.-уйг. *tämir*) < тюрк. **dämür* (огуз. **dämir* A 22, тув. *demir*, карагасск. *demir*). В других случаях, когда в монгольском или тунгусо-маньчжурском представлено **t-*, реконструкция тюркского **d-* может быть обусловлена недостаточно полной документацией, не позволяющей обнаружить колебания *d-* / *t-* в огузском или тувинско-карагасском, ср. турецк. *dudak* «губа», гаг. *dudak*, азерб. *dodag*, туркм. *dōdak*, L *dōdak*, салар. *dudax* (но IM *tūdak*) при монг.-письм. *totuga* «губа»; турецк. *doğur*- «рождать», гаг. *dūr*-, азерб. *doγ*- «родиться», IM *dog*-, туркм. *doγ*-, салар. *doγ*- при эвен. *tugäl*-, *tuggōč*- «приносить детенышей», *tugun* «рано телящаяся важенка»[92].

Установленные выше соответствия требуют реконструкции трех дентальных фонем в начале слова в алтайском: соответствие тюрк. **d-* ~ монг. **d-* ~ тунг. **d-* (слова группы А) предполагает алт. **d-*; соответствие тюрк. **t-* ~ монг. **t-* ~ тунг. **t-* (слова группы Б) позволяет восстановить алт. **t-*; соответствие тюрк.* *j-* ~ монг. **d* ~ тунг. **d-* (примеры см. Gombocz LA, 27—29, Ramstedt EAS, 50—52) может указывать лишь на спирант *δ (в тюркском сохранен спирантный характер фонемы, но изменено место артикуляции). Тюркские и монгольские данные позволяют думать, что и в алтайском сильный (fortis)**t-* противопоставлялся слабому (lenis) **d-*[93].

алт. * *t-* → тюрк. * *t* - (> огуз. *t*-, *d*-, тув.-карагасск. *t*-, *d*-)
алт. * *t-* → монг. * *t* -
алт. * *t-* → тунг. * *t* -

алт. * *d-* → тюрк. * *d* - (> огуз. *d* -, тув.-карагасск. *d*-)
алт. * *d-* → монг. *d* -
алт. * *d-* → тунг. *d* -

---

[90] Таким образом, следует принимать, что процесс **d-* > *t-* прошел здесь во всяком случае до X — XI вв. (время распада прамонгольского). Такая датировка согласуется с показаниями древнеуйгурских и древнетюркских памятников, отражающих уже *t-*.

[91] Ср. K. H. Menges, Glossar zu den volkskundlichen Texten aus Ost-Turkestan II, стр. 806 (128) — 807 (129).

[92] Упомянем еще ряд сомнительных сближений: тюрк. **dīr'* «колено» (огуз.* *diz* A 13) ~ монг.-письм. *tūrei* «голенище» (Ramstedt KW, 415); турецк. *duy*- «ощущать, замечать», азерб. *duj*-, туркм. *duj*- ~ монг.-письм. *tuura* «быть широко известным» (Ramstedt KW, 413); тюрк.**tilki*, *tülkü* «лиса» (огуз. **tılki/dılki* Б 32) ~ тунг. * *ǯālākī* «горностай, колонок» (Gombocz LA, 29); тюрк. **dāγ*- «трогать, касаться» ~ монг.-письм. *teγeg* «гвоздь, крюк» (Ramstedt KW, 395). Неясен *t*- в тюрк. **tokmak* «колотушка» (огуз. **tokmak* Б 35, тув. *dokpak*) при монг.-письм. *doki*- «бить; побеждать».

[93] Ср. Ramstedt, EAS, 37; N. Poppe, Vergleichende Grammatik, I, стр. 9, 20. Аналогичное противопоставление «сильный : слабый : спирант» характеризует уральскую систему дентальных (противопоставление обнаруживается здесь только в неначальной позиции между гласными: *-tt-*: *-t-*: *-δ-*). Троичные противопоставления, принципиально сравнимые с алтайским, восстанавливаются и в индоевропейском (*t* : *d* : *dh*), семито-хамитском (*t̤* : *t* : *d*).

алт. * δ- → тюрк. * j- (>огуз. j-, тув.-карагасск. č-)
→ монг. * d-
→ тунг. * d-

Обнаружив в алтайском троичное противопоставление дентальных в позиции начала слова, мы вправе искать рефлексы аналогичной триады (-t-, -d-, -δ-) и в неначальной позиции. Однако решение задачи в данном случае существенно усложняется специфическим распределением ряда согласных в огузском и тувинско-карагасском. Рассмотрим это явление.

Как известно, в огузских языках сильные (resp. глухие) *p*, *t*, *k*, *č* сохранены лишь после первоначально краткого гласного первого слога и изменяются в соответствующие слабые (resp. звонкие) *b*, *d*, *g*, *ǯ* после гласного первого слога в том случае, если первоначально он был долгим, и после гласного любого не-первого слога[94]. Исходное огузское состояние лучше всего сохранено в восточноазербайджанских говорах и в туркменском, где в указанных условиях в абсолютном исходе слова представлены слабые, а между гласными — звонкие, ср. азерб. [aD], [ady] «имя, его имя», туркм. [āD], [ādy] при азерб. [at'], [aty] «конь, его конь», туркм. [at], [aty][95]. В большинстве азербайджанских говоров, в турецком и гагаузском в абсолютном исходе слова слабые дали обычные глухие; противопоставление по степени напряженности артикуляции полностью заменено здесь противопоставлением по глухости — звонкости: турецк. [at], [ady] «имя» при [at], [aty] «конь». Древность описанных отношений подтверждается показаниями Лейденского словаря (составитель которого специально описывает артикуляцию слабого *D*, говоря о «*d*, окрашенном в тембр *t*»[96]), труда Ибн-Муханны[97] и памятников старотурецкого языка[98]. Таким образом, в неначальной позиции сильный *t* и слабый *d*, склонный к озвончению (как *p* и *b*, *k* и *g*, *č* и *ǯ*), были дополнительно распределены относительно слоговой структуры слова в огузском до сокращения пратюркских долгот в части огузских диалектов; фонематическое противопоставление *t* : *d*, существовавшее в начале слова, в неначальной позиции было нейтрализовано.

Аналогичное распределение сильных и слабых согласных прослеживается в карагасских записях М. Кастрена. Кастрен отметил, что при прибавлении начинающихся гласными аффиксов к ряду односложных слов не происходит изменения сильных (глухих) *p*, *t*, *k*, *s*, *ś* в соответствующие слабые (звонкие) *b*, *d*, *g*, *z*, *ź* (регулярного в многосложных словах и односложных словах с долгим гласным), но сохраняются глухие (*p* и *k* изменяются в глухие спиранты *f* и *h*)[99]. Как показал М. Рясянен, сильные сохранены в карагасском, как правило, после пратюркского краткого гласного первого слова, изменение же их в слабые происходит после пратюркского долгого гласного первого слова (часть пратюркских долгот утрачена в карагасском) и после гласного любого не-первого слога; ср. карагасск. *at* «имя» — *adārmen* «называю» (тюрк. **āt*), но *at* «конь» — *atem*

[94] См. М. Рясянен, указ. соч., стр. 139—140.

[95] Н. К. Дмитриев, Фонетические закономерности начала и конца тюркского слова, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1 — Фонетика, М., 1955, стр. 273; А. Поцелуевский, Фонетика туркменского языка, Ашхабад, 1936, стр. 17.

[96] M. Th. Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar, стр. 9.

[97] Ср. IM *ōd* «огонь», *dōrd* «четыре», *āg* «белый», *ajag* «нога» (П. М. Мелиоранский, указ. соч., стр. XXXVI).

[98] Ср. ст.-турецк. *ady* «его имя», см. M. Mansuroğlu, Das Altosmanische, PhTF, I, стр. 167.

[99] M. A. Castrén, указ. соч., стр. 29. Ср. также Н. П. Дыренкова, Тофаларский язык, «Тюркологические исследования», М.— Л., 1963, стр. 8.

«мой конь» (тюрк.* *at*)[100]. Следы подобной системы наличествуют в языке желтых уйгуров: здесь сильные взрывные, сохраненные после первоначально кратких гласных, характеризовались сильным приступом, выделившимся в ряде случаев в самостоятельную артикуляцию [*x*] (после гласных заднего ряда) или [*š*] (после гласных переднего ряда), ср. ж.-уйг. *at* «имя» (< * *āt*), но *axt* «конь» (<**at*), **it-* «делать» (<**ēt*-,ср. якут. *īt*-«заряжать; заквашивать», карагасск. *ederben* «делаю»; в туркменском *et*- с сокращением), но *išt* «мясо» (<**āt*)[101].

Анализ тувинского материала обнаруживает, что система, идентичная карагасской, сохраняется в преобразованном виде в тувинском языке. Здесь в отличие от карагасского каждый конечный глухой (*p*, *t*, *k*, *s*, *š*) изменяется в соответствующий звонкий (*b*, *d*, *g*, *z*, *ž*) в позиции между гласными[102]. Однако в первом слоге перед согласными фонемами, имеющими сильный и слабый аллофоны (т. е. *p*—*b*, *t*—*d*, *k*—*g*, *s*—*z*, *š*—*ž*), существует противопоставление двух рядов гласных фонем: обычным гласным противостоят так называемые фарингализованные ([aʿ], [oʿ] и т. п. орфографически *аъ*, *оъ* и т. п.), образуемые на сильном выдохе с большим напряжением глоточных мускулов[103]. В тех случаях, когда в карагасском сильные согласные в позиции между гласными не изменяются в слабые (т.е. после пратюркских кратких гласных первого слога), в тувинском представлены фарингализованные гласные перед согласными фонемами, имеющими глухой и звонкий аллофоны; в тех случаях, когда в карагасском сильные согласные в позиции между гласными изменяются в слабые (т. е. после пратюркских долгих гласных первого слога и гласных любого не-первого слога), в тувинском представлены обычные гласные перед согласными фонемами, имеющими глухой и звонкий аллофоны. Правильность этой формулировки для не-первых слогов становится ясной, если учесть, что в карагасском сильные согласные изменяются в слабые в интервокальной позиции после гласных любого не-первого слога, а в тувинском в не-первых слогах возможны лишь обычные (не фарингализованные) гласные[104]. Для первых слогов можно привести следующие группы соответствий[105]:

---

[100] См. М. Рясянен, указ. соч., стр. 126.

[101] См. С. Е. Малов, Язык желтых уйгуров, Алма-Ата, 1957 (далее — ж.-уйг.), стр. 163, 32. Реликты такого рода (вторичный *š* после гласных переднего ряда) отмечены во многих уйгурских говорах Синьцзяна (ср. G. Jarring, Studien zu einer osttürkischen Lautlehre, Lund — Leipzig, 1933, стр. 124; С. Е. Малов, Уйгурские наречия Синьцзяна, М., 1961, стр. 114). По-видимому, рано отделившийся язык желтых уйгуров полнее сохраняет в этом случае черты исходной уйгурской системы.

[102] Точнее, каждый слабый глухой частично озвончается; ср. А. Ч. Куная, Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка. Канд. диссерт., Л., 1956, стр. 235—236; Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка, стр. 77—78.

[103] Ср. А. Ч. Куная, указ. соч., стр. 61—63; А. А. Пальмбах, Особенности тувинского вокализма и отражение их в письменности, «Уч. зап. [Тув. научно-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории]», II, Кызыл, 1954, стр. 125. Нельзя признать удачной попытку А. А. Пальмбаха показать, что фарингализованные представлены не только перед фонемами, имеющими сильный и слабый аллофоны (указ. соч., стр. 131); его примеры *čāʿ*? «что?», *aʿ*? «а?» явно носят междометно-экспрессивный характер и стоят в одном ряду со звукоподражаниями *čiʿrs*, *dyʿrs*, *tiʿrs* и т. п. Все остальные слова, гд (по данным доступных нам источников) в первом слоге представлены фарингализованные, содержат на границе этого слога одну из перечисленных выше согласных фонем или сочетание сонанта с такой фонемой. Ср. аналогичный вывод А. М. Щербака в его статье «О тюркском вокализме» («Тюркологические исследования», стр. 27).

[104] См. А. Ч. Куная, указ. соч., стр. 64.

[105] Карагасский материал цитируем по М. Кастрену (сокращенно — С, рядом указываются страницы его книги); напомним, что для нас важны карагасские формы, где согласный оказывается в позиции между гласными. Тувинский материал извлечен

А. Тув. *-aʿt, aʿd-* ~ карагасск. *-a t, -a t a* (тюрк. **-ă t, -ă t a*)[106]

Тув. *aʿt, aʿd-* «лошадь» ~ карагасск. С 29 *at, atem* ~ ж.-уйг. *axt* (**at* : якут. *at* / туркм. *at* / азерб. *at*);

тув. *oʿt, oʿd-* «трава» ~ карагасск. *ot, otəm*[107] ~ ж.-уйг. *oxt* (**ot*: якут. *ot* / туркм. *ot* / азерб. *ot*);

тув. *yʿt, yʿd-* «собака» ~ карагасск. С 29 *öt, ötem* ~ ж.-уйг. *yšt, ešt* (**yt, it*: якут. *yt* / туркм. *it* / азерб. *it*);

тув. *čyʿd-* «лежать» ~ карагасск. С 113 *čytarmen* «лежу» ~ ж.-уйг. *jaxt* (**jat* : якут. *syt-* / туркм. *jat-* / азерб. *jat-*);

тув. *kaʿt, kaʿd-* «слой; раз» ~ карагасск. С 91 *kata* «раз» (**kat* : якут. *xat* / туркм. *katlag* / азерб. *gat*);

тув. *čyʿdyg* «острый» ~ карагасск. С 115 *čīti* (с вторичным долгим) ~ уйг. (кашгар.) *išṭik* (**jiti*: туркм. *jiti*);

тув. *aʿldy* «шесть» ~ карагасск. С 77 *alty, altʰa* (**alty*: туркм. *alty*/ азерб. *alty*);

тув. *köʿp, köʿvei* «много» ~ карагасск. С 69 *köp, köfei* (**köp*: туркм. *köp* «много, больше»);

тув. *aʿg-* «течь» ~ карагасск. С 75 *aharmen* «теку» ~ ж.-уйг. *ax-* < **axk-* (**ak-*: туркм. *ak-* / азерб. *ax-*);

тув. *döʿg-* «лить» ~ карагасск. С 110 *töhermen* «лью» (**tök-*: якут. *tox-* / туркм. *dök-* / азерб. *dök-*);

тув. *köʿš, köʿž-* «кочевка» ~ карагасск. С 97 *köšermen* «кочую» (**köč-*: якут. *kös-* / туркм. *göč-* / азерб. *köč-*);

тув. *kyʿz-* «сжимать» ~ карагасск. С 96 *kysyl* «узкий» (**kys-*: туркм. *kys-* «прижимать» / азерб. *gys-*);

тув. *öʿz-* «расти» ~ карагасск. С 87 *ösermen* «расту» (**ös-*: туркм. *ös-*);

тув. *kuʿš, kuʿž-* «птица» ~ карагасск. С 29 *kuś, kuśum* «глухарь» (**kul'*: якут. *kus* «утка» / туркм. *kuš* «птица» / азерб. *guš*);

тув. *baʿš, baʿž-* «голова» ~ карагасск. С 29 *baś, baśem* ~ ж.-уйг. *paʿčʿym* (**bal'*: якут. *bas* / туркм. *baš* / азерб. *baš*);

тув. *üʿz-* «бодаться» ~ карагасск. С 89 *üsermen* «разрываю» (**ür'-*: туркм. *üz-* «обрывать» / азерб. *üz-* «отсекать, отрывать»).

Б. Тув. *-a t, -a d a* ~ карагасск. *-a t, -a d a* (тюрк. **- ā t, - ā t a*)

Тув. *at, ad-* «имя» ~ карагасск. С 79 *adārmen* «называю» ~ ж.-уйг. *at* (**āt*: якут. *āt* «имя» / туркм. *āt* / азерб. *ad*);

тув. *ot, od-* «огонь» ~ карагасск. *ot, odəm*[108] (**ōt*: якут. *uot* / туркм. *ōt* / азерб. *od*);

тув. *öt, öd-* «желчь» ~ карагасск. С 87 *öt* «желчь», *ödä* «селезенка» (**ōt*: якут. *üös* «желчь» / туркм. *ōt* / азерб. *öd*);

тув. *yt-, yd-* «пускать, посылать» ~ карагасск. С 82 *ydarmen* «посылаю» (**ȳt-*: якут. *ȳt-* «посылать»);

из ряда работ (в литературном языке фарингализованные гласные отмечаются лишь в ряде слов для избежания омографии). Кроме упомянутых выше работ А. Ч. Кунаа и А. А. Пальмбаха, укажем следующие: Ш. Ч. Сат, Тувинско-русский словарь, М., 1955; А. А. Пальмбах, Долгие и полудолгие гласные тувинского языка, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1; Ф. Г. Исхаков, Тувинский язык, стр. 31—33; Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, указ. соч., стр. 23—25. Частично использован также список слов с фарингализованными (по данным А. Ч. Кунаа), любезно переданный нам Л. С. Левитской. Тувинский материал был просмотрен и существенно дополнен Д. А. Монгушем и Ш. Ч. Сатом; автор выражает им искреннюю благодарность.

[106] *a* — любой гласный, *aʿ* — любой фарингализованный гласный в тувинском; *t* — любой сильный (глухой), *d* — любой слабый (звонкий) согласный.

[107] Н. П. Дыренкова, указ. соч., стр. 8.

[108] Там же.

тув. *ak-*, *ag-* «белый» ~ карагасск. С 75 *agar-* «белеть» ~ ж.-уйг. *ak* (**āk*: туркм. *āk* / азерб. *āγ*);

тув. *aš-*, *až-* «голодный» ~ карагасск. С 79, 29 *aiś*, *aiʒ* (**āč*: якут. *ās* / туркм. *āč* / азерб. *aʒ*);

тув. *uš*, *už* «конец» ~ карагасск. С 88 *uʒu* (**ūč*, *ūčy*: туркм. *ūʒy*/ азерб. *uʒ*);

тув. *döś*, *döz-* «корень» ~ карагасск. С 110 *töze* (наряду с *döse*) «ствол у корня» (ср. якут. *tüös-* «выкапывать корень»);

тув. *düš*, *düž-* «сон» ~ карагасск. С 112, 29 *tuiś*, *tuiʒ-* (**dūl'*: туркм. *düjš*);

тув. *yš*, *yž-* «дым» ~ карагасск. С 82, 29 *yiś*, *yiʒ-* (**ȳl'*, *īl'*: якут. *ȳs*);

тув. *tos*, *toz-* «береста» ~ карагасск. С 110 *tos* «береста», *tozai* «июль», т. е. «месяц бересты» (<**tōr'*: якут. *tuos*)[109].

Сопоставление с карагасским объясняет происхождение тувинского противопоставления «обычные гласные — фарингализованные гласные». Первоначальное состояние сохранено карагасским, где сильные согласные после пратюркского краткого не переходят в слабые (не озвончаются) в интервокальной позиции. Когда в тувинском начали озвончаться и эти согласные, их специфическая сильная артикуляция была передана предшествующему гласному, в результате чего возникли фарингализованные («сильные») гласные: противопоставление [-aDa] : [-at'a], сохраненное в карагасском, было преобразовано в противопоставление [-ada]: [-a'da] [110]. Наличие фарингализованных в тувинском в соответствующих односложных формах следует, вероятно, объяснять ослаблением сильного согласного в исходе слова. Тувинско-карагасское противопоставление [-aD] : [-at'] в этом случае было преобразовано в противопоставление [-at]: [-a't] в тувинском и нейтрализовалось в карагасском — [at].

Другое возможное объяснение — введение фарингализации в этой позиции по аналогии с другими формами слова, где согласный был интервокальным. В пользу последнего предположения говорит то обстоятельство, что в односложных формах глагола с исходом на согласный (повелительное наклонение) фарингализация отсутствует(ср. *tök* ~ *dö' ger* и т. д., см. стр. 43) или является лишь факультативной (*ak* или *a'k* ~ *a'gar*, *ös* или *ö's* ~ *ö'zer*, *üs* или *ü's* ~ *ü'zer* и т. п.).

[109] Можно отметить еще следующие случаи соответствия карагасских и тувинских данных уйгурским: карагасск. С 82 *ihi* «два» ~ ж.-уйг. (и говоры Синьцзяна) *iške* (**iki*: туркм. *iki*); тув. *e't*, *e'd-* «мясо» ~ ж.-уйг. *išt*, ср. уйг. (Синьцзян) *išt*, *iš't* (**āt*: якут. *āt*); С 113 *čadärmen* «мучусь» ~ ж.-уйг. *jata-* «не мочь» (<**jāta-*: туркм. *jāda-* «слабеть»).

[110] Таким образом, тувинское противопоставление обычных и фарингализованных гласных действительно связано с пратюркским противопоставлением долгих и кратких гласных в первом слоге, как это предполагал Н. Поппе (Н. Н. Поппе, Заметки по фонетике тайну-тувинского языка в связи с вопросом об алфавите, «Культура и письменность Востока», кн. IV, Баку, 1929, стр. 52—53; ср. также K. H. Menges, Das Sojonische und Karagassische, PhTF, I, стр. 647; А. М. Щербак, указ. соч., стр. 27—30). Однако эта связь не прямая: она существует постольку, поскольку долгота или краткость гласного первого слога в пратюркском обусловливала появление соответственно слабого или сильного согласного между гласными в тувинско-карагасском, а утрата в этой позиции противопоставления согласных по степени напряженности артикуляции в тувинском привела к развитию аналогичного противопоставления у предшествующих гласных. Судя по замечанию А. А. Пальмбаха (Особенности тувинского вокализма. . . , стр. 130—131), именно в этом направлении искал решения проблемы С. Е. Малов. Зачатки процесса, доведенного до конца в тувинском, обнаруживаются и в уйгурском; ср. наблюдения Г. Ярринга об особом произношении *i* перед вторичным *š* (G. Jarring, указ. соч., стр. 124—125). Заметим, что мы не можем согласиться с предположением А. А. Пальмбаха о том, что фарингализованные «явились средним звеном в развитии так называемых заместительных долгот при переходе их в краткие гласные» (А. А. Пальмбах, Особенности. . . , стр. 132; ср. его же, Долгие и полудолгие гласные. . . , стр. 181).

Итак, исходная тувинско-карагасская система почти идентична исходной огузской[111]. В обеих системах противопоставление сильных и слабых фонем нейтрализовано в неначальной позиции: после краткого гласного первого слога представлены сильные согласные, в остальных случаях — слабые. Следы аналогичного распределения сохранены архаичными уйгурскими говорами. Трудно предполагать, что эти явно реликтовые системы являются продуктом параллельного развития отдельных групп диалектов. Скорее мы снова имеем дело с сохранением архаизма в окраинных областях; это предположение тем более вероятно, что распределение неначальных согласных в других тюркских языках можно рассматривать как упрощение более сложной системы, сохраненной в огузском и тувинско-карагасском.

Огузский и тувинско-карагасский указывают на пратюркскую систему, в которой односложные слова с долгими гласными трактуются одинаково с двусложными словами и противостоят односложным словам с кратким гласным (ср. **āD* «имя», **āG* «белый», **aδaG* «нога» при **atʿ* «конь», **akʿ-* «течь»). Описанная система восходит, по-видимому, к тому времени, когда в пратюркском сохранялось восстанавливаемое для алтайского экспираторное ударение, выделяющее начало слова[112]: под ударением находился первый гласный слова, а в случае его долготы — первая мора этого гласного. Таким образом, сильные согласные в пратюркском были сохранены в неначальной позиции только непосредственно после подударного гласного (подударной гласной моры) и изменены в соответствующие слабые во всех остальных позициях: **ǎkʿ-* > **akʿ-*, но **áδakʿ* > *aδaG*, **ǎǎkʿ* > **āG*[113].

Итак, в неначальной позиции *-t-* и *-d-* являлись в пратюркском аллофонами одной фонемы — первоначально сильной /**-t-*/. Для этой позиции мы можем восстанавливать противопоставление лишь двух дентальных фонем — сильного взрывного **-t-* и спиранта **-δ-* (>*-j-*, *-z-*, *-δ-*, *-t-* по отдельным языкам). Соответственно два дентальных можно в данном случае реконструировать и для алтайского: алт. **-t-* (тюрк. **-t-* ~ монг. **-t-* ~ тунг. **-t-*) и алт. **-δ-* или **-d-* (тюрк. ** -δ-* ~ монг. **-d-* ~ тунг. **-d-*). Попытка З. Гомбоца выделить алт. **-d-*, отличный от **-δ-* , на основании постулированного им соответствия тюрк. **-t-* ~ монг. **-d-* оказалась неудачной[114]. Если троичное противопоставление дентальных в неначальной позиции когда-нибудь существовало в алтайском и пратюркском (что остается вероятным из-за наличия такого противопоставления в позиции начала слова), оно было устранено на достаточно древнем этапе развития.

[111] Различие состоит в том, что в тувинско-карагасском расширен круг фонем, имеющих сильный и слабый аллофон. Наряду с пратюркскими **k*, **p*, **t*, **č* (как в огузском) по два аллофона имеют **s*, **z* (< **r'*) и **š* (< **l'*).

[112] Ср. N. Poppe, Vergleichende Grammatik. . . , I, стр. 143—157.

[113] Аналогию пратюркскому распределению сильных и слабых аллофонов сильных взрывных фонем представляет распределение глухих и звонких спирантов в германском (рефлексы и.-е. глухих) — в обоих случаях сильные (соответственно — глухие) согласные представлены: 1) в позиции начала слова и 2) в неначальной позиции после подударного гласного.

[114] Ср. Gombocz LA, 34—36. При внимательном рассмотрении отпадают два самых заманчивых из трех сближений Гомбоца. Сохранение *-d-* в крым. *judruk* «кулак» и т. п. формах при монг. **nidurga* «кулак» объясняется из пратюркской формы **jumdryk* < **jumδyryk*, (ср. турецк. *yumruk*, туркм. *jumryk*, *jumyrdyk*). Монг. **jada-* «быть не в состоянии, быть слабым» (монг.-письм. *jada-*), как и тунг. **jada-* (маньчж. *jada-* «болеть, уставать» и т. п.), являются, вероятно, древними заимствованиями из тюрк. **jāda-* < < **jāta-* (туркм. *jāda-* «слабеть»/тув. *čada-* «не мочь»/карагасск. *ćada-* «мучиться»). Тюрк. **dada-* «привыкать» и монг. **dadu-* «привыкать» (при **dasu-*; см. выше стр. 47), возникли на основе редупликации, так как здесь собственно нельзя говорить о неначальной позиции *-d-*.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

Т. В. ЦИВЬЯН

ОПЫТ ОПИСАНИЯ ФОРМ НОВОГРЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО МЕТОДОМ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Описание языка через анализ и синтез приобретает особое значение, поскольку акт языковой коммуникации, если его рассматривать в теоретико-информационном аспекте, предполагает действие двух устройств — кодирующего (соответствующего синтезу) и декодирующего (соответствующего анализу). Различие между двумя грамматиками (активной и пассивной), существенное значение которого подчеркивается в ряде новых работ, также, видимо, может быть уяснено лучше всего, если исходить из двух моделей — синтезирующей (порождающей) и распознающе-аналитической. Наконец, хотя обычное описание через анализ и синтез делается как бы в расчете на автоматическое устройство, отличное от человека, можно думать, что и такое описание поможет приблизиться к лучшему пониманию операций анализа и синтеза языка, интуитивно осуществляемых человеком [1]. Поскольку последовательность операций при анализе и синтезе может рассматриваться как переход от одного субкода к другому, т. е. как построение кода из ряда субкодов [2], можно сказать, что описание языка через анализ и синтез вскрывает устройство языка с точки зрения посылающего сообщение и того, кто его принимает и расшифровывает; эти процедуры, таким образом, помогают построить не одну, а две иерархии элементов внутри одной и той же языковой системы. Очевидно, что описание языков через анализ и синтез может быть использовано как показательный критерий для их типологического сравнения.

В настоящей статье предпринимается попытка описания форм новогреческого существительного через анализ и синтез. Это вплотную подводит к задаче описания всей системы склонения имени, особенно если учесть, что сама система в этом случае во многом определяется особенностями анализа и синтеза составляющих ее элементов. В литературе нет работ, посвященных описанию новогреческого существительного методом анализа и синтеза. Между тем этот метод может оказаться эффективным именно для новогреческого существительного, в частности потому, что имеющиеся описания его нельзя считать вполне удовлетворительными, так как применить предлагаемое ими разбиение по типам склонения возможно лишь при наличии заранее составленных списков (например, равносложный и неравносложный тип склонения существительных муж. рода на -ας [3]).

---

[1] Точное описание языковой интуиции человека выдвигается в настоящее время в качестве одной из важнейших задач языкознания (ср. идеи Н. Хомского).

[2] R. Jakobson, Linguistics and communication theory, сб. «Structure of language and its mathematical aspects», Providence (Rhode Island), 1961.

[3] A. Mirambel, La langue grecque moderne. Description et analyse, Paris, 1959; его же, Grammaire du grec moderne, Paris, 1949; M. Triandaphillidis, L'anisosyllabisme dans la déclinaison néogrecque, «Byzantion», XIX, 1949.

Описать новогреческое существительное через анализ значит установить по его внешнему фономорфологическому виду [4] его внутреннее морфологическое содержание или, говоря формально, найти, какой номер сочетания граммем соответствует данному номеру фономорфологического показателя. В этом смысле операция синтеза прямо противоположна анализу. Она означает восстановление внешней фономорфологической формы данного сочетания граммем (иначе говоря, нахождение номера фономорфологического показателя, соответствующего данному номеру сочетания граммем). Греческое существительное характеризуется сочетанием трех граммем: рода, числа и падежа [5]. Различаются три рода — мужской (*m*), женский (*f*) и средний (*n*); два числа — единственное (*Sing*) и множественное (*Pl*) и три падежа — именительный (*N*), винительный (*A*) и родительный (*G*) [6]. Насчитывается 18 разных сочетаний граммем (I—XVIII):

I *N Sing m*	VII *N Sing n*	XIII *N Pl f*
II *A Sing m*	VIII *A Sing n*	XIV *A Pl f*
III *G Sing m*	IX *G Sing n*	XV *G Pl f*
IV *N Sing f*	X *N Pl m*	XVI *N Pl n*
V *A Sing f*	XI *A Pl m*	XVII *A Pl n*
VI *G Sing f*	XII *G Pl m*	XVIII *G Pl n*.

Эти сочетания граммем «обслуживаются» 16 флексиями (№ 1—16) [7], способными образовывать 41 словоформу:

№ 1 = #	№ 5 = ους	№ 9 = τος	№ 13 = δες
№ 1 = ς	№ 6 = α	№ 10 = τα	№ 14 = δω (ν) (ε)
№ 3 = ος	№ 7 = οι	№ 11 = τω (ν) (ε)	№ 15 = ο
№ 4 = ου	№ 8 = ες	№ 12 = ω (ν) (ε)	№ 16 = η

При этом наборе флексий: а) одному сочетанию граммем может соответствовать только одна флексия — № 7 для X, № 9 для IX, № 11 для XVIII; б) одному сочетанию граммем может соответствовать несколько (но не более трех) флексий, например, № 2 и № 3 для I, № 4, № 5, № 9 для IX и т. д.; в) одной флексией может выражаться несколько (но не более шести) сочетаний граммем, например, № 1 для II, III, IV, V, VII, VIII; № 8 для X, XI, XIII, XIV; № 5 для IX, XI и т. д.

Следовательно, существуют, с одной стороны, синонимия флексий, затрудняющая процесс синтеза и требующая введения особых правил для выбора соответствующей флексии, и, с другой стороны, нейтрализация граммем, затрудняющая процесс анализа ввиду невозможности определения их сочетания только по флексии. Поскольку описание устройства склонения новогреческого имени существительного здесь начинается с анализа, важно помнить обо всех случаях нейтрализации.

Отмечены следующие виды нейтрализации [8]:

1) Нейтрализация по роду: а) № 4 → III ∨ IX, например, κάμπ-ου (III), βουν-οῦ (IX); б) № 12 → XII ∨ XV ∨ XVIII, например, ποιητ-ῶν (XII), μητέρ-ων (XV), βουν-ῶν (XVIII); в) № 14 → XII ∨ XV, например, καφέ-δων (XII), ἀλεπού-δων (XV).

2) Нейтрализация по падежу: а) № 6 → XVI ∨ XVII, например,

[4] Имеется в виду графическая запись, от которой, однако, можно достаточно легко перейти к фономорфологической.

[5] Звательная форма как совершенно особая по функции (конативность) единица не рассматривается в системе падежей.

[6] В данной статье рассматривается только регулярное склонение.

[7] Флексией в данном случае считается часть слова, изменяемая при склонении.

[8] Для записи используются знаки дизъюнкции ∨ и импликации →. Запись вида «№ 6 → XVI ∨ XVII» читается следующим образом: «если существительное имеет флексию № 6, то это либо XVI, либо XVII сочетание граммем»; запись вида «№ 1 + τόν → II» читается: «если при существительном с флексией № 1 имеется форма артикля τον, то это II сочетание граммем» и т. д.

βουν-ά, δάχτυλ-α, θέατρ-α (все XVI ∨ XVII); б) № 10 → XVI ∨ XVII, например, γράμμα-τα, κρέα-τα, δεσίμα-τα (все XVI ∨ XVII); в) № 15 → VII ∨ VIII, например, βουν-ό, δάχτυλ-ο, θέατρ-ο (все VII ∨ VIII); г) № 16 → XVI ∨ XVII, например, ἔθν-η, μέρ-η, ἐδάφ-η (все XVI ∨ XVII).

3) Нейтрализация по роду и падежу: а) № 1 → II ∨ III ∨ IV ∨ ∨ V ∨ VII ∨ VIII, например, πατέρα-# (II), πατέρα-# (III), μητέρα-#(IV), μητέρα-# (V), γράμμα-# (VII), γράμμα-# (VIII); б) № 2 → I ∨ VI ∨ ∨ VII ∨ VIII, например, πατέρα-ς (I), μητέρα-ς (VI), κρέα-ς (VII ∨ VIII); в) № 3 → I ∨ VII ∨ VIII, например, δάσκαλ-ος (I), ἔθν-ος (VII ∨ VIII); г) № 8 → X ∨ XI ∨ XIII ∨ XIV, например, πατέρ-ες (X ∨ XI), μητέρ-ες (XIII ∨ XIV); д) № 13 → X ∨ XI ∨ XIII ∨ XIV, например, καφέ-δες (X ∨ XI), ἀλεποῦ-δες (XIII ∨ XIV).

4) Нейтрализация по роду, числу и падежу: а) № 5 → IX ∨ XI, например, ἔθν-ους (IX), δασκάλ-ους (XI).

Из 13 случаев нейтрализации граммем отмечен лишь один случай нейтрализации по числу. Диалектные данные подтверждают, что число менее всего поддается нейтрализации: при частичном или полном исчезновении падежей или различий между родами сохраняется противопоставление по числу внутри парадигмы одного слова и между парадигмами [9]. Это наблюдение над числом может оказаться полезным при попытке установления иерархии граммем, если считать, что в языке дольше и прочнее сохраняется противопоставление, наиболее существенное для тех же целей кодирования и декодирования.

Регулярное склонение новогреческого существительного укладывается в следующие три типа парадигм:

I

Sing	*N*	*A*	*G*
Pl	*N*	*A*	*G*

Склонение существительных муж. рода с основой на -ο- (δασκαλ-ος).

II

Sing	*N*	*A — G*
Pl	*N — A*	*G*

Склонение существительных муж. рода с основами на -α-, -η-, -ε-, -ου- (πατέρας, ποιητής, καφές, παππούς).

III

Sing	*N — A*	*G*
Pl	*N — A*	*G*

Склонение всех существительных жен. и ср. рода.

Под типом склонения имеется в виду индивидуальный набор флексий и акцентуационная характеристика, в которую входит передвижение ударения и изменение его вида (т. е. графического изображения) в парадигме, о чем подробнее будет сказано в разделе «Синтез». Тип склонения является функцией от основы, рода, места и характера ударения в исходной форме существительного, которой удобно считать *N Sing* (при выборе между *N Sing* и *A Sing*) как сочетание граммем, содержащее наибольшую инфор-

[9] Ср. многочисленные описания новогреческих диалектов, обобщенные в работе А. Мирамбеля: A. Mirambel, Morphologie et rôle fonctionnelle de l'article dans les parlers néo-héleniques, BSLP, I, 1955.

мацию о других сочетаниях граммем данной парадигмы (в отличие от древнегреческого, где, очевидно, целесообразно было бы взять в качестве исходной формы *G Sing*). Однако эти данные не всегда определяют его однозначно. В тех случаях, когда исходная форма не может однозначно определить тип склонения, приходится пользоваться всеми возможными дополнительными средствами (о чем будет сказано ниже), среди которых самым рациональным является список (этим пользуются обычно нормативные грамматики). Степень распространения и разрешающая сила каждого показателя, определяющего тип склонения, не установлена с достаточной полнотой и ясностью; это затрудняет корректное описание системы новогреческого существительного. Предполагается, что методы анализа и синтеза могут оказаться полезными для этой цели.

Анализ и синтез ведутся только фономорфологическими средствами. К ним относятся: а) место и вид ударения, б) флексии существительных с учетом при необходимости характера основы, в) формы артикля (рассматривается только определенный артикль), г) флексии согласованных определений, выраженных прилагательными, местоимениями, порядковыми числительными и причастиями. Предполагается, что мы умеем: правильно членить словоформы (т. е. правильно отделять и присоединять флексию к основе) и правильно относить артикль и согласованное определение к анализируемому существительному. Выбранные таким образом способы анализа и синтеза могут содействовать возможно более полному выяснению роли ресурсов самого существительного и проверке грамматичности новогреческого артикля. Артикль, в формах которого, как и у существительного, пересекаются граммемы рода, числа и падежа, в меньшей степени подвержен нейтрализации и почти лишен синонимии (во всяком случае синонимия почти не затрудняет синтеза).

Нейтрализация встречается в следующих формах: 1) по падежу: а) τό→ VII ∨ VIII, читается: если форма артикля τό, это либо сочетание граммем VII (*N Sing n*), либо VIII (*A Sing n*); б) τα→ XVI∨XVII; 2) по роду: а) τοῦ → III∨IX; б) τῶν —XII∨XV∨XVIII; в) οἱ → X∨XIII. Артикль, обладая устойчивым противопоставлением форм, регулярно, если не плеонастически, употребляясь при существительных, играет настолько существенную роль в определении сочетаний граммем, что в каком-то смысле его можно назвать отделившейся флексией[10].

Анализ и синтез проводятся в ряд приемов («шагов»), состоящих из отдельных операций и осуществляемых в определенной последовательности [11]. Каждый предыдущий шаг содержит по крайней мере на одну операцию меньше, чем последующий; последующий шаг наступает тогда, когда средства предыдущего исчерпали себя, а окончательный результат не получен. Порядок операций определяется некоторыми общеметодологическими принципами[12]. В данной статье анализ и синтез доводятся до конца только в пределах морфологического уровня. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно для полного анализа и синтеза. В остальных случаях приходится прибегать к помощи ресурсов синтаксического, содержательного и других уровней.

Анализ

Конечной целью анализа является определение номера сочетания граммем. Средствами к ее осуществлению являются: а) набор флексий существительного, б) формы артикля, в) место и вид ударения, г) флексии согласованного определения.

---

[10] A. Mirambel, Morphologie et rôle fonctionnelle de l'article.

[11] Номер шага соответствует количеству операций, из которых он состоит.

[12] M. Halle, On the role of simplicity in linguistic descriptions, сб. «Structure of language and its mathematical aspects».

А. Определение сочетания трех граммем

I шаг, состоящий из одной операции. Распознавание производится по флексии существительного:

1) № 7 → X, например, δάσκαλ-οι, φρουρ-οί;
2) № 9 → IX, например, ὀνόμα-τος, κόμα-τος;
3) № 11 → XVIII, например, ὀνομά-των, κομά-των.

I шаг определяет три сочетания граммем и три словоформы из 41.

II шаг, состоящий из двух операций. Распознавание производится по флексии существительного и форме артикля:

Форма артикля / Флексия	ὁ	τοῦ	τόν	ἡ	τῆς	τήν	τό	οἱ	τούς	τίς
1-#		III	II	IV		V	VII ∨ VIII			
2-ς	I				VI		VII ∨ VIII			
3-ος	I						VII ∨ VIII			
5-ους		IX							XI	
8-ες								X ∨ XIII	XI	XIV
13-δες								X ∨ XIII	XI	XIV

Читается: если флексия № 1 (-#) и форма артикля τόν, то это II (*A Sing m*) сочетание граммем (τόν πατέρ-α); если флексия № 1 (-#) и форма артикля ἡ, то это IV (*N Sing f*) сочетание граммем (ἡ μητέρ-α) и т. д. Форма артикля τό при флексиях № 1, № 2, № 3 отделяет средний род от несреднего (число определяется флексией, падеж — иными средствами, о чем будет сказано ниже). Форма артикля οἱ при флексиях № 8 и № 13 отличает *N* от *A* (число определяется флексией, о роде будет сказано специально). II шаг определяет 10 сочетаний граммем и 13 словоформ из оставшихся 38.

III шаг, состоящий из трех операций. Распознавание производится по флексии существительного в сочетании с формой артикля и флексией согласованного определения:

1) № 8 + οἱ + -οι → X, например, οἱ φρόνιμ-οι πατέρ-ες;
2) № 8 + οἱ + -ες → XIII, например, οἱ φρόνιμ-ες μητέρ-ες;
3) № 13 + οἱ + -οι → X, например, οἱ φρόνιμ-οι ψωμά-δες;
4) № 13 + οἱ + -ες → XIII, например, οἱ φρόνιμ-ες νενέ-δες.

III шаг определяет 2 сочетания граммем и 4 словоформы из 25 оставшихся.

Б. Определение сочетания двух граммем

а) Определение сочетания граммем рода и числа (при этом падеж выбирается из двух возможных).

I шаг. Распознавание производится по флексии:

1) № 6 → XVI ∨ XVII, например, βουν-ά, παιδι-ά;
2) № 10 → XVI ∨ XVII, например, κόμα-τα, δασίμα-τα;
3) № 15 → VII ∨ VIII, например, βουν-ό, θέατρ-ο;
4) № 16 → XVI ∨ XVII, например, ἔθν-η, μέρ-η.

I шаг частично определяет 4 сочетания граммем и 8 словоформ из оставшихся 21.

II шаг. Распознавание производится по флексии и форме артикля:

1) № 1 + τό → VII ∨ VIII, например, το παιδι-#, τό κόμα-#;
2) № 2 + το → VII ∨ VIII, например, τό κρέα-ς;
3) № 3 + τό → VII ∨ VIII, например, το έθν-ος, τό μέρ-ος.

II шаг частично определяет 2 сочетания граммем и 6 словоформ из оставшихся 13.

Во всех этих случаях речь идет о *N* и *A* ср. рода, где невозможно различение на морфологическом уровне (т. е. по флексиям и форме артикля). Однако существуют вполне регулярные синтаксические способы, снимающие нейтрализацию граммем *N* и *A* в ср. роде: 1) по предлогу: *Praep* + + *S* → *A*, читается: если существительное (*S*) сочетается с предлогом (*Praep*), то это *A* (все предлоги в новогреческом языке требуют *A*). Например, στό βουνό, μέ τό παιδί и т. д.; 2) по порядку слов: *Sq* (*Sub* + *Praed* + + *Ob* → *Sub N* ∨ *Ob A*. Читается: если есть последовательность «субъект (*Sub*) — предикат (*Praed*) — объект (*Ob*)», то субъект стоит в *N*, а объект в *A* (соответствует русскому сочетанию «Весло задело платье»). Например,

$\overset{N}{\text{τό κορουτζάκι}}$ δέν σκεφτόταν αὐτό τό στολίοι (*A*). «Девочка не замечала этой красоты».

б) Определение сочетания граммем числа и падежа (при этом род может быть нейтрализован полностью или частично).

I шаг — Распознавание производится по флексии:

1) № 4 → III ∨ IX, например, βουν-οῦ (IX), δασκάλ-ου (III);
2) № 12 → XII ∨ XV ∨ XVIII, например, πατέρ-ων (XII), μητέρ-ων (XV), βουν-ῶν (XVIII);
3) № 14 → XII ∨ XV, например, καφέ-δων (XII), ἀλεπού-δων (XV).

I шаг определяет неполностью 5 сочетаний граммем и 7 словоформ из оставшихся 7.

В частных случаях существует возможность различения рода. Для № 4: α) если перед -ου или -ων стоит -ι-, то это *n*, например, παιδ-ι-οῦ, χορ-ι-ῶν; β) по соответствующей форме прилагательного на -ης, -α, -ικο: № 4 + -η → III; № 4 + -ικου → IX. Например, ζηλιάρ-η + *S* → III; ζηλιάρ-ικου + *S* → IX. Для № 12: α) *pp* → *f* (XV) (*pp* — существительное пропарокситонированное), например, μέθοδων (но может быть и форма μεθόδων); β) по соответствующей форме прилагательного на -ης, -α, -ικο: № 14 + -ηδων → XII; № 14 + -ικων → XVIII. Например, ζηλιάρ-ηδων + *S* → XII; ζηλιάρ-ικων + *S* → XVIII.

Отсутствие регулярных средств для определения рода не является серьезным препятствием при анализе, где род нужен лишь для правильного отнесения к существительному артикля и согласованных определений. Если бы даже это отнесение не было дано заранее (см. стр. 60), его можно было бы решить синтаксическими средствами (отнести артикль к существительному можно, например, по его положению непосредственно перед существительным, согласованное определение — по положению между артиклем и существительным):

Στίς 25 τοῦ Μάρτη ὁ λαός τῆς Ἀθήνας τίμησε τήν ἐθνική του γιορτή.

На этом процедура анализа заканчивается.

Для распознавания словоформ достаточной оказалась информация, заключающаяся либо только во флексиях существительного, либо в их

сочетаниях с формой артикля (применение флексий согласованного определения весьма ограниченно). Не пришлось обращаться к сведениям, содержащимся в основе и просодических элементах, если не считать примечания для № 12α на стр. 62. При данном построении анализа артикль играл вспомогательную роль, включаясь только тогда, когда основное средство — флексия — оказывалось недостаточным для определения сочетания граммем. Между тем его распознающая способность выше, чем у флексий. Это можно доказать, построив анализ таким образом, что артикль будет основным средством распознавания.

I. Артикль определяет сочетание трех граммем.

1) ὁ + S → I, читается: если при существительном стоит артикль в форме ὁ, то это I (*N Sing m*) сочетание граммем. Например, ὁ πατέρας, ὁ καφές, ὁ βάθρακας;

2) ἡ + S → IV, например, ἡ μητέρα, ἡ ψυχή, ἡ ἀλεποῦ;

3) τόν + S → II, например, τόν πατέρα, τόν καφέ, τόν βάθρακα;

4) τῆς + S → VI, например, τῆς μητέρας, τῆς ψυχῆς;

5) τούς + S → XI, например, τούς πατέρες, τούς καφέδες;

6) τήν + S → V, например, τήν μητέρα, τήν ψυχή;

7) τίς + S → XIV, например, τίς μητέρες, τίς μανάδες.

Артикль определяет 4 сочетания граммем и 11 словоформ из 41.

II. Артикль определяет сочетание двух граммем.

а) Сочетание граммем рода и числа (при том, что падеж выбирается из двух возможных):

1) τό + S → VII ∨ VIII, например, τό βουνό, τό παιδί;

2) τά + S → XVI ∨ XVII, например, τά βουνά, τά παιδιά.

Артикль частично определяет 4 сочетания граммем и 14 словоформ из оставшихся 30. Нейтрализация *N* и *A* снимается на синтаксическом уровне (см. стр. 62).

б) Сочетание граммем падежа и числа (с полной или частичной нейтрализацией по роду):

1) οἱ + S → X ∨ XIII, например, οἱ πατέρες, οἱ μητέρες;

2) τοῦ + S → III ∨ IX, например, τοῦ δασκάλου, τοῦ βουνοῦ;

3) τῶν + S → XII ∨ XV ∨ XVIII, например, τῶν πατέρων, τῶν μητέρων, τῶν βουνῶν.

Артикль частично определяет 7 сочетаний граммем и 16 словоформ из 16 оставшихся.

В некоторых случаях нейтрализация может сниматься для 1): α) флексией существительного № 7 → X, например, οἱ φρουροί (*N Pl m*), β) флексиями согласованного определения (см. стр. 61, III шаг); для 2): α) характером основы (см. стр. 62 для № 4α); для 3): α) флексией существительного № 14 — XII ∨ XV (но не XVIII), т. е. не *n*; № 11 → XVIII; β) просодическими элементами и γ) флексиями прилагательного (см. стр. 62α и β для № 12).

Если соблюдено условие правильного отнесения артикля к существительному, II вариант анализа представляется более экономным.

В целях более экономного описания и для того, чтобы насколько возможно уменьшить избыточность информации на каждом этапе, предполагается, что введение каждого нового средства (артикля, флексии, определения) обязательно содержит некоторое новое сообщение, а не подтверждение уже имеющегося. (Такое подтверждение может происходить постольку, поскольку мы не имеем дело с агглютинирующим языком, а потому не можем извлечь из флексии только нужную нам в данный момент информацию.) См., например, определение XIII сочетания граммем по флексии № 8 (-ες), определяющей вообще 4 сочетания граммем (X, XI, XIII, XIV) (по I варианту анализа).

$$№\ 8 \quad \left.\begin{array}{l} \left.\begin{array}{l}\to N\\ \to A\end{array}\right\} m \\ \left.\begin{array}{l}\to N\\ \to A\end{array}\right\} f \end{array}\right\} Pl$$

Например, πατέρ-ες, μητέρ-ες. Флексия № 8 однозначно определяет только мн. число.

Применяем форму артикля в *N Pl* (οἱ):

$$№\ 8 + \text{οἱ} \quad \left.\begin{array}{l}\to m\\ \to f\end{array}\right\} N \Big\} Pl$$

Например, οἱ πατέρ-ες, οἱ μητέρ-ες. Артикль однозначно определяет падеж и подтверждает число.

Применяем флексию согласованного определения (-ες): № 8 + οἱ + +-ες → *f N Pl*. Например, οἱ φρόνιμ-ες μητέρ-ες. Флексия согласованного определения однозначно определяет род и подтверждает число. Если применить ее до артикля, то выбор будет происходить между *N* и *A f*:

$$№\ 8 + \text{-ες} \quad \left.\begin{array}{l}\to N\\ \to A\end{array}\right\} f \Big\} Pl.$$

Например, φρόνιμ-ες μητέρ-ες (*N* ∨ *A f*).

Для иллюстрации сохранен и один случай избыточности информации, проявляющейся из-за нарушения последовательности применения правил,— определение X сочетания граммем по флексии № 8, форме артикля οἱ и флексии согласованного определения -οι.

οἱ	φρόνιμ-οι	πατέρ-ες
N(Pl)	N(Pl)m	Pl

Элемент *Pl* заключен в скобки как не зависящая от правил информация. Информация о падеже заключена во флексии согласованного определения, что делает ненужным применение артикля. Следует отметить, что информация о числе, помимо нашей воли (по указанным выше причинам), повторяется столько раз, сколько операций заключено в каждом шаге (т. е. в каждом применяемом средстве). От этой избыточности уклониться невозможно. В этом смысле во II варианте гораздо меньшая степень избыточности, которая достигается тем, что каждый шаг состоит из одной операции.

Синтез

Операция синтеза была определена как восстановление внешней фономорфологической формы данного сочетания граммем или нахождение номера фономорфологического показателя, соответствующего данному номеру сочетания граммем.

Для правильного выбора фономорфологического показателя, включающего в себя помимо флексии акцентуационную характеристику (т. е. вид и место ударения), существенным является исход основы. Поэтому оказалось удобным применять для синтеза иной набор флексий, чем для анализа, а именно такой, в котором к флексии был отнесен последний гласный основы. Этот набор насчитывает 24 флексии, образующие 71 слово-

форм (например флексия № 1 «Анализа» соответствует флексиям № 2, № 3, № 4, № 5, отчасти № 1 и № 6 «Синтеза»):

№ 1 = α № 7 = ου № 13 = ης № 19 = (α)τω(ν)(ε)
№ 2 = ε № 8 = ιου № 14 = ος № 20 = ω(ν)(ε)
№ 3 = ο № 9 = ια № 15 = ως № 21 = ιω(ν)(ε)
№ 4 = ω № 10 = οι № 16 = ους № 22 = (ε, α, η, ο, ου) δες
№ 5 = ι № 11 = ας № 17 = (α)τος № 23 = (ε, α, η, ο, ου)δω(ν)(ε)
№ 6 = η № 12 = ες № 18 = (α)τα № 24 = μα

Такое выделение флексий несущественно увеличивает нейтрализацию и синонимию флексий (одному сочетанию граммем может соответствовать до 6 флексий, например № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 для IV; № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 для VI). Правильный выбор флексии для исходной формы осуществляется путем обращения к словарю (например, если основа x, то флексия № 1, если основа y, то флексия № 2 и т. д.); правильный выбор флексии для остальных форм в парадигме осуществляется путем обращения к исходной форме (например, если в исходной форме флексия № 1, при том, что это IV сочетание граммем, то для VI сочетания граммем выбирается флексия № 2 и т. д.).

Основную сложность синтеза новогреческого существительного составляет следующее:

1) Существование двух типов склонения, обычно называемых равносложным (*ps*) и неравносложным (*ips*): в зависимости от того, к первому или ко второму типу принадлежит существительное, оно в определенных падежах (*N*, *A*, *G Pl m*, *f*, *n*; *G Sing n*) принимает односложные или двусложные флексии (-ι- во флексиях считается неслоговым). Например:

πατέρ-ας — πατέρ-ες, но μπάρμπ-ας — μπαρμπ-άδες,
μητέρ-α — μητέρ-ες, но μάν-α — μαν-άδες,
βουν-ο — βουν-οῦ, но δέσιμ-ο — δεσιμ-ατος.

Трудность состоит в правильном отнесении существительного к первому или второму типу склонения.

2) Изменение вида и места ударения в парадигме по сравнению с исходной формой, за которую принимается *N Sing* и которая может быть окситонированной (*o*), парокситонированной (*p*) и пропарокситонированной (*pp*). Ударение может передвигаться на один или два слога вправо, передвижение происходит в III, IX — XVIII сочетаниях граммем. Изменение графического изображения ударения (смена облеченного и острого) происходит в III, VI, IX—XVIII сочетаниях граммем. В окситонированных существительных изменение места и вида ударения (в тех случаях, когда это наблюдается) происходит в соответствии с законами, аналогичными законам древнегреческого ударения. Например:

Sing N — A τό ἐδαφος *Pl N — A* τά ἐδάφη
G τοῦ ἐδάφους *G* τῶν ἐδαφῶν.

В новогреческом языке ударение почти не имеет самостоятельной морфологической роли (единственный случай, когда только ударение отличает *G* от *A* — *G Sing m* окситонов, который, в отличие от *A*, несет облеченное ударение, например, ποιητῆ (*G*), ποιητή (*A*). Из сказанного следует, что для синтеза III, IV, IX, XVIII сочетаний граммем требуются некоторые дополнительные сведения.

При синтезе I, II, IV, V, VII и VIII сочетаний граммем (*N* и *A*) оказывается достаточным употребить лишь те средства, которые были использованы при анализе этих же сочетаний граммем, соответственно применяя их в обратном порядке.

I этап. Синтез I, II, IV, V, VII, VIII сочетаний граммем

А. Синтез сочетаний трех граммем

II шаг. Синтезирование производится с помощью флексии существительного и формы артикля:

1) I → № 11 ∨ № 12 ∨ № 14 ∨ № 16 + ὁ. Читается: для I (*N Sing m*) сочетания граммем — флексия № 11 (-ας) или № 12 (-ες) или № 13 (-ης) или № 14 (-ος) или № 16 (-ους) и форма артикля ὁ, например, ὁ πατέρ-ας, ὁ καφ-ές, ὁ ποιητ-ής, ὁ λαγ-ός, ὁ παππ-οῦς [13].

2) II → № 1 ∨ № 2 ∨ № 3 ∨ № 6 ∨ № 7 + τόν, например, τόν πατέρ-α, τόν καφ-έ, τόν ποιητ-ή, τόν παππ-οῦ.

3) IV → № 1 ∨ № 2 ∨ № 3 ∨ № 4 ∨ № 6 ∨ № 7 + ἡ, например, ἡ μητέρ-α, ἡ νεν-έ, ἡ παρθέν-ο, ἡ Φρόσ-ω, ἡ ψυχ-ή, ἡ ἀλεπ-οῦ.

4) V → № 1 ∨ № 2 ∨ № 3 ∨ № 4 ∨ № 6 ∨ № 7 + τήν, например, τήν μητέρ-α, τήν νεν-έ, τήν παρθέν-ο, τήν Φρόσ-ω, τήν ψυχ-ή, τήν ἀλεπ-οῦ.

II шаг синтезирует 4 сочетания граммем и 22 словоформы из 71.

Б. Синтез сочетаний двух граммем (рода и числа, притом, что падеж выбирается из двух возможных)

I шаг. Синтезирование производится с помощью флексии существительного:

1) VII ∨ VIII → № 5 ∨ № 24, например, παιδ-ί, κύ-μα (оба VII∨VIII).

I шаг частично синтезирует 2 сочетания граммем и 4 словоформы из 49 оставшихся.

II шаг. Синтезирование производится с помощью флексии существительного и формы артикля:

1) VII ∨ VIII → № 3 ∨ № 11 ∨ № 14 + τό, например: τό βουν-ό, τό κρέ-ας, τό ἔθν-ος (все VII ∨ VIII).

II шаг частично синтезирует 2 сочетания граммем и 6 словоформ из 45 оставшихся. Дальнейшее различение VII и VIII сочетаний граммем проводится на синтаксическом уровне (см. «Анализ», стр. 62).

Если же требуется исходная форма, то различение *N* и *A* несущественно. На этом заканчивается I этап синтеза, в результате которого получены исходные формы существительных всех трех родов. Синтезированию подлежат 39 словоформ.

II этап. Синтез III, VI, IX — XVIII сочетаний граммем

Для синтеза перечисленных сочетаний граммем необходимы некоторые дополнительные сведения, получить которые можно, используя информацию, заключенную в исходной форме. Поэтому предварительно требуется синтезировать исходную форму (I, IV, VII) по правилам, изложенным в I этапе синтеза. В исходной форме существенны: род, флексия с учетом характера основы, в некоторых случаях гласный второго от конца

[13] Место и вид ударения в *N Sing* считаются данными.

слога, место и графическое изображение ударения. На основании этих данных определяются:

1) тип склонения (для IX—XVIII), определяемый по флексии, роду и месту ударения в исходной форме, например:

№ 3, *f*, *o* → *ips*, например, Συρμ-ό, Συρμ-όδες;

№ 3, *n*, *o* → *ps*, например, βουν-ό, βουν-ά;

2) передвижение ударения (для III, IX — XVIII) κλέφτης, κλεφτῶν;

3) изменение вида ударения (для III, VI, IX — XVIII)[14] (перечислены в порядке применения), например, εἶδος, εἴδους.

Полученные сведения позволяют перейти непосредственно к синтезу требуемых сочетаний граммем. Для этого следует вернуться к основе и вести синтез теми же средствами, что и анализ, но имея в виду исходную форму и учитывая нужные для каждого сочетания сведения. Синтез III, VI, IX — XVIII сочетаний граммем будет показан на уровне примеров:

1) III (-ας, *ps*, *pp*, *m*) → № 1 + τοῦ. Читается: если при исходной форме -ας, *ps*, *pp*, *m* (т. е. неравносложное существительное муж. рода, пропароксито с флексией -ας в *N Sing*) синтезируется III (*G Sing m*) сочетание граммем, то берется флексия № 1 (-α) и форма артикля τοῦ, например, φύλακ-ας—τοῦ φύλακ-α.

2) XIII (-α, *ips*, *pp*, *f*) → № 22 *p* + οἱ + ες, если при исходной форме -α, *ips*, *pp*, *f* синтезируется XIII (*N Pl f*) сочетание граммем, то берется флексия № 22 (-α . . . ε — δες), словоформа получает ударение на втором от конца слоге, прибавляется форма артикля οἱ и флексия согласованного определения -ες. Например, μάν-α—οἱ φρόνιμ-ες μαν-άδες.

3) XV (-α, *ps*, *p*, *f*) → № 20 *o* ∨ *p*, если при исходной форме -α, *ps*, *p*, *f* синтезируется XV (*G Pl f*) сочетание граммем, то берется флексия № 20 (-ων) при том, что всей словоформе может придаваться или не придаваться облеченное ударение на последнем слоге. Например, ὥρ-α — ὡρ-ῶν; μητέρ-α — μητέρ-ων (существительные, переносящие ударение, задаются списком[15]).

При синтезе нейтрализация по роду в III—IX, XII—XV—XVIII сочетаниях граммем снимается, так как сведения о роде заключены в исходной форме. Нейтрализация по падежу в XVI—XVII сочетаниях граммем снимается синтаксическими средствами (см. «Анализ», стр. 62). В отличие от анализа при синтезе оказалось необходимым использовать ресурсы слова, насколько это было возможно.

Анализ формы новогреческого существительного, ни в какой мере не являясь описанием его системы, показывает, что для декодирования нужно минимальное количество средств (ср. активное и пассивное владение языком). В данном случае было интересно не столько подтверждение этого положения, сколько выяснение того, какие именно фономорфологические показатели существенны для анализа и какие являются избыточными. Выяснилось, что вполне удовлетворительные результаты дает применение флексии с учетом в ряде случаев артикля (или, в другом варианте, применение артикля с учетом в некоторых случаях флексии). Акцентуационная характеристика не имеет сколько-нибудь заметного морфологического значения, исход основы можно было не учитывать.

При синтезе новогреческого существительного пришлось учитывать все показатели, явно и неявно выраженные в слове. Поэтому синтез представляет собой более полное приближение к описанию системы имени, притом описание функциональное, так как все характеристики включаются в него по мере того, как в них возникает необходимость. Основная

[14] К данной статье соответствующие таблицы из соображений экономии места не прилагаются.

[15] К данной статье списки не прилагаются.

цель синтеза заключалась в том, чтобы возможно меньше прибегать к спискам, пытаясь провести разбиение на основании фономорфологической информации. Такое более полное приближение к описанию системы с помощью синтеза соответствует преимущественной ценности порождающих моделей языка над распознающими и анализирующими. И потому практически удобнее начинать с синтеза, а анализ считать обратной (но гораздо менее подробной) операцией.

Этот вывод может служить одним из важных типологических критериев при сравнении с другими языками, в частности с соседними балканскими. Так, например, в румынском или болгарском языках структура имени вскрывается более полно не при синтезе, а при анализе. С этим, естественно, связано и то, что при некоторых операциях, например при анализе в новогреческом, практически оказывается ненужным обращение к синтаксическому уровню, а через него и дальше к содержанию высказывания, в отличие от румынского и болгарского, где такое обращение является непременным условием, зато форма, получаемая в результате синтеза, который для румынского и болгарского оказывается более легкой операцией, отягощена несравненно большей омонимией, чем при синтезе формы имени в новогреческом.

Более частным проявлением того же различия между новогреческим и другими балканскими языками следует считать гораздо бо́льшую разрешающую и соответственно синтезирующую силу артикля при анализе новогреческого имени по сравнению с болгарским или румынским.

Установление типологических критериев такого рода, а также конструирование так называемых исходных схем («эталонов»), принимаемых за точку отсчета при сравнении (например максимальной и минимальной схем, соответственно представляющих теоретико-множественную сумму и произведение общих черт в балканском имени) и дающих возможность классификации имени в исследуемых языках, соответствующей степени их вхождения в балканский языковый союз, создаст действительные предпосылки для структурно-типологического исследования соответствующих явлений и языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

С. И. СЯТКОВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА

(В связи с составлением синтаксического вопросника к общеславянскому лингвистическому атласу)

Одной из главных задач типологического и сравнительно-исторического синтаксиса (особенно на первом этапе исследований) является изучение сходств (соответствий тождества) и различий (соответствий различия) в строе простого предложения. С типологией простого предложения связаны большие различия между славянскими языками и между их диалектами [1]. Интересно обратиться в этом отношении к некоторым мало изученным типам простого предложения в русском, украинском, польском, чешском и сербскохорватском языках и их диалектах.

Наиболее значительные различия в славянских языках существуют между типами неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений [2]. В современных славянских языках (русском, польском, чешском и др.) широко употребляются неопределенно-личные предложения, сказуемое которых выражено глагольной формой 3-го лица мн. числа; например: *На улице* ***поют***; диалект. «В мъгазине, матрй, всё на деньγи *даютъ*» (Шап. [3], 131); польск. *Na ulicy* ***śpiewają***; диалект. «Jak

[1] Необходимость уделить главное внимание изучению типов простого предложения подчеркивалась почти во всех ответах на вопрос № 9, опубликованных в ВЯ (Чехословацкая диалектологическая комиссия, Я. Бауэр, М. Карась, П. Ивич, М. Павлович и др.; ВЯ, 1961, 6; 1962, 5, 6). Однако этот вопрос не нашел должного отражения ни в тексте малого пробного вопросника, ни в материалах, опубликованных отдельными авторами (J. Bauer, Otázka syntaktických jevů v slovanském jazykovém atlase, «Slavia», XXVIII, 4, 1959; R. Večerka, Předložky v slovanském jazykovém atlase, «Slavia», XXIX, 4, 1960; М. Ивић, Диференцијалне синтаксичке особине у словенском језичком свету, «Годишњак филозофск. фак-та у Новом Саду», V, 1960). Такое положение объясняется тем, что проблема структуры различных типов простого предложения является совершенно не разработанной в типологическом и сравнительно-историческом плане даже на материале славянских литературных языков.

[2] В связи с неразработанностью теории простого предложения в данной статье неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения рассматриваются как односоставные конструкции, обладающие активным значением. Здесь при подразделении предложений на неопределенно-личные и обобщенно-личные в основу кладется семантический принцип. Главный член неопределенно-личных предложений чаще всего выражает действие 3-го лица (иногда 1-го лица на фоне действия 3-го лица мн. числа; например: *Садись заниматься, что тебе* ***говорят!*** польск. *Idź do sklepu, co ci* się mówi!), представленного в виде неопределенного лица (например: ***Говорят***, *что будет дождь*), в то время как в обобщенно-личных предложениях действие главного члена охватывает одновременно 1-е, 2-е и 3-е лица (ед. и мн. числа) глагольного действия (иногда 1-го лица на фоне действия обобщенного лица; например: ***Идешь***, *бывало, по улице и* ***задумаешься*** *о чем-нибудь*), например: *Бывает, шумит в голове, но* ***не чувствуешь*** *боли*; *Что написано пером,* ***не вырубишь*** *топором*; *По улице* ***ходят*** *правой стороной.*

[3] В статье приняты следующие сокращения: Гон.— О. Гончар, Новели, Київ, 1954; Иван.— Е. Н. Иваницкая, Некоторые синтаксические особенности северных говоров, сб. «Статьи и исследования по русскому языку», М., 1962 («Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», 184); Кузьм.— И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, О синтаксических различиях русских говоров, «Slavia», XXXI, 1, 1962; Кур.— О. Курило, Про українські безпідметові конструкції с

ktoś umrze we wsi to *robio* mu pusta noc, to jest noc przed pogrzebem» (BWiM, 58); чеш. ***Povídají***, *že tam straší*; диалект. «Tam im to zasej *zaštemplovali* ten pitel...» (Siat., 118); сербско-хорв. ***Уписали су*** *ме у школу*. В западно- и южнославянских языках неопределенность лица может выражаться глагольной формой 3-го лица ед. числа + *se*, *się*: польск. *Naprzeciwko naszego domu* ***buduję się*** *szkołę*; диалект. «Jak ći buže potša, to povic, to ći *śe pumože*» (Szym., 215); чеш. *V divadle* ***se nehraje***; диалект. «Pak *se šlo* večir vo pjet'i do kostela. Tam *se spívalo*» (Siat., 121); сербско-хорв. ***Пева се*** *у дворишту*.

В современных польском и украинском языках неопределенность действующего лица в прошедшем времени часто обозначается формой на *-no*, *-to*: польск. *Stefana* ***wzięto*** *do wojska*; «Musiały tam być jakieś drzwi, *biegano* bowiem tamtędy...» (Żer., 21); «А коні хіба не в них *забрано*?» (Сліс., 32); диалект. «Ач яку стежку *утоптано*» (Матв., 87); «Я і питаю, шо таке з вами, а він каже, чамодани *украдено*» (там же).

Таким образом, для названных пяти славянских литературных языков можно установить следующие изоглоссы: 1) общеславянская синтаксическая изоглосса (3-е лицо мн. числа); 2) югозападнославянская синтаксическая изоглосса (3-е лицо ед. числа + *se*, *się*); 3) польско-украинская синтаксическая изоглосса (формы на *-no*, *-to*). Эти же изоглоссы распространены и в некоторых говорах.

Структурным свидетельством активного значения конструкций, образующих юго-западнославянскую и польско-украинскую синтаксические изоглоссы (в отличие от известных севернорусских конструкций пассивного значения типа *у волков кошку съидено*) является обязательное наличие двух условий: 1) невозможность употребления косвенной падежной формы со значением логического субъекта, 2) односоставность конструкции. В чешском и сербскохорватском литературных языках формы с *se* обладают активным значением лишь в том случае, когда в них отсутствует прямой объект действия—грамматическое подлежащее, в отличие от современного польского литературного языка (и некоторых чешских и сербскохорватских говоров), в котором объект действия играет роль грамматического прямого дополнения.

Полезно было бы проследить, не встречаются ли в современных восточнославянских говорах несогласованные или односоставные формы на *-ся* с активным значением.

присудковими діє прислівниками на *-но*, *-то*, «Збірник секції граматики української мови», Київ, 1930; Лал.— М. С. Лалевић, Приручник за наставу синтаксе српскохрватског језика, Нолит, 1957; Матв.— В. А. Матвеенко, Временное значение главного члена страдательно-безличного оборота (на материале украинского и белорусского языков), «Историческая грамматика и лексикология русского языка», М., 1962; Матвеенко — В. А. Матвеенко, Некоторые особенности структуры страдательно-безличного оборота в русских говорах, сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М., 1961; Сліс.— О. Слісаренко, В болотах (поліські оповідання), «Література і мистецтво», Харків, 1931; Твард.— А. Твардовский, Стихотворения и поэмы, М., 1954; Шап.— А. Б. Шапиро, Очерки по синтаксису русских народных говоров, М., 1953; BWiM — «Bajki Warmii i Mazur», Warszawa, [1956]; Br.— I. Brabec, M. Kroste, S. Živković, Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb, 1952; Crn.— A. Crnobori, Losture, Pula, 1957; Iwan.— N. Iwanowa-Perczyńska, Przyczynek do składni gramatycznej i stylistycznej mówionego języka polskiego (na materiale gwar i języka potocznego), BPTJ, XVII, 1958; Kon.— H. Koneczna, O budowie zdania imćpana paskowego słów kilkoro, «Poradnik Językowy», 9, 1956; M.— A. Meillet, Grammaire de la langue serbo-croate, Paris, 1952; Szym.— M. Szymczak, Z badań nad składnią gwary łęczyckiej, «Rozprawy Komisji Językowej», VIII, Łódź, 1962; Siat.—J. Siatkowski, Dialekt czeski okolic Kudowy, cz. II, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962; Trav.— Fr. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny, č. II, Praha, 1951; Żer.— S. Żeromski, Opowiadania i utwory powieściowe, Czytelnik, 1957.

В связи с этим возникает важный для теории простого предложения вопрос об определении и отграничении синтаксической функции косвенных падежных форм со значением логического субъекта от остальных синтаксических функций этих падежных форм. Синтаксическую природу форм с *se*, *się* и на *-no*, *-to* в славянских языках нельзя определить без учета структурной возможности или невозможности употребления косвенных падежных форм (беспредложных или предложных) со значением логического субъекта [4].

В некоторых современных польских говорах в отличие от литературного языка употребляются конструкции на *-no*, *-to* со связкой *byu̯o* [например, «Nawet *zakazano byu̯o* po polsku godać tutaj»; «Po niemiecku *byu̯o ucono*» (Kon., 350)], характерной для многих славянских говоров, а также для чешского, сербскохорватского и восточнославянских литературных языков. Синтаксическая природа этих конструкций нуждается в изучении на широком сравнительном материале.

Есть основания предполагать, что во многих говорах сохранились древние односоставные формы с 3-м лицом ед. числа, выражающие действие неопределенного или обобщенного лица, которые в литературном языке бытуют, как правило, в виде устойчивых выражений типа: ***Говорит*** — *хорошо*, *а* ***замолчит*** — *еще лучше*; польск. *Jak makiem* ***zasiał***; чеш. *Křičí*, *jako by ho na nože* ***bral***. Вот примеры употребления такой конструкции из диалектной и разговорной речи: польск. диалект. «Pytałam se jak'iś kob'ity — *ʒe* droga do Mirća /.../ a u̯uńi muv'il'i «prosto» — dup'irom śe zuri̯entovała, že tu *traf'i* du tego Mirca du pusterunku» (Iwan., 122); «Razu jedn̂ego *pup'ijało* f knajp'e i̯i jedyn gospodaš muv'i mu» (там же, 123); разг. «Że mną tak *nie skończy*, jak zacznę» (там же); диалект. «Bes ţšy dńi studńi pšeće *ńe vykop'e* (Szym., 216); чеш. диалект. «A pšet' t'im tak vi̯ečinou̯ fšecko pole skopali. Co *nakopal*, tak *mńel*» (Siat., 132).

В современных славянских литературных языках и их говорах используются различные глагольные формы для выражения действия обобщенного лица в односоставных конструкциях. Характерные для русского языка (литературного и говоров) обобщенно-личные предложения со 2-м лицом ед. числа в позиции главного члена [например: «*Не расскажешь, не опишешь*, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем *расслышишь* артиллерию свою» (Твард., 370); «*Кос'иш*, пока роса; овод, камарь — *не пробыхнешь*» (Шап., 131)] употребляются во всех славянских языках, хотя в западно- и южнославянских языках эта форма используется реже, чем в русском, и многие обобщенно-личные предложения со 2-м лицом ед. числа воспринимаются как пословицы или закостеневшие выражения, например: польск. *Jak sobie* ***pościelisz***, *tak* ***się wyśpisz*** (пословица); диалект. «Na śf'inty Val'inty, *uvožej*, bo *u̯odmroźiš* p'inty» (пословица, Szym., 215); диалект. «*Pšyieʒež* do dumu, agžeź zgžony, zmordovany, to navet *śe* casym i̯i *poku̯ućiš* s kob'itom» (там же); чеш. Jak si *usteleš*, tak si *lehneš* (пословица); сербско-хорв. «Кад *радиш*, треба да и *чуваш*» (Лал., 196).

В западно- и южнославянских языках для выражения действия обобщенного лица широко используется форма 3-го лица ед. числа + *se*, *się* в функции главного члена, например: польск. *Z Warszawy do Lublina*

---

[4] Этот важный структурный фактор не учитывается и в некоторых последних исследованиях. Ср.: В. А. Матвеенко, Некоторые особенности структуры страдательно-безличного оборота в русских говорах, сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М., 1961; ее же, Временное значение главного члена страдательно-безличного оборота (на материале украинского и белорусского языков), сб. «Историческая грамматика и лексикология русского языка», М., 1962.

jedzie się *pociągiem*; *Po ulicy* ***się chodzi*** *prawą stroną*; диалект. «Do dryla *zakuado śe* dva abo ţšy kuńe i muśi byʒ dvoi̯e, troi̯e luʒi» (Szym., 215); диалект. «Studńo^{m} u̯u naś *śe buduie* pševažńe z dryn» (там же); чеш. Z Prahy do Bratislavy *se jede* vlakem; *Po ulici* ***se chodí*** *na pravę straně*; сербско-хорв. *Из Београда до Љубљане* ***путује се*** *возом један дан.*

В западно- и южнославянских языках действие обобщенного или неопределенного лица может быть выражено также двусоставным предложением с обобщающим словом «человек» в позиции подлежащего; эти предложения обычно соответствуют восточнославянским односоставным предложениям, например: польск. Człowiek patrzy i nie wie, co go czeka; диалект. «İakośiś se cu̯oveg b'iʒe ńe dai̯e» (Szym., 216); диалект. «Narob'i śe cu̯ov'ek f tym gospodarstf'e, i̯ila tylko xce» (там же); чеш. «Čemupak tenkrate člověk neuvykl» (Tráv., 621); диалект. «Nešńi dobu musi si člou̯i̯ek ved'et radi» (Siat., 119); сербско-хорв. «Човек га лепо пита, а он се љу̑ти (Стев., 51).

Интересно было бы проследить по отдельным славянским диалектам, употребляются ли формы 3-го лица мн. числа для выражения действия обобщенного лица типа русских: *По улице* ***ходят*** *правой стороной*; *Работу* ***оценивают*** *по результатам*; *Цыплят по осени* ***считают***. Не исключено выражение действия обобщенного лица другими личными формами глагола, выступающими в функции главного члена.

*

Какие синтаксические явления следует включить в вопросник и какие можно оставить за его пределами? В опубликованных материалах проявились три разные тенденции при попытке решения этого вопроса. Чешские лингвисты Я. Бауэр и Р. Вечерка предполагают ориентацию одновременно на сравнительно-историческое и типологическое изучение, хотя в предложениях последнего наблюдается больший уклон в сторону сравнительно-исторического подхода. Югославский лингвист М. Ивич в центр внимания ставит типологический план исследования, пренебрегая архаизмами и фактами, которые относятся исключительно к прошлому. И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко (Москва) ориентируются в основном на решение вопросов генетического и сравнительно-исторического характера. Думается, что совмещение обоих методов для целей вопросника было бы наиболее верным решением. Ведь применение типологического метода не ограничивается исследованием современного состояния известной группы языков, оно вполне возможно при изучении определенного состояния рассматриваемых языков в прошлом. Реконструкция праязыка с последовательным учетом соотносительной хронологии является примером применения типологического метода в сравнительно-историческом языкознании [5]. Успехи сравнительно-исторического языкознания непосредственно зависят от результатов типологических исследований, и наоборот, учет фактов истории родственных языков имеет большое значение для типологического языкознания. Различные языковые факты представляют интерес (хотя в некоторых случаях и неодинаковый) как для типологических, так и для сравнительно-исторических исследований.

1. Одной из важнейших задач типологического изучения языков (особенно родственных) является определение структурной взаимообусловленности между элементами системы одного из языков на основании типологического исследования группы языков. Элементы языковой системы могут находиться в отношениях противоречия и в отношениях непротиворечия. Отношения противоречия наблюдаются в плане содержания между

[5] Ср. Вяч. В. Иванов, Типология и сравнительно-историческое языкознание, ВЯ, 1958, 5.

разными структурными типами предложений («функциональные противоречия»), а также между содержанием и выражением в одном структурном типе предложения (структурно-функциональные противоречия). Отношения непротиворечия, в свою очередь, подразделяются на: 1) отношения факультативности сосуществования и 2) отношения необходимости сосуществования. Не все названные отношения обладают одинаковой потенциальной силой, направляющей развитие системы. Так, в истории русского языка долго сосуществовали пассивные двусоставные конструкции с нечленными причастиями несовершенного вида в сказуемом типа *Поле засевано*, *На том крест целован* с односоставными неопределенно-личными *Поле засевали*, *На том крест целовали* и с конструкциями с возвратным глаголом *Поле засевалось*, *На том крест целовался*, не совпадая с ними полностью по значению [6]. Эти явления одновременно функционировали в языке. Со временем синтаксические функции нечленных причастий страдательного залога несовершенного вида совпали с синтаксическими функциями личных форм глагола. Таким образом, эти предложения попали в отношения функциональных противоречий, в результате чего из системы был вытеснен один из типов конструкций. Отношения противоречия или непротиворечия между элементами системы проявляются в синхронном плане; их можно устанавливать также и типологически.

Отношения структурно-функциональных противоречий и отношения необходимости сосуществования могут быть сопряжены между собой, т. е. если существование в структуре предложения элемента *А* исключает существование элемента *С*, то одновременно оно предполагает необходимость наличия элемента *В* (при условии, согласно которому элементы *В* и *С* не имеют третьего члена, например, *Д*). Так, возможность употребления в предложениях с *-ся* твор. логического субъекта в современном русском литературном языке (например, *Книга продается девушкой*) противоречит наличию активного значения в глаголе с *-ся* и предполагает обязательное наличие пассивного значения в этом глаголе. Значит, твор. действующего лица и активное значение глагола с *-ся* находятся в отношениях структурно-функциональных противоречий, а твор. логического субъекта и пассивное значение глагола с *-ся* находятся (в односоставной модели предложения) в отношениях необходимости сосуществования, так как разделение значений по признаку активности-пассивности имеет двоичный характер. Однако в двусоставных предложениях между твор. логич. субъекта и пассивным значением глагола с возвратной частицей отсутствуют отношения необходимости сосуществования, так как в современных чешском и сербскохорватском языках существуют предложения типа *Kniha se čte*; *Књига се чита*, в которых сказуемое обладает пассивным значением, хотя употребить твор. падеж или другую косвенную падежную форму (предложную или беспредложную) со значением логического субъекта в таких предложениях невозможно. Следовательно в славянских языках, в том числе и в современном русском языке сохранение пассивного значения в названных предложениях связано не только с употреблением (или возможностью употребления) твор. логического субъекта, но и с наличием им. падежа в значении прямого объекта, играющего роль грамматического подлежащего. Переход польских пассивных (двусоставных) предложений в активные (односоставные) повлек за собой замену им. падежа, играющего грамматическую роль подлежащего, в вин. прямого объекта: *Piosenka się śpiewa*>*Piosenkę się śpiewa*; *Książka się czyta*>*Książkę się czyta*.

---

[6] См. Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, М., 1956, стр. 197—203.

Как видно, элементы, «защищающие» свою природу (функциональную или структурную) при помощи одного лишь «способа», легче подвергаются изменениям, чем те, которые располагают бо́льшим количеством таких «способов» и поэтому проявляют бо́льшую устойчивость в системе.

Таким образом, решающее значение в развитии языковой системы имеют отношения противоречия (структурно-функциональные и функциональные), а также отношения необходимости сосуществования.

2. Второй из центральных проблем типологических исследований является изучение соответствий различия[7] между элементами из разных систем родственных языков. Обращаясь к нашему материалу, видим, что неопределенно-личные предложения с *se*, *się* употребляются в языках, которые не знают падежной формы со значением логического субъекта при глагольной форме с *se*, *się* в позиции сказуемого. Это — польский, чешский и сербскохорватский языки; причем в польском языке неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения с *się* получили наиболее широкое распространение, так как они могут употребляться не только без прямого объекта, как в чешском и сербскохорватском языках, но и с прямым объектом в вин. падеже. В современном русском литеретурном языке творительный логического субъекта употребляется в двусоставных пассивных предложениях с возвратной формой глагола в позиции сказуемого. В некоторых диалектах русского языка в аналогичных условиях выступают предложные формы со значением логического субъекта. На основании данных современного состояния языков можно предположить следующее: если в древний период указанных языков при сказуемом, выраженном глагольной формой с *se*, *się*, употреблялась падежная форма со значением логического субъекта, то эта падежная форма раньше всего утратилась в польском языке. С другой стороны, тот факт, что в большинстве современных литературных западно- и южнославянских языков формы с *se*, *się*, обладающие активным (неопределенно-личным) значением, употребляются, как правило, в предложениях без прямого объекта, говорит о том, что польские предложения типа *Czyta się książkę* сравнительно недавнего происхождения. Это подтверждается и данными истории польского языка. Окончательный переход двусоставных страдательных предложений в разряд односоставных активных предложений с прямым дополнением — результат развития польского языка начала XX в.

Как видно, территориальное распределение пассивных и активных форм с *-ся*, *se*, *się* (современный синхронный срез) в известной степени отражает отдельные этапы развития форм с *się* в истории польского языка, в котором развитие этого явления продвинулось дальше, чем в других славянских языках. Установление территориального распределения различных синтаксических явлений по отдельным диалектам имеет весьма

---

[7] Под соответствиями различия понимаются такие синтаксические единицы, которые во всех сравниваемых языках (диалектах) хотя бы по одному признаку образуют тождество, но различаются по остальным признакам. Например, предложения польск. *Książkę się czyta*, русск. *Книга читается*, чеш. *Kniha se čte*, сербскохорв. *Књига се чита* образуют тождество по признаку действия неопределенного лица, но различаются по трем признакам: активности (польск. язык) — пассивности (остальные языки), односоставности (польск. язык) — двусоставности (остальные языки), возможности наличия падежной формы со значением логического субъекта (русск. язык) — невозможности наличия такой формы (остальные языки).

В отличие от соответствий различия система различий состоит из семи типов, в каждый из которых входят все соответствия различия, которые устанавливаются по данному основанию. В 4—7 типы входит еще такой вид соответствия тождества, который во всех сравниваемых языках (диалектах) является членом противопоставления по этому же основанию (см. ниже).

важное значение не только для типологии языков, но и для сравнительно-исторических исследований.

Все это делает возможным выдвижение новых проблем, связанных с изучением возможных направлений в развитии языков в зависимости от их структурных особенностей. Такой подход позволит выявить общие процессы в синтаксической системе славянских языков, а также изучения возможностей индивидуального развития языков в зависимости от индивидуального распределения функционирующих элементов структуры. Так, в сербскохорватском языке существуют структурные условия для перехода двусоставного пассивного предложения типа *Пева се песма* в односоставное активное предложение: *Пева се песму*. Возможность такого перехода подтверждают результаты развития этого явления в польском языке. Но сербскохорватские формы на *-но*, *-то* не находятся в условиях, которые позволяют им перейти в разряд односоставных активных предложений типа польск. *Książkę już dawno* ***przeczytano***, так как в сербскохорватском языке причастия на *-но*, *-то* употребляются в конструкциях с косвенной падежной формой, обладающей значением логического субъекта, например: *Писмо писано* ***од једне жене***.

Таким образом, типологический метод историчен постольку, поскольку он позволяет судить об истории языков, исходя из типологической характеристики одного синхронного состояния этих языков. Обобщения, сделанные на основании по меньшей мере двух состояний, относятся к сравнительно-историческому методу (если понимать его как общий принцип, способный видоизменяться в зависимости от объекта исследования).

3. При типологическом и сравнительно-историческом изучении языков учитываются соответствия тождества, т. е. такие синтаксические единицы, которые во всех сравниваемых языках (диалектах) образуют тождество по всем своим признакам.

а) С точки зрения типологии, явления тождества свидетельствуют о параллелизме в развитии языков. Сравнительно-исторический метод обязан установить, имеем ли мы дело с генетическим параллелизмом, т. е. с сохранением во всех языках унаследованного от праязыка явления, или с негенетическим параллелизмом, т. е. с возникновением в разных условиях одинаковых явлений. Определение негенетического параллелизма связано с рядом трудностей, во-первых, методического характера, во-вторых, — с тем, что пока еще не собрано достаточного количества фактического материала по отдельным славянским языкам, но в ряде случаев выполнение этой задачи представляется уже возможным.

На основании сказанного нельзя думать, что все виды тождественных явлений находятся за пределами системы различий. Так, неопределенно-личные предложения с 3-м лицом мн. числа в позиции сказуемого (общеславянская синтаксическая изоглосса) образуют тождество в современных славянских языках. Но во многих славянских языках действие неопределенного лица выражается другими односоставными конструкциями, распределение которых по группам языков вводит все славянские языки в отношения различия. Например, в польском языке по основанию действия неопределенного множества лиц можно выделить три синтаксических противопоставления (предложения с 3-м лицом мн. числа, с *się*, на *-no*, *-to*); в чешском и сербскохорватском — два (с 3-м лицом мн. числа и с *se*); в украинском — два, но не совпадающих полностью с чешским и сербскохорватским языками (с 3-м лицом мн. числа и на *-но*, *-то*), в русском — одно (с 3-м лицом мн. числа). Таким образом, неопределенно-личные предложения с 3-м лицом мн. числа — это такой вид явления тождества, который является членом противопоставления (по определенному основанию) элементов, являющихся соответствиями различия. По-

этому такие предложения (с 3-м лицом мн. числа) входят в систему различий, хотя и являются соответствиями тождества. Такой вид тождественных явлений должен изучаться вместе с явлениями, которые не образуют соответствий тождества. Эти тождественные явления должны быть учтены при сборе фактического материала, отражающего систему различий.

Существует и другой вид соответствий тождества (которые можно назвать собственно тождественными явлениями), не входящих в систему различий. Примером таких явлений тождества может служить разделение всех полных предложений по признаку наличия или отсутствия предикативной связи между главными членами на односоставные и двусоставные. Нет славянского языка, в котором употреблялись бы, в отличие от всех остальных славянских языков, предложения с третьим главным членом или полные предложения без главного члена. Изучение собственно тождественных явлений представляет прежде всего интерес для сравнительно-исторического языкознания.

б) Исходя из анализа собственно тождественных явлений, типологический метод не дает возможности судить об особенностях структуры какого-либо языка на фоне других языков, структурной взаимообусловленности элементов, об истории языков и закономерностях их развития, однако при типологических исследованиях все же приходится постулировать наличие собственно тождественных явлений.

4. В систему элементов как тождества, так и различия могут входить заимствования. По-видимому, гораздо чаще они встречаются в системе различий; это главным образом зависит от времени их проникновения.

Выделение заимствований необходимо в сравнительно-исторических исследованиях при определении общеславянских, групповых и индивидуальных процессов, которые происходят в исторический период развития языков. Типология к заимствованиям относится пока равнодушно. Однако при определении влияния заимствований на систему языка следует исходить из типологической перспективы. К сожалению, сравнительно-историческое языкознание не имеет еще достаточно надежной методики для выделения синтаксических заимствований. Изучение территориального распределения синтаксических явлений во многих случаях поможет решить эту проблему. Было бы полезно включить в вопросник факты, которые являются несомненными заимствованиями.

*

Сравнительно-исторический метод, в свою очередь, может оказать большие услуги типологии [8]. В области синтаксиса это имеет место, когда модель сохраняется, хотя сами морфологические формы меняются. Так, известно, что в польском языке до XVII в. в качестве именной части сказуемого страдательных конструкций, как правило, употреблялись именные формы страдательных причастий, оканчивающихся на *-n* (*-on*), *-no* (*-ono*), *-na* (*-ona*), *-t*, *-to*, *-ta*. Примерно с половины XVII в. в этой позиции стали употребляться местоименные формы с окончанием на *-ny* (*-ony*), *-ne* (*one*), *-na* (*ona*), *-ty*, *-te*, *-ta*, а употребление именных форм сильно сократилось. Бывает и так, что морфологическая форма сохраняется дольше, чем модель предложения. Примером могут служить польские односоставные конструкции на *-no*, *-to* с активным значением, которые восходят к двусоставным пассивным конструкциям. Эти вопросы нуждаются в подробном исследовании.

[8] Э. Сепир, в частности, установил, что фонетическая модель, представляющая систему взаимопротивопоставленных единиц, сохраняется дольше, чем качество звуков, изображающих эту модель.

Сравнительно-исторические исследования нередко могут дать типологу основание для классификации языковых фактов [9]. Так, противопоставление по признаку твердости — *мягкости*, на котором строится классификация консонантизма современных славянских языков, подверглось самым значительным и разнообразным изменениям в различных славянских языках. Это неслучайно, ибо история системы (прошлая и будущая) закономерным образом отражена в ее определенном синхронном состоянии.

Большими недостатками в этом отношении страдает изучение простого предложения. Приведем лишь один пример. В синтаксисе русского языка предложения на *-но*, *-то* принято считать безличными. Поскольку подразделение предложений на безличные, неопределенно-личные и обобщенно-личные покоится на семантическом принципе, форма главного члена не может служить классификационным основанием; по значению же предложения типа *Об этом сказано в учебнике* являются неопределенно-личными. Они противостоят предложениям типа *Об этом сказали в учебнике* по признаку активности — пассивности. В то же время конструкции на *-но*, *-то* противопоставлены безличным предложениям типа *Горит*; *Тошнит*; *Смеркается* по меньшей мере по двум признакам: 1) активности — пассивности и 2) неопределенного лица-денотата — неопределенного нелица-денотата, причем второе противопоставление и является основанием для разделения предложений на безличные, с одной стороны, и на неопределенно-личные и обобщенно-личные — с другой[10]. Причислению предложений на *-но*, *-то* к безличным противоречат факты истории. В истории, например, русского и польского языков постоянно происходили синтаксические преобразования по признаку активности — пассивности действия неопределенного множества лиц.

Вообще данные памятников письменности и результаты сравнительно-исторических исследований могут сыграть большую роль при проверке и совершенствовании приемов предугадываемости явлений на основе типологии языков. Уточняемый таким образом типологический подход даст возможность реконструировать основные синтаксические явления.

*

В связи со сказанным следует решать вопрос о подборе фактов для полевого обследования. В первую очередь в вопросник следует включать такие факты, учет которых будет одновременно стимулировать развитие синтаксиса в двух направлениях: типологическом и сравнительно-историческом. Такими являются прежде всего факты, образующие систему различий (в том числе заимствования)[11].

Различия могут быть между компонентами одной группы и между группами компонентов. Последние представляют интерес для сравнительного анализа. Систему различий между группами компонентов удобно изучать путем установления отношений различия между двумя груп-

[9] Против типологической классификации, основанной на произвольно выбранных признаках, решительно возражал Р. Якобсон в докладе на Международном конгрессе лингвистов в Осло (1958).

[10] Противоречивость классификации так называемых безличных предложений русского языка вскрывает метод трансформационного анализа. См. Р. Ружичка, О трансформационном описании так называемых безличных предложений в современном русском литературном языке, ВЯ, 1963, 3.

[11] За включение в вопросник фактов различия и форм, взятых из истории языка, выступал Я. Бауэр. М. Ивич, исходя из типологического плана, предлагала включить элементы различия, заимствования, неологизмы, но исключить архаизмы. По мнению Р. Вечерки, нужно учитывать явления тождества, различия, старые конструкции, включая и архаизмы, но можно не обращать внимания на неологизмы.

пами, находящимися в отношениях соответствия. Пусть любая символическая буква обозначает множество однородных (т. е. находящихся в отношении соответствия) элементов, которое называется компонентом. Два или несколько компонентов составляют группу компонентов. Каждая группа состоит из тождественных в морфологическом отношении компонентов, выделенных по какому-то основанию (например, выражение активного действия неопределенного лица в русском языке — только 3-е лицо мн. числа), или нетождественных компонентов (например, выражение активного действия неопределенного лица в польском языке — 3-е лицо мн. числа, формы с *się* и на *-no*, *-to*). Группа, содержащая множества тождественных компонентов, сливается в системе различий в один компонент: $x.x.x...x = x$[12], который будем понимать как частный случай группы. Если же группа содержит нетождественные компоненты, то она сохраняется: $x.y...k = x.y...k$.

Систему различий между группами составляют следующие типы:

1. Внутри обеих групп представлено тождество, между группами — полное различие: $x : y$.

2. Внутри обеих групп наблюдается полное различие, между группами существует также полное различие, т. е. обе стороны не содержат общих членов: $x.y...\ k : z.v...l$.

3. Внутри одной группы представлено тождество, внутри другой — полное различие, и между группами наблюдается полное различие, т. е. обе стороны не содержат общих членов: $x.y...\ k : z$.

4. Одна группа содержит тождество, другая — полное различие, и между группами существует частичное различие, т. е. обе группы имеют один общий член: $x.y...k : x$.

5. Внутри обеих групп представлено полное различие, а между группами наблюдается частичное различие, т. е. обе группы имеют один общий член: $x.y...k : x.z...l$.

6. Обе группы внутри себя содержат полное различие, между группами существует частичное различие, т. е. обе группы имеют два или несколько общих членов, причем одна из групп состоит только из общих членов: $x.y.u...\ m...k : y.u...m$.

7. Обе группы содержат внутри себя полное различие, между группами существует частичное различие, и обе группы имеют два или несколько общих членов + некоторое количество различающих компонентов: $x.y.u...m...k : z.y.u...m...l$.

Различия, существующие между любым количеством групп, представляют собой комбинацию указанных выше семи типов различий.

Компоненты всех групп, находящихся в отношениях различия, объединяются по определенному основанию соответствия. Основанием может служить семантический или формальный признак. Если обозначим 3-е лицо мн. числа буквой x, форму с *se*, *się* — y, форму на *-no*, *-to* — z, то получим: $x.y.z : x.y : x.y : x.z : x$. Теперь нужно определить, в каких отношениях различия находится каждая из этих групп. Это легко сделать путем сведения всех возможных отношений между группами к двоичным отношениям следующим образом: $x.y.z : x.y$, $x.y.z : x.y$, $x.y.z : x.z$, $x.y.z : x$; $x.y : x.y$, $x.y : x.z$, $x.y : x$; $x.y : x.z$, $x.y : x$; $x.z : x$. Проделаем выборку однородных неповторяющихся типов, исходя из предложенной системы различий:

---

[12] Знак · применяется для обозначения отношений тождества или различия (нетождества) между компонентами одной группы; знак : обозначает отношение соответствий различия между группами.

a) $x.y.z : x.y$
$x.y.z : x.z$

b) $x.y.z : x$
$x.y : x$
$x.z : x$

c) $x.y : x.z$

d) $x.y : x.y$

Легко видеть, что выборка *a* принадлежит к шестому типу, выборка *b* — к четвертому, выборка *c* — к пятому, остаток, обозначенный буквой *d*, представляет собой отношение тождества и, следовательно, при определении отношений различия не учитывается. Таким образом, между неопределенно-личными предложениями польского, чешского, сербскохорватского, украинского и русского языков существуют отношения различия 4, 5 и 6 типов. Обратимся к формам на *-no, -to*, которые в русском, чешском и сербскохорватском языках имеют пассивное значение, в польском и украинском — активное. Буквой *x* обозначим активное значение, буквой *y* — пассивное. После проведения всех операций преобразования получается: $x : y$. Иначе говоря, между пятью названными языками значения форм на *-no, -to* находятся в отношениях различия 1-го типа.

При поисках основания для выделения противопоставленных компонентов (в пределах каждой группы) и групп соответствия могут возникнуть серьезные затруднения, особенно при желании обнаружить такое основание в плане значения. Одни факты легче поддаются типологической обработке, другие — труднее, ср., например, определение функций некоторых союзов. Последние на первом этапе составления вопросника могут быть представлены в сравнительно небольшом количестве.

Среди изложенных выше семи типов различий можно выделить две группы: 1) без общих членов (1,2,3 типы); 2) с общими членами (4, 5, 6, 7 типы). Для таких близкородственных языков, как славянские, по-видимому, более характерными являются типы с общими членами. Было бы весьма интересно выявить типы, наиболее характерные для той или иной области синтаксиса. При этом важно выяснить отношения между современными славянскими диалектами (или группами диалектов[13]), с одной стороны, и литературными языками — с другой, а также установить, каким образом менялась в качественном и количественном отношении система различий в истории славянских языков. Интересно также выяснить, можно ли установить определенные закономерности и направления в изменении соотношений между отдельными типами. Включение всех возможных типов системы различий в вопросник необходимо и для типологических, и для сравнительно-исторических исследований. Изложенное еще раз подтверждает необходимость включения в вопросник фактов тождества, входящих в представленную нами систему различий.

Нужно отметить, что бывают случаи, когда различие существует между компонентами группы, но между группами наблюдается соответствие тождества ($x.y : x_1.y_1 : \ldots x_n.y_n$). Этого рода факты мы находим и в материалах, предложенных Я. Бауэром и М. Ивич. Ср. хотя бы примеры, приведенные М. Ивич: *Я пойду, разбужу его*; *Я пойду, освежусь*; *Не выходить до полной остановки трамвая! Spalić go!*

Между славянскими языками наблюдается тождество в употреблении таких форм. Различия существуют между компонентами группы, но нет различий между группами. Возможные здесь частные различия следует выявлять не методом лингвистической географии, а монографически.

---

[13] Под группой диалектов понимаются диалекты одного национального языка.

*

Отбор типов явлений для вопросника зависит от системы различий, однако сами принципы построения отдельных вопросов и вопросника в целом не обусловлены системой различий. Относительно принципов построения вопросов существуют две противоположные точки зрения. У Я. Бауэра и Р. Вечерки данным является значение, а искомым форма его выражения. М. Ивич идет от формы к значению.

Вопросы должны быть составлены таким образом, чтобы они были адекватно поняты всеми эксплораторами-диалектологами. Поскольку точным критерием формулировки вопросов является форма, она во всех возможных случаях должна быть исходным моментом при формулировке вопросов. Однако значение не должно играть в вопросе роль неизвестного. Характерной чертой вопроса должна быть его конкретность. Во всех возможных случаях искомые значения следует определить и назвать в вопросе. Сказанное не означает, что диалектологу, собирающему материал, нельзя применять другие приемы при опросе. В зависимости от обстановки можно задавать самые различные в методическом отношении вопросы (в том числе и вопросы, в которых данным является значение). В бо́льшей части доказательств Я. Бауэра в пользу значения как исходного момента в вопросе можно заметить смешение двух планов: методики опроса, где необходимо предоставить свободу диалектологу, и составления вопросов по строгим и точным принципам.

Задачи типологического и сравнительно-исторического синтаксиса не ограничиваются только сравнительным изучением всех формальных средств выражения и функций, какие выполняют эти средства; важно исследовать взаимоотношения различных средств выражения и их синтаксических функций. Особый интерес представляет изучение структурной обусловленности синтаксических элементов, а также изучение отношений, существующих между синтаксическим и морфологическим уровнями. В связи с этим формулировка вопросов не может быть единообразна. В конечном счете она зависит от цели вопроса. В ряде случаев, например, невозможно вопросы построить так, чтобы данным была форма выражения, а искомым — значение [14].

Таким образом, составленные вопросы должны удовлетворять четырем общим требованиям. Они должны: 1) в максимальной степени отражать систему различий, 2) быть однозначно (адекватно) понятыми, 3) должны характеризоваться (там, где это возможно) непосредственной направленностью на отдельные явления, т. е. быть конкретными, 4) формулировка вопросов должна характеризоваться разной направленностью в зависимости от различных задач синтаксиса. В зависимости от этих требований все вопросы можно разделить на несколько типов и подтипов.

Iа. Вопросы, исходным моментом которых является форма, искомым —значение, которое в самом вопросе определено. Такие вопросы могут быть сформулированы на основе уже известных, по меньшей мере из двух языков (или диалектов), фактов, являющихся соответствиями различия. Так, например, необходимо установить, каким значением обладают формы на *-no*, *-to* во всех славянских диалектах: пассивным или активным. В этом особенно нуждаются конструкции на *-no*, *-to* с субстантивом, не согласованным в роде или числе с главным членом.

---

[14] О целесообразности составления вопросов разных типов говорится в замечаниях И. Б. Кузьминой, Е. В. Немченко (см. ВЯ, 1962, 5). Высказанные там предложения в известной степени нашли отражение в предлагаемой ниже классификации вопросов по типам.

Таким образом, различия между языками сводятся нередко к различиям в функциях, выполняемых одними и теми же формами. Ответы на такие вопросы легко поддаются картографированию, когда различия в функциях двоичны, основываются на противоположности значений, например активности—пассивности; труднее картографировать различия, обладающие большим количеством различительных возможностей. Ср., например, функции союзов или некоторых предлогов. Характерной чертой этого типа вопросов является их конкретность.

Iб. Форма может обладать, кроме известных, и другими функциями; тогда искомое не может быть названо. Это бывает тогда, когда компоненты функциональной группы не противопоставлены по принципу двоичности. В таком случае неизвестные функции следует охватить отдельным вопросом, который должен находиться после вопроса (или вопросов) с названными функциями.

II. Вопросы, направленные на выявление той или иной древней конструкции, которая зафиксирована в письменных памятниках или дошла до нас в устойчивых выражениях. Влияние литературного языка может привести к утрате или ускорить утрату многих таких конструкций. Включение в вопросник некоторого количества обоснованных «гипотетических» вопросов оправдано и с типологической точки зрения.

III. Могут существовать и неизвестные формы выражения данной функции. Тогда возникает необходимость в вопросах, направленных на поиски неизвестной формы выражения. Например, возможно, что значение действия обобщенного лица может выражаться, кроме указанных в начале настоящей статьи конструкций, и другими синтаксическими формами. В таких вопросах данным является значение, а искомым — форма его выражения (в данном случае необходимо прибегнуть к вопросам подобного типа). Там, где это возможно, такие вопросы должны дополнять вопросы типа Iа.

IV. Вопросы, направленные на поиски различных форм проявления определенного типа структуры. В этих вопросах данным является тип структуры, а искомым — формы ее проявления. Примером могут служить различные виды несогласованных в роде и числе конструкций: русск. диалект. «Куды *дивчата ушот*? Колхозны *коровы пришот*» (Иван., 161); «У собаки *сумку унесено*»; «У деда *лисинят поймано*» (Кузьм., 20); укр. «Над табором *було піднято* державний *прапор* Радянського Союзу» (Гон., 64); польск. диалект. «...i tedy *syto* lup *kosule*, lup *psesceradła*, *obrusy* — cego xcafsy» (Kon.351); чеш. диалект «*Města bylo dobyto*, *Papíry bylo obchodovano*» (Tráv., 1366).

V. Вопросы, имеющие целью вскрыть структурную обусловленность элементов системы. Вопросы этого типа имеют первостепенное значение для типологических и сравнительно-исторических исследований. Предложенный в опубликованных материалах инвентарь фактов должен быть дополнен вопросами этого типа, которые будут охватывать явления, находящиеся в отношениях противоречия и в отношениях необходимости сосуществования. Вопросы этого типа могут быть объединены с вопросами предыдущих типов; при этом они будут относиться к одним и тем же синтаксическим объектам, но затрагивать разные их стороны.

Хотя первые работы по сбору диалектного синтаксического материала будут иметь в известной степени экспериментальный характер, однако необходимо обеспечить надежность их результатов. Поэтому, возможно, целесообразно было бы некоторые явления (наиболее трудные для точного определения) представить в вопроснике в дублированном виде. Например, выражение предложных значений можно одновременно включить в морфологический и синтаксический вопросники. Совпадение резуль-

татов работы будет в известной степени свидетельством их надежности; противоречивые факты необходимо подвергнуть вторичному, более углубленному исследованию.

В связи с тем, что современное состояние изучения синтаксиса не позволяет составить вопросник хотя бы в большинстве случаев на материале диалектов (в основном вопросник будет исходить из различий между литературными языками), собранный материал послужит основой для одновременного исследования вопросов, связанных с различиями между разными славянскими языками и их диалектами в настоящем и в прошлом, и вопросов, связанных с различиями во взаимоотношениях между отдельными современными литературными языками и их диалектами.

*

Ниже предлагается список вопросов, включающих рассмотренные факты.

1. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения с личными формами глагола в позиции главного члена-сказуемого [15].

1) Употребляются ли в говоре наряду с 3-м лицом мн. числа (например: ***Говорят***, *что будет дождь*; *В киоске* ***продают*** *газеты*; *По улице* ***ходят*** *правой стороной*) формы 3-го лица ед. числа глагола для выражения действия неопределенного или обобщенного лица или нет? Например: ***Говорит*** — *хорошо*, *а* ***замолчит*** — *еще лучше* (пословица); польск. *jak takiem* ***zasiał*** (пословица); разг. «*Ze mną tak* ***nie skończy***, *jak zacznę*» (Iwan., 123); диалект. «*Bes tšy dni studńi pšeće ne wykop'e* (Szym., 216); чеш. *Křičí*, *jako by ho na nože* ***bral*** (пословица).

Пояснение. Необходимо зафиксировать не только неопределенно-личные или обобщенно-личные предложения, выступающие в качестве устойчивых выражений, но и случаи их продуктивного употребления в живой речи. Если возможны оба способа выражения, старайтесь отличить обстоятельства, в которых эти формы используются параллельно, от тех, в которых указанные формы параллельно не могут употребляться.

2) Используется ли форма 2-го лица ед. числа глагола для выражения действия обобщенного лица или нет? Если употребление этой формы ограничено, ищите другие способы (кроме форм с *se*, *się*) выражения, соответствующие по смыслу обобщенно-личным предложениям русского литературного языка, в котором использование 2-го лица ед. числа в этом значении весьма продуктивно: «Тут *не скажешь*: Я — не я, ничего не знаю, *не докажешь*, что твоя нынче хата с краю» (Твард., 336); ***Идешь***, *бывало*, *по улице и* ***задумаешься*** *о чем-нибудь*; «*Не гляди*, что на груди, а *гляди*, что впереди!» (Твард., 35); ***Ешь*** *пирог с грибами*, *да* ***держи*** *язык за зубами* (пословица).

2. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения с глагольной формой 3-го лица ед. числа + *se*, *się* (возможно тоже + *-ся* в восточнославянских диалектах) в позиции главного члена-сказуемого.

1) Употребляется ли главный член в неопределенно-личных или обобщенно-личных предложениях с *se*, *się* (возможно с *-ся*) параллельно без прямого дополнения и с наличием прямого дополнения или нет?

Пояснение. Нужно выяснить, сохраняется ли активное значение действия неопределенного или обобщенного лица в формах с *se*, *się*

[15] В связи с тем, что соотношения между неопределенно-личными и обобщенно-личными предложениями еще не изучены и главные члены обоих типов указанных предложений часто находятся в омонимических отношениях, при сборе диалектного материала можно не обращать внимания на разницу между значением действия неопределенного или обобщенного лица. Это не мешает сравнительному анализу структурных типов простого предложения.

(возможно с *-ся*), когда в предложениях наличествует прямое дополнение (например в польском языке: ***Książkę*** *się czyta*; ***Tą pracę*** *rozpatruje się dzisiaj na zebraniu*; ***Rybę*** *się je dwoma widelcami*), или появление прямого дополнения связано с переходом односоставных конструкций в двусоставные, а активного значения — в пассивное, как, например, в чешском литературном языке: *Kniha se čte*; *V obohodě se prodávají motocykly* или в сербскохорватском: «Ne čuje se pesma veselja i žetve» (M., 287); «Šutke se okopavao krumpir na njivama i kosilo sijeno» (Crn., 43), хотя в сербскохорватской разговорной и изредка в письменной речи можно встретить и односоставные предложения с наличием прямого дополнения, например: «*Čovjeka* se po besjedi poznaje» (Br., 105).

2) Возможно ли употребление косвенной падежной формы (с предлогом или без предлога) в значении логического субъекта в односоставных или двусоставных пассивных предложениях с *se*, *się*, *-ся*: а) с наличием прямого дополнения, б) без прямого дополнения (как, например, в русском литературном языке: *Картина рисуется* ***художником***; *Книги читаются* ***школьниками***; *Об этом* ***нами*** *уже говорилось*)?

3. Неопределенно-личные предложения с формами на *-no*, *-to* в позиции главного члена-сказуемого.

1) Обладают ли формы на *-no*, *-to* активным значением действия неопределенного лица в односоставных предложениях или нет? Зафиксируйте случаи употребления этих форм с прямым дополнением. Примеры: польск. *Stefana* ***posłano*** *na front*; *Dzisiaj* ***podjęto*** *szereg postanowień*; укр. *Казаченька на війні* ***вбито***; «Видно, *украдено* нашу ниву, поїдьмо до дому» (Кур., 2).

2) Какие причастные формы ср. рода прошедшего времени употребляются в двусоставных пассивных конструкциях? Примеры: *Окно открыто*; *Поле уже вспахано*; укр. *Вікно відкрите*; *Поле засіяне житом*; польск. *Okno jest otwarte*; *Pole jest zasiane żytem*; чеш. *Jmeno je zachováno*; сербско-хорв. *Ročište je odloženo*.

3) Возможно ли употребление в значении логического субъекта косвенной падежной формы (с предлогом или без) в односоставных или двусоставных конструкциях с формой на *-no*, *-to* (без связки) в качестве главного члена-сказуемого? Примеры: *Это письмо написано* ***моим другом***; *Об этом писано* ***многими авторами***; диалект. «*У волка* кошку съидено» (Матвеенко, 106); «*Волками* телят едено» (там же, 128).

4) Возможно ли употребление форм на *-no*, *-to* со связкой, образованной от глагола *быть*, в предложениях с несогласованным субстантивом? Примеры: укр. «Коли *цю справку буде* остаточно *здійснено*, тоді повстане ще трудніше завдання...» (Кур., 15); чеш. диалект. «*Papíry bylo obchodováno* (Tráv., 1366); «*Města bylo dobyto*» (там же).

5) Каким значением (активным или пассивным) обладают присвязочные формы на *-no*, *-to* в предложениях с несогласованным субстантивом? Возможно ли употребление в этих конструкциях косвенной падежной формы (предложной или беспредложной) в значении логического субъекта?

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. КОЛМОГОРОВ, А. В. ПРОХОРОВ

О ДОЛЬНИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

(Общая характеристика)

Вводные замечания. За совершенно единичными исключениями произведения русской художественной литературы, называемые стихотворениями (без добавления — в прозе), отличаются тем, что в них звучание речи подчинено тем или иным достаточно простым закономерностям, которые могут быть восприняты и в отрыве от содержания речи. В тех случаях, когда ритм стиха столь «свободен», что просто формулируемых закономерностей в нем найти не удается, это обычно компенсируется тем, что разделение речи на стихи и объединение стихов в строфы задается рифмами, причем обычно в таких случаях рифмы звучат особенно выразительно, а схема рифмовки особенно проста (перекрестно рифмованные четырехстишия или двустишия).

Любую четкую закономерность, которой подчинен ритм стиха, условимся называть м е т р о м. Такая терминология позволяет противопоставить метр как некоторую норму реальному р и т м у. Метр налагает на ритм стиха лишь некоторые ограничения, оставляя свободу выбора в а р и а н т о в р и т м а. Например, законные ритмические варианты четырехстопного ямба

◡ – ◡ – ◡ – ◡ ± (⌒)

по признаку наличия или отсутствия ударений на сильных местах метрической схемы принадлежат одной из восьми форм[1] (из которых практически употребительны первые шесть):

A ◡ ± ◡ ± ◡ ± ◡ ± (I)
B ◡ ± ◡ – ◡ ± ◡ ± (III)
C ◡ ± ◡ ± ◡ – ◡ ± (IV)
D ◡ ± ◡ – ◡ – ◡ ± (VII)
E ◡ – ◡ ± ◡ ± ◡ ± (II)
F ◡ – ◡ ± ◡ – ◡ ± (VI)
G ◡ – ◡ – ◡ ± ◡ ±
H ◡ – ◡ – ◡ – ◡ ±

Более дробная классификация форм получается, если учитывать «не метрические» ударения на слабых местах метрической схемы. Каждая форма подразделяется на варианты, отличающиеся расположением словоразделов.

В живом восприятии поэта и слушателя метр существует не как голая закономерность, позволяющая лишь отличать законные (совместимые с метром) варианты ритма от незаконных, но как конкретный художественный о б р а з. В этом образе можно различать две стороны: а) з в у к о в о й о б р а з м е т р а, б) его с м ы с л о в у ю и н т е р п р е т а ц и ю.

[1] Справа в скобках указана нумерация форм А. Белым и Г. Шенгели.

Адекватным способом описания звукового образа метра является статистика употребления вариантов ритма отдельных стихов и их комбинирования в последовательных стихах. Исследования Андрея Белого, Томашевского, Шенгели, Тарановского показали, что звуковой образ метра в отдельных больших произведениях (классические работы Томашевского о «Евгении Онегине»), у отдельных поэтов и у поэтов одного направления часто обладает большой устойчивостью.

Предлагаемая статья, представляющая собою общее введение к выполненной авторами работе о русском дольнике, посвящена изучению трехдольника схемы

— — ´

и четырехдольника схемы

— — — ´

в русской поэзии XX в. (длинной чертой обозначена доля, знак ´ поставлен на доле, несущей на себе обязательное ударение). Примыкая к М. Л. Гаспарову [2], мы стремимся показать, что к концу 20-х годов трехдольник и четырехдольник окончательно сложились в качестве четко воспринимаемых метров, звуковой образ которых, однако, у отдельных поэтов обладает отчетливо уловимым своеобразием.

Дольник современной русской поэзии имеет свою историю. Поэты начала и середины XIX в. (Лермонтов, Фет) и 1890—1900-х годов (Брюсов, Блок) по преимуществу воспринимали дольник как метр с обязательными ударениями на каждой доле:

´ ´ ´ ´

и

´ ´ ´.

Современному восприятию дольника свойствен почти всегда интерес к особой выразительности форм, в которых некоторые доли потеряли ударение. Частота употребления этих форм различна у разных поэтов, но само ощущение их законности можно считать характерной чертой «современного» русского дольника.

Русский гекзаметр формально можно рассматривать как разновидность дольника (шестидольник), но он имеет свою особую историю.

Если исключить гекзаметр и подражания народной поэзии (опыты Востокова, «Песни западных славян» Пушкина, «Песню о купце Калашникове» Лермонтова и т. п.), то первым произведением русской поэзии сравнительно большого объема, написанным полностью дольником, окажется поэма Ахматовой «У самого моря» (1914). В этой поэме достигнута большая свобода в употреблении неполноударных стихов (трехударных и даже двухударных в четырехдольнике).

По этим двум признакам (овладение неполноударными формами и появление больших произведений) временем окончательного формирования современного русского дольника можно считать 1910—1920-е годы; это формирование связано по преимуществу с именами Ахматовой, Гумилева, Маяковского, Есенина, Багрицкого.

Преимущественное внимание, уделяемое здесь четырехдольнику, обусловлено тем, что по трехдольнику имеются недавние обстоятельные работы М. Л. Гаспарова [3]. Избранный для целей работы ограниченный материал — несколько произведений Ахматовой, Маяковского и Багрицкого — поз-

[2] М. Л. Гаспаров, Статистическое обследование русского трехударного дольника, «Теория вероятностей и ее применения», 1963, 1.

[3] Заметим, впрочем, что слабой стороной этих работ является недостаточное внимание к расчленению материала на однородные группы. Объединение всех произведений одного автора, в которых не менее 75% стихов подчинены схеме правильного трехдольника и не более 75% вкладываются в классические метры (как это делает М. Л. Гаспаров), может иногда привести к таким средним характеристикам стиха, которые не свойственны ни одному произведению изучаемого автора.

воляет показать, как статистические характеристики ритма целого произведения могут служить исходным пунктом для конкретного анализа индивидуального ритма, изучаемого от стиха к стиху и строфа за строфой. Выбор авторов для изучения четырехдольника 1910—1920-х годов достаточно естествен. Для анализа трехдольника той же эпохи к ним в первую очередь следовало бы добавить Гумилева и Есенина (в частности, «Анна Снегина», вероятно, оказала значительное влияние на формирование трехдольника многих поэтов следующих десятилетий).

Сделаем еще несколько замечаний по поводу нашего преимущественного внимания к произведениям сравнительно большого объема и раздельной статистике вариантов ритма по отдельным произведениям (группы произведений объединяются лишь после проверки однородности свойственной им статистики вариантов).

В случае классических метров ритм стихотворения в 10—20 стихов обычно воспринимается на фоне некоторой сложившейся ранее традиции — на фоне звукового образа метра, знакомого и поэту, и слушателю. Возьмем в виде примера стихотворение Бунина «Псковский бор»:

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.
Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,
Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

со схемой чередования форм

ACCF
AACC
CABF.

Расположение форм здесь следует классической и, в частности, пушкинской традиции с точностью не меньшей, чем в примерах, построенных искусственно Шенгели [4]. Первые два четырехстишия начинаются с полноударной формы *A*; третье отступает от этой тенденции к полноударным началам не случайно, а потому, что его первый стих непосредственно развивает уже начатое повествование. Наиболее обычная в классическом четырехстопном ямбе форма *C* встречается в стихотворении пять раз. Редкая в пушкинской традиции форма *B* употреблена лишь один раз в контрастном сочетании с формой *F*, которая употреблена дважды — для завершения замкнутого в себе первого четырехстишия и всего стихотворения; первый раз — с дополнительным ударением на первом слоге и лишь в конце всего стихотворения в чистом виде.

Весь классицизм и пушкинизм этого построения может воспринять лишь читатель, владеющий звуковым образом пушкинского ямба. Но не в меньшей мере опирается на предполагаемую известной слушателю классическую традицию и Блок, когда он начинает весь цикл «Ямбы» стихами схемы *ADDD*:

О, я хочу безумно жить,
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

[4] Г. Шенгели, Трактат о русском стихе, ч. 1, М.— Пг., 1923.

где полноударная форма *A* сразу сменяется трехкратным повторением крайне редкой и наименее «ямбической» формы *D*. Нормальное звучание ямба устанавливается в следующих стихах:

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,— *AECC*
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его? *ACAC*
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Но кажется очевидным, что поэт обращается к слушателю, который уже первое четырехстишие воспринимает на фоне этого нормального звучания ямба.

I. Пример 4/3 дольника. Дольником в широком смысле можно назвать любой стих, который воспринимается в соотнесении со схемой, предусматривающей в каждом стихе определенное число долей, т. е. групп слогов, объединенных одним ударением.

В виде примера рассмотрим «Стихи о советском паспорте» Маяковского. По рифмам и по авторскому написанию стихотворение состоит из 49 стихов, объединенных в одиннадцать четырехстиший с рифмовкой по схеме

abab

и одно пятистишие, рифмованное по схеме

aabab.

Нечетные стихи четырехстиший и 1, 2, 4-й стихи пятистишия четырехдольны, а четные стихи четырехстиший и 3, 5-й стихи пятистишия трехдольны, так что рифмующие стихи всегда имеют одинаковое число долей. Но, не предвосхищая этого вывода, начнем с простого подсчета числа ударений в четных и нечетных стихах. В русском языке, кроме слов заведомо безударных (предлоги, союзы) и слов заведомо ударных, имеются слова, которые могут быть самостоятельными, а могут и примыкать в качестве «энклитик» или «проклитик» к другим словам, теряя собственное ударение (по преимуществу местоимения, наречия, вспомогательные глаголы). В «Стихах о советском паспорте» Маяковский последовательно отметил выделением в отдельную «ступеньку» лесенки те случаи, где подобные слова должны произноситься с самостоятельным ударением. Например, *я* в стихах

Сдают паспорта,
и я
сдаю...
Я
достаю
из широких штанин...
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин...

ударно, а в стихах

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм...
я был бы
исхлестан и распят...

безударно.

После подсчета получается такой результат [5]:

	число ударений		
	2	3	4
в нечетных стихах	1	4	20
в четных стихах	8	16	—

В 19 + 15 = 34 из 20 + 16 = 36 стихов наиболее многочисленных групп наблюдается следующая правильность: все междударные промежутки или односложны, или двусложны. Вот таблица частот различных комбинаций междударных интервалов:

четырехударные стихи				
1.	2	2	2	7
2.	1	2	2	4
3.	2	1	2	1
4.	2	2	1	4
5.	1	1	2	—
6.	1	2	1	2
7.	2	1	1	1
8.	1	1	1	—
Всего				19

четные трехударные стихи				
1.	2	2		9
2.	1	2		1
3.	2	1		4
4.	1	1		1
Всего				15

Ограниченный объем материала обязывает к осторожности в выводах: употребляемые комбинации довольно разнообразны (из двенадцати возможностей лишь две остались без употребления), однако явное предпочтение отдается комбинациям

2 2 2 и 2 2.

Так как из 7 + 9 = 16 стихов этих двух типов все, за исключением двух, имеют первое ударение на втором слоге, то получается 14 стихов с ритмами

$$\smile \dot{-} \smile\smile \dot{-} \smile\smile \dot{-} \smile\smile \dot{-}\ 0/2$$

или

$$\smile \dot{-} \smile\smile \dot{-} \smile\smile \dot{-}\ 0/2$$

обычного четырехстопного (или трехстопного) амфибрахия (28,5% всех стихов).

Общий ритм всех пока рассматриваемых 34-х стихов записывается схемой

$0/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 0/2$ для четырехударных стихов
$0/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 0/2$ для трехударных стихов

Заменяя в этих схемах первый ударный слог безударным, получим схему

$2/5 \dot{-} 1/2 \dot{-} 1/2 \dot{-} 0/2$
$2/5 \dot{-} 1/2 \dot{-} 0/2.$

Каждый из этих случаев представлен в «Стихах о советском паспорте» одним стихом:

и не повернув
головы кочан... $4 \dot{-} 2 \dot{-} 1 \dot{-}$
не переставая
кланяться... $4 \dot{-} 1 \dot{-} 2$

При замене на безударный второго ударного слога получаем схемы

$0/2 \dot{-} 3/5 \dot{-} 1/2 \dot{-} 0/2$
$0/2 \dot{-} 3/5 \dot{-} 0/2.$

[5] В соответствии со схемой рифм 1, 2 и 4-й стих пятистишия отнесен к нечетным, а 3 и 5-й — к четным стихам.

Первая из этих двух схем в «Стихах о советском паспорте» не представлена, а второй следуют стихи:

паспорт
американца... ∸4∸1
скривило
господину... 1∸3∸1
как бритву
обоюдоострую... 1∸5∸2
змею
двухметроворостую... 1∸4∸2
сыщик
на жандарма... ∸3∸1

и заключительный стих всего стихотворения

Советского Союза 1∸3∸1

Наконец, пропуская третье ударение в основной схеме четырехударного стиха, получаем схему

0/2 ∸ 1/2 ∸ 3/5 ∸ 0/2.

Ей следует дважды повторяемый стих

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм... 1∸2∸4∸

и стих

На польский
выпяливают глаза... 1∸2∸4∸

Таким образом, четыре трехударных стиха оказались во вполне естественно расширенном понимании четырехдольными, а семь двухударных стихов — трехдольными. Следует только принять, что доли, исчезнувшие в качестве самостоятельных групп слогов, объединенных ударением, продолжают сохраняться в виде соответственного удлинения цепочки безударных слогов.

Всего в общие схемы «правильного четырехдольника»[6]

0/2—1/2—1/2—1/2 ∸ 0/2

и «правильного трехдольника»

0/2—1/2—1/2 ∸ 0/2

входит 34 + 4 + 7 = 45 стихов.

Строго не подчинены схемам правильного дольника лишь четыре стиха (8% от общего числа). Стихов, не укладывающихся в схему правильного четырехдольника, в поэме «Люблю» лишь 6, в написанных правильным четырехдольником главках поэмы «Про это» — 13. Наши 8% заметно больше. Все же в «Стихах о советском паспорте» каждый из «исключительных» четырех стихов так или иначе ассимилируется метром, а не выпадает из него совсем.

В рассмотренных правильных 45 стихах имеется 93 междударных промежутка между смежными метрическими ударениями и 9 «длинных» междударных промежутков, соответствующих безударным долям. Из 93 обычных промежутков между смежными метрическими ударениями 69 двухсложных и 24 односложных. Такое преобладание двухсложных промежутков при почти исключительно односложной анакрузе и 28,5% амфибрахических стихов позволяет характеризовать метр «Стихов о советском паспорте» как дольник на основе амфибрахия.

[6] Термин «правильный дольник» вводится вместо употреблявшегося нами ранее термина «урегулированный дольник». В схемах ∸ обозначает ударный слог, а — «сильный слог», который иногда «теряет» ударение.

Приступая к ритмическому обзору стихотворения, отметим, что все его строки за исключением четырех укладываются в более строгие схемы «правильного дольника с односложной анакрузой»

1—1/2—1/2—1/2 ∸ 0/2
1—1/2—1/2 ∸ 0/2

(при пропуске первого ударения в таком дольнике анакруза варьирует в пределах 3/4, а не 2/5). Четыре стиха, выходящие за пределы этой более строгой закономерности, также заслуживают специального внимания: у хороших поэтов редкие варианты ритма обычно несут особую смысловую нагрузку.

Приведем полный текст стихотворения вместе со схемами.

	1. Я волком бы
	выгрыз
1∸2∸4∸	бюрократизм.
	К мандатам
1∸2∸2∸1	почтения нету.
	К любым
	чертям с матерями
1∸1∸2∸2∸	катись
	любая бумажка.
1∸2∸2∸1	Но эту. . .
	2. По длинному фронту
	купе
1∸2∸2∸2∸	и кают
	чиновник
	учтивый
1∸2∸1∸2	движется.
	Сдают паспорта,
	и я
1∸2∸1∸1∸	сдаю
	мою
1∸1∸2∸2	пурпурную книжицу.
	3. К одним паспортам —
1∸2∸1∸2∸	улыбка у рта.
	К другим —
1∸2∸2∸2	отношение плевое.
	С почтеньем
	берут,
	например,
1∸2∸2∸2∸	паспорта
	с двухспальным
1∸2∸1∸2	английским левою.
	4. Глазами
1∸1∸2∸1∸1	доброго дядю выев,
	не переставая
4∸1∸2	кланяться,
	берут,
1∸1∸2∸2∸1	как будто берут чаевые,
	паспорт
∸4∸1	американца.
	5. На польский —
	глядят,
1∸2∸2∸2∸	как в афишу коза
	На польский —
1∸2∸4∸	выпяливают глаза
	в тугой
1∸2∸2∸2	полицейской слоновости —
	откуда, мол,
1∸3∸3	и что это за
3∸3∸2	географические новости?

4-2-1-	6. И не повернув головы кочан
1-2-2-1	и чувств никаких не изведав,
1-2-2-1-	берут, не моргнув, паспорта датчан
1-1-1-1	и разных прочих шведов.
1-1-2-1-	7. И вдруг, как будто ожогом, рот
1-3-1	скривило господину.
-3-1-2-	Это господин чиновник берет
1-2-4-1	мою краснокожую паспортину.
1-1-2-2-	8. Берет — как бомбу, берет — как ежа,
1-5-2	как бритву обоюдоострую,
1-2-2-1-	берет, как гремучую в 20 жал
1-4-2	змею двухметроворостую.
1-2-2-1-2	9. Моргнул многозначаще глаз носильщика,
1-2-1-2	хоть вещи снесет задаром вам.
1-2-2-2-2	Жандарм вопросительно смотрит на сыщика
-3-1	сыщик на жандарма.
1-2-2-1-1	10. С каким наслажденьем жандармской касто
1-2-2-1	я был бы исхлестан и распят
1-2-2-2-1	за то, что в руках у меня молоткастый,
1-2-1-1	серпастый советский паспорт.
1-2-4-	11. Я волком бы выгрыз бюрократизм.
1-2-2-1	К мандатам почтения нету.
1-1-2-2-	К любым чертям с матерями катись
1-2-2-1	любая бумажка. Но эту. . .
-2-2-2-	12. Я достаю из широких штанин
2-2-2-1	дубликатом бесценного груза

Читайте,
завидуйте,
я —
1·2·2·2· гражданин
1·3·1 Советского Союза.

Приступим к разбору по четырехстишиям.

1. Между двумя стихами чистого амфибрахия ускорение [7]

К любым
чертям...

в третьем стихе звучит достаточно резко. Наоборот, пропуск ударения в первом стихе не является «чистым»: в слоге *бюр* имеется побочное ударение; поэтому первое четырехстишие позволяет без лишних затруднений «войти» в метр с чередованием четырехударных и трехударных стихов.

2. Несмотря на неожиданно оставшуюся незаконченной фразу (*Но эту...*) во втором четырехстишии повествование продолжается в первом стихе в плавном амфибрахическом ритме. Далее ритм несколько ускоряется: во втором и четвертом стихе по одному ускорению, а в третьем — два. На общем фоне преобладания двухсложных промежутков конец стиха

паспорта,
и я
сдаю . ·1·1·

звучит подчеркнуто отрывисто, но все завершается в рамках правильного дольника

пурпурную книжицу ·2·2

3. Два стиха чистого амфибрахия, по одному ускорению в двух других.

4. Два пропуска ударения в нечетных стихах как бы кланяются друг другу — «ослабление» ритма [8] соответствует нарастанию иронической интонации.

5. Пятистишие — вершина иронической части повествования. Здесь хитроумное несоответствие ритмической структуры рифмующих стихов напоминает технику молодого Маяковского (во второй половине 20-х годов подобные приемы Маяковский употребляет редко и расчетливо). Только из-за рифмы *коза — глаза — за* безударное *за* приобретает некоторую самостоятельность [9].

Безударность третьей доли второго стиха, второй — четвертого стиха и первой — пятого осложнена еще неправильным трехсложным промежутком между ударениями на второй и третьей доле пятого стиха. Однако следует думать, что к этому времени закономерное чередование четырехдольности и трехдольности в соответствии с рифмой уже достаточно усвоено и четыре безударных доли (в одном случае — последняя в стихе, по метру всегда ударная) и один нарушающий «правильность» дольника трехсложный промежуток уже не мешают тому, что причиненное слушателю

[7] Сокращение межударного промежутка будем называть «ускорением», увеличение его длины — «замедлением».

[8] А. Белый называл пропуски метрических ударений «ускорениями». Шервинский называет их «замедлениями». Чтобы избежать участия в этом споре, мы предпочитаем термин «ослабление» ритма, тем более что термину «ускорение» уже придан другой смысл.

[9] Развернутая запись ритма

◡ ·́ ◡ — | ◡ ·́ ◡ ◡ | —

без ударения на последнем слоге. Возможно чтение, выделяющее *за* в качестве реально ударного слога, но мы предпочитаем в схемах указывать лишь ударения, соответствующие нормальному членению речи. Такая запись не предрешает интерпретации стиха, а указывает на противоречие между метром и грамматикой, которое является несомненной реальностью, непосредственно воспринимаемой достаточно чутким слушателем

беспокойство заканчивается «ассимиляцией» всех неправильностей под заданный метр. Это не «перебой» метра, а лишь затрудняющие восприятие метричности стиха «отклонения» от нормы.

6. Более спокойное заключение рассказа об отношении чиновника к «разным прочим». Последний стих — полноударный трехстопный ямб (встречается во всем стихотворении только один раз).

7. Здесь сразу после пропуска второго ударения во втором стихе и необычной анакрузы 0 в третьем имеются два неправильных промежутка в третьем и четвертом стихе. Интересно, что «краснокожая паспортина» — это та самая «пурпурная книжица», которая ранее спокойно умещалась в рамках правильного дольника! Неправильности, по-видимому, здесь тоже ассимилируются метром, а не ломают его.

8. Нарушений метра правильного дольника нет. Зато безударные промежутки [10] во втором и четвертом стихах звучат особенно выразительно (пятисложный промежуток вообще появляется в стихотворении один раз). Четырехстишие интересно инструментовано:

Бер...бомб...бер...
...бр...б...трую
бер...р...
...тр...ростую

9. Анакруза 0 в последнем стихе и неравносложная рифма (что, впрочем, у Маяковского часто проходит сравнительно незаметно; соединение рифмой безударного слога с ударным в пятой строфе является более резким отклонением от нормы).

10. Более ровный энергичный ритм подготавливает переход к заключительным строфам 11—12.

11—12. Строфы соединены переносом, который был намечен еще в первом четырехстишии (одиннадцатое четырехстишие является его повторением). Пропуск ударений в начальном и последнем стихе. Между ними почти сплошь строки с амфибрахическим ритмом, что, впрочем, нарушается поставленными рядом стихами с анакрузами 0 и 2 (анакруза 2 — впервые). Заключительный стих — трехстопный ямб с пропуском второго ударения.

Как видно, четыре «неправильных» стиха, хотя и не без сопротивления, подчинились метру и помещены совсем не случайно.

II. Общие соображения о дольнике в современной русской поэзии. Рассмотренный пример показывает, что анализ дольника Маяковского путем с ч е т а ч и с л а с л о г о в приводит к достаточно простым и ясным результатам. Распространенное мнение, согласно которому в XX в. русские поэты утратили ощущение самостоятельности слога, способность бессознательно «считать» число слогов — при ближайшем рассмотрении оказывается ошибочным. Наоборот, у многих поэтов XX в. с усилением склонности оперировать более крупными единицами — группами слогов, объединенных одним сильным ударением,— способность к бессознательному точному счету слогов обострилась.

В XIX в. русские поэты с большой осторожностью употребляли в ямбе и хорее пятисложные межударные промежутки (пропуск двух

[10] В обоих трехдольных стихах второму метрическому ударению соответствуют дополнительные ударения в сложных словах. Нам кажется, что вообще в поэтике Маяковского в соответствии с классической традицией (см. Б. Т о м а ш е в с к и й, О стихе, [Л.,] 1929, стр. 122) побочные ударения в сложных словах не следует принимать в расчет при сопоставлении реального ритма с метром. Заметим, впрочем, что, например, в исполнении Яхонтова вторая строка четырехстишия 8 звучит как ◡ ‿ ◡ | ◡ ◡ ‿ ◡ ‿ ◡ ◡ ||, а четвертая как ◡ ‿ | ◡ ◡ ◡ ◡ ‿ ◡ ◡. Эффект длинного вполне безударного промежутка приберегается для заключительного стиха.

метрических ударений подряд), предпочитая те варианты ритма с этими промежутками, в которых положение словораздела делает ассимиляцию редкой формы ритма законам метра более легкой. Лишь Багрицкий стал употреблять пятисложные промежутки в четырехстопном и пятистопном ямбе с той частотой, которая соответствует естественным возможностям русского языка, без боязни используя все типы словоразделов. Багрицкому же принадлежит и написанное пятистопным хореем стихотворение «Фронт», в котором семисложный промежуток не только появился в чистом виде без поддерживающих ощущение метричности стиха побочных ударений [11], но приобрел исключительную художественную выразительность в последнем стихе законченного периода, включающего в себя еще три пятисложных безударных промежутка (два в конце четырехстиший, а третий — непосредственно перед семисложным промежутком):

Это фронт —
и, значит, до отказа
Надо прятаться,
следить и ждать,
Чтоб на мушке закачался сразу
Враг,—
примериваться и стрелять.

Это полночь,
вставшая бессонно
Над болотом,
в одури пустынь,
Это черный провод телефона,
Протянувшийся через кусты ..

Тишина...
Прислушайся упрямо
Утлым ухом:
и поймешь тогда,
Как несется телефонограмма,
Вытянувшаяся в провода...

Ясно, что такие три четырехстишия могут быть написаны только поэтом, подсознание которого способно отбирать среди бесчисленного множества вариантов изложения заданной мысли те, которые приводят к нужному ритму — в данном случае к накоплению на надлежащих местах пятисложных промежутков, заканчивающемуся семисложным, занимающим все протяжение девятисложного стиха пятистопного хорея между ударными первым и последним слогом (схема рифм, принятая в стихотворении, требует, чтобы заключительные стихи четырехстиший имели мужские окончания, т. е. содержали лишь по девять слогов).

Вообще Багрицкий дал образцы очень гибкого и разнообразного четырехдольника. В дольнике Багрицкого встречаются междударные промежутки до семи слогов включительно. В отличие от ямба и хорея в дольнике Багрицкого, по-видимому, интервалы в 5, 6, 7 слогов уже несколько теряют свою индивидуальность, воспринимаясь просто как «очень длинные». Но различие между двухсложным и трехсложным интервалом или между трехсложным и четырехсложным интервалом и в дольнике Багрицкого остается еще чем-то очень существенным: в его произведениях, написанных дольником, четко выделяются две группы — в одной между смежными метрическими ударениями допускаются промежутки лишь из 1—2 слогов, а в другой из 1—3, но не 4 слогов.

---

[11] Ср. пушкинский стих пятистопного ямба

И милостив и долготерпелив ◡ ± ◡ — | ◡ ± ◡ — ◡ ±

Свойственное Маяковскому контрастное противопоставление строф, написанных классическими метрами, правильным дольником и чисто ударным стихом [12], основано на том же умении в нужных случаях вести точный счет слогов, в нужных же случаях от него отвлекаться.

Можно было бы показать, что приобретенное русской поэзией времен Блока, Маяковского и Багрицкого владение самыми различными концепциями стихового ритма живо и в наши годы.

После анализа «Стихов о советском паспорте» и только что сделанных общих замечаний можно обратиться к определению дольника.

Дольник — это стих, обладающий следующими свойствами:

1. Он воспринимается в соотнесении с некоторой схемой, предусматривающей в каждом стихе определенное число долей.

2. В простейших полноударных формах стиха каждой доле соответствует метрическое ударение. Число слогов перед первым метрическим ударением и в промежутках между метрическими ударениями в полноударных стихах подвержено не подчиненным точным правилам колебаниям, но размах этих колебаний ограничен (в простейшем случае «правильного» дольника — для анакрузы 0—2, для межударных промежутков 1—2).

3. Если некоторые доли остаются безударными (в этом случае условно говорят о пропуске метрического ударения), то им соответствует увеличенное число безударных слогов между метрическими ударениями смежных долей или увеличенная длина анакрузы (в случае безударной первой доли).

4. Дополнительные не метрические ударения (если они имеются) расположены так, что не мешают отсчету долей, т. е. так, что их дополнительный характер воспринимается бессознательно на слух.

Это общее определение намеренно сделано несколько расплывчатым, так как оно должно охватить различные направления развития дольника как живого явления поэтической практики, которая не исходит из заданных извне законов, а приходит к разграничению законных и незаконных вариантов ритма путем проб и вслушивания в звучание стиха. Между дольником и «не дольником» могут быть промежуточные формы, точное определение природы которых не только затруднительно, но и невозможно: непрерывный переход от классического метра к дольнику, а от дольника к чисто ударному стиху или к вольному стиху может входить в художественный замысел поэта.

Однако в действительности наиболее сильными оказались «изолирующие» тенденции к точному отграничению законных вариантов дольного метра. Особенно отчетливо выкристаллизовался простейший вид дольника, называемого нами «правильным». Можно указать произведения большого объема, в которых законы такого дольника выполнены без единого исключения. Иногда же самый характер исключений лишь подчеркивает отчетливость их восприятия как «перебоя» в метре (так в «Сказке о дезертире» единственный неправильный стих связан с необходимостью «на рожон прыгать»).

---

[12] См. А. Н. Колмогоров и А. М. Кондратов, Ритмика поэм Маяковского, ВЯ, 1962, 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

А. М. КОНДРАТОВ

СТАТИСТИКА ТИПОВ РУССКОЙ РИФМЫ

1.1. Следуя В. М. Жирмунскому, мы определяем рифму как «всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в метрической композиции стихотворения». Именно этой организующей функцией отличается рифма от звуковой инструментовки стиха, которая «безразлична» к метрике.

1.2. Последовательность из K слогов, k из которых ударны, сопоставленная с последовательностью из L слогов другой строки, из которых l ударны ($K \geqslant k$, $L \geqslant l$), образует kl возможных типов рифм.

1.3. Вся наша дальнейшая классификация относится только к одному типу рифмы: к концевой или обычной, ибо она и только она несет «организующую функцию» в композиции русских стихотворений. Остальные типы рифмы употреблялись в русской поэзии либо как эксперимент, либо как дополнительное средство звуковой инструментовки стиха [1].

1.4. Классификация концевых рифм по ритмическим окончаниям (клаузулам) несложна. Здесь можно выделить две группы: рифмы равносложные (равноклаузульные) и рифмы неравносложные (неравноклаузульные). В равносложных рифмах клаузулы рифмующих строк совпадают (мужские с мужскими, женские с женскими и т. д.). В соответствии с этим можно выделить следующие типы равносложных рифм: мужские (клаузулы с ударением на последнем слоге), женские (клаузулы с ударением на предпоследнем слоге), дактилические (клаузулы с ударением на третьем от конца слоге), гипердактилические (клаузулы с ударением на четвертом, пятом, шестом, p-м от конца слоге).

Разновидностей неравносложных рифм значительно больше, чем равносложных. Если число типов равносложных рифм равно k (ударение может падать на 0, 1, 2... k-й от конца слог), то число типов неравносложных рифм равно числу сочетаний из элементов по два $C_k^2 = \frac{k(k-1)}{2}$, ибо каждому типу ритмической клаузулы можно поставить в соответствие остальные $k - 1$ видов ритмических клаузул (например, мужской клаузуле — женскую, дактилическую, пеоническую и т. д.) [2].

Теоретически возможны k типов равносложных рифм ($k \leqslant K$, т. е. числу слогов в строке) и C_k^2 типов рифм неравносложных.

1.5. По грамматическому происхождению русские рифмы можно разделить на две группы: грамматические и лексические [3]. К грамматическим рифмам относятся рифмы, образуемые совпадением окончаний слов в одной и той же грамматической форме за счет суффиксов и флексий. Кроме грамматических окончаний, в рифмующих словах не должно быть совпадений.

---

[1] Другое дело «хендинги» (кольцевые рифмы) скандинавских скальдов, которые одновременно с аллитерациями несли композиционную функцию, или анафорические рифмы восточной поэзии.

[2] В *Холод — ход* (Маяковский) — рифмуются слова с мужской и женской клаузулой; в *верфь — уверовав* (Маяковский) — мужское и дактилическое окончание; в *покровительствовать — по крови* (Сельвинский) — мужское и пеоническое окончание.

[3] Термин А. Н. Колмогорова.

Лексические рифмы образуются совпадением основ, корней слов[4] (рифма *судьбой — одной* будет зачислена в разряд рифм грамматических, а рифма *зной — судьбой* — в разряд лексических, ибо здесь сопадают корень и флексия, а не просто флексии, как в случае рифм *судьбой — одной*).

Лексические рифмы могут состоять из одного слова: *правил — заставил* (Пушкин), одно слово может рифмоваться с двумя словами: *занемог — не мог* (Пушкин), с тремя словами: *я с нею — яснее* (Маяковский); два слова одной строки могут рифмоваться с двумя словами другой строки: *глоток он — от окон* (Маяковский); наконец, могут рифмоваться слово и часть другого слова:

Кухни, палатки нарядные. *Щер-*
батая дюймовочка как допотопный *ящер*

(Сельвинский)

1.6. Наибольший интерес представляет классификация рифм по «степени созвучия».

Если выделить в особый тип «разноударную» рифму[5] — *Фому́ — до́му* (Симеон Полоцкий), то структурную классификацию остальных типов рифм целесообразно провести по двум признакам: по точности созвучия и по глубине созвучия. Поскольку наша классификация относится только к концевым рифмам, мы выделим три основных компонента этих рифм. Первый компонент — ударная (опорная) гласная или акцент, на которую падает обязательное в русском стихе метрическое ударение. Второй компонент — послеударная («заударная») часть, в которую входят все согласные и гласные, следующие после акцента. Их число может быть от 0 звуков [*себя — тебя* (Пушкин)] до K — 1 (т. е. равно числу слогов в строке — K за вычетом акцента). Третий компонент — предударная часть рифмы, в которую входят все согласные и гласные, предшествующие акценту. Их число может быть от 0 звуков (например, в случае панторифмы) до K — 1 (если после акцента не следует звуков, т. е. послеударная часть равна 0).

Классификация рифм по точности созвучия будет проводиться нами по степени совпадения (или несовпадения) послеударной части акцента. Классификация рифм по глубине будет проводиться по степени совпадения (несовпадения) предударной части. По совпадению акцента можно выделить два типа рифм: рифма нормальная, где ударные гласные обоих рифмующих слов совпадают, и «диссонанс» (в терминологии Брюсова) или «консонанс» (в терминологии Жирмунского), где ударные гласные разнятся по звучанию. Например: *монах — манок, девичью — давеча* (Сельвинский).

1.7. Диссонанс (консонанс) является разновидностью рифм неточных. К неточным рифмам мы относим рифмы, где либо акцент, либо 1,2,3... (K — 1) фонем послеударной части не соответствуют акценту или 1, 2, 3... (L — 1) фонемам послеударной части рифмующего стиха. В точных рифмах акценты и послеударные части рифмующих стихов строго соответствуют.

К неточным рифмам мы относим также рифмы «приблизительные», которые отличаются от точных рифм лишь незначительными отклонениями в оттенках ударного гласного, долгого или краткого, открытого или закрытого; в неударном вокализме — чередованием твердых и мягких согласных, долгих и кратких, в некоторых случаях — звонких и глухих и т. п. Поскольку эти отклонения узаконены классической традицией,

[4] Хотя грамматические окончания могут также совпадать, например, *матушка — Калистратушка, народные — бесплодные* (Некрасов).

[5] В русской поэзии начиная с XVIII в. этот тип рифм практически не встречается.

подобного рода приблизительные рифмы считались рифмами точными (*стук — друг*, *стал — взял*, *решил — мил* и др.).

1.8. Классификация рифм по глубине была проведена по числу совпадающих фонем предударной части. Если это число равно 0, то рифмы считались бедными. Если совпадает одна и более фонем предударной части рифмующих стихов, то рифмы считались глубокими. По числу совпадающих фонем можно ввести коэффициент «степени глубины» рифм — от 1 [совпадает одна фонема: *повеса — Зевеса* (Пушкин)] до 2, 3, 4... (K — 1), т. е. вплоть до начала стихотворной строки [6].

2.0. Мы рассмотрели «аксиоматику» русской рифмы безотносительно к применению различных типов рифм в русской поэзии. Выбор тех или иных типов рифм создает особенности стиля поэтических школ и отдельных поэтов. Эти особенности могут быть выявлены при помощи аппарата математической статистики. При изучении фоники, звуковой стороны стиха, его применение столь же целесообразно и плодотворно, как и при изучении ритмики. Числа делают доказательными гипотезы и интуитивные предположения исследователя, подтверждая правильность верных гипотез и показывая необоснованность неверных.

2.1. Методика, предложенная Б. В. Томашевским [7] и усовершенствованная А. Н. Колмогоровым [8], позволяет вычислить «ступень трудности» автоматического (случайного) возникновения в языке того или иного поэтического метра. Сравнивая «абсолютную» таблицу какого-либо метра (принимая во внимание все ритмические формы, допускаемые метром, и учитывая все возможные отступления от него) со статистическими частотами ритмических форм, реально встречающихся в произведениях того или иного поэта, мы получаем возможность судить как о степени «автоматизма» размера, так и об индивидуальном своеобразии поэта.

2.2. Представляется весьма интересным сделать это и для различных типов рифм: вначале вычислить «степень трудности» автоматического возникновения того или иного типа рифмы в обычной речи, а затем сравнить теоретические частоты с частотами этих же типов рифм у различных поэтов. Методика вычисления «степени трудности» рифм была предложена А. Н. Колмогоровым на конференции по математическому изучению языка художественных произведений (Горький, 1961) [9].

Прозаический текст, написанный «среднелитературным» языком, разбивается на группы слов с мужской, женской, дактилической, пеонической и т. д. клаузулами. Например, начало «Капитанской дочки» Пушкина:

Мужские клаузулы	Женские клаузулы	Дактилические клаузулы	Гипердактилические клаузулы
Отец	*Петрович*	*Минихе*	*молодости*
мой	*при графе*		
Андрей	*и вышел*		
Гринев	*в отставку*		
своей			
служил			

[6] Предельная глубина — созвучие всех слогов рифмующих стихов, «паторифма» Пример рифм 5 и 6 степени глубины: *двери скрежет — вереск режет, Кащей летучий — щели тучи* (Брюсов).

[7] Б. Томашевский, О стихе, Л., 1929.

[8] Популярное изложение этой методики см. в брошюре А. Кондратова «Математика и поэзия» (М., 1962).

[9] На конференции в Горьком (23—27 сент. 1961 г.) Н. Г. Рычковой были доложены результаты первых статистических подсчетов по определению «степени трудности» рифм (с разделением на рифмы «мужские» и «женские»). Результаты Рычковой (0,0079 для мужских рифм и 0,0046 для женских рифм) близко совпадают с нашими результатами, приводимыми в таблицах 1 и 2. Отчеты об этой конференции см.: ВЯ, 1962, 1, «Бюллетень МП», 7, 1962 и сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962

Таким образом разбивается текст достаточно большой длины (для наших подсчетов его длина была 1000 слов). Каждому слову в каждой из групп (например, в мужской) может быть поставлено в соответствие любое другое слово из этой же группы (в нашем примере: *отец — мой, отец — Андрей, Андрей — своей* и т. д.). Если число слов в группе равно S, то число возможных пар будет равно числу сочетаний по два, т. е. $C_s^2 = \frac{S(S-1)}{1}$ (например 200 слов с одинаковыми клаузулами можно сгруппировать в $\frac{200 \cdot 199}{2}$, т. е. 19 900 пар).

Затем отыскиваются рифмующие пары (в нашем примере *Андрей — своей*), которые возникают автоматически, вследствие статистических законов русского языка. Разделив число рифмующих пар на число всех возможных пар C_s^2, мы получаем «коэффициент трудности», вероятность случайного возникновения в языке того или иного типа рифмы. Например, если 200 слов с одинаковыми клаузулами группируются в 19 900 различных пар, а 199 из этих пар рифмуются грамматическими окончаниями, то, разделив 199 на 19 900, мы получим вероятность случайного образования одного из типов рифм — грамматической — равную 0,01 (т. е. в тексте из тысячи слов мы можем подыскать 10 подобного рода рифм). Аналогичная процедура проводится и для всех остальных типов рифм.

Приняв общее число рифмующих пар за 100%, можно вычислить, сколько процентов занимает тот или иной тип рифмы. Подсчитав частоту употребления различных типов рифм в произведениях разных поэтов, мы можем сопоставить их с «абсолютной» таблицей.

2.3. Для определения «степени трудности» того или иного типа рифм была взята выборка из трех различных текстов (по тысяче слов из каждого): текст I — деловая речь (речь Плевако по делу Булах); текст II — художественная проза XIX в. (Достоевский, «Идиот»); текст III — художественная проза XX в. (Олеша, «Зависть»). Вычислялась трудность мужских, женских и дактилических рифм. Были выделены следующие типы мужских рифм: рифмы точные и неточные, которые в свою очередь разделялись на подгруппы по степени глубины на рифмы бедные точные, глубокие точные, бедные неточные, глубокие неточные. Для точных рифм была вычислена трудность сверхглубоких рифм (глубина — более чем одна фонема).

2.4. В классической поэзии, до реформы, начатой А. К. Толстым в области рифмовки, за немногими исключениями употреблялись рифмы точные. В современной поэзии употребляются неточные рифмы и почти не встречаются рифмы грамматические, как точные, так и неточные [10]. В силу этого для точных рифм был подсчитан процент рифм грамматических и лексических, а неточные рифмы учитывались только лексические (*каких — чужих* считалось рифмой грамматической, бедной; *каким — чужих* рифмой не считалось).

Мы позволим себе несколько подробнее рассказать о принципах разделения «неточных рифм» и «не рифм» [11]. Необходимым условием для вся-

[10] Встречаясь даже у таких мастеров современной рифмы, как Маяковский, они не образуют системы, как не образуют системы отдельные случаи употребления неточных рифм в классической поэзии.

[11] Разумеется, понятие рифмы — системно и исторично и современные неточные рифмы вроде *думаешь — тумбочках* (Р. Рождественский) вряд ли были бы признаны за рифму поэтами пушкинской поры; ниже мы даем признаки отличия современных неточных рифм от «не рифм» с точки зрения современного стихосложения, вполне допуская вероятность того, что будущая поэтическая традиция может еще более расширить понятие рифмы и современные «не рифмы» будут считаться рифмами или, напротив, со-

кой рифмы считалось совпадение не менее двух фонем в рифмующих словах, независимо от того, совпадают ли акцент и предшествующая (или последующая) фонема или же фонемы, «окружающие» акцентный гласный.

Примеры отличия диссонансов от «не рифм»: сопоставления слов ***кусок — гусак***, ***ржем — моржам*** (Маяковский), ***утих — утух***, ***смелых — с милой*** (Хлебников) являются рифмами, ибо в них, при несовпадении ударной гласной, совпадают окружающие эту гласную согласные; сопоставления слов *кусок — храбрец*, *ржем — губам* рифмами не являются, ибо в них нет необходимого совпадения двух фонем (в первом случае совпадают 0 фонем, во втором — одна фонема)[12].

Примеры отличия неточных рифм от «не рифм»: сопоставления слов ***капают — Карпова*** (Евтушенко), ***думаешь — дурочка*** являются рифмами, ибо в них совпадают ударная гласная (акцент) и минимум одна соседняя согласная (в нашем случае — предшествующая, но может совпадать и последующая, например, ***дурочка — курицы***, ***капают — лапками*** и т. п.). Сопоставления *капают — маленький*, *дурочки — улица* и т. п. рифмами не считались, ибо в них не выполнено правило совпадения минимума двух фонем.

В силу этого правила рифмами не считались слова, оканчивающиеся на гласный, если в предударной части слов не совпадало ни одной фонемы (сопоставления слов *окно — светло*, *листы — мы* и т. п. не считались рифмами).

Естественно, что при этом менялось и определение г л у б и н ы рифмы. Созвучие одной фонемы в предударной части (*окно — давно*, *ты — листы*) образовывало бедную рифму, двух фонем — глубокую, трех и более фонем — сверхглубокие рифмы (в силу того, что эти рифмы, не имея послеударной части, требовали компенсации за счет предударной части). Этой глубинной компенсацией объясняется следующий факт, странный на первый взгляд: образовывать неточные мужские рифмы (см. табл. 1) труднее, чем точные даже в том случае, если отбросить грамматические рифмы и сравнивать лексические точные рифмы и неточные рифмы. Значительная часть неточных мужских рифм (около 40%) — рифмы, где отсекалась послеударная часть. Это отсечение требует компенсации за счет предударной части (***война — нам*** будет рифмой, а *война — сам* рифмой не будет: рифмой к слову *сам* будет слово ***оса***).

Трудность образования неточных рифм также объясняется тем обстоятельством, что они, в отличие от точных рифм, нетранзитивны. И точные и неточные рифмы обладают свойством рефлективности (элемент тождествен себе) и симметричности (если x рифмует с y, то и y рифмует с x); свойство транзитивности присуще только точным рифмам (если x рифмует с y, а y рифмует с z, то x рифмует с z). В силу несоответствия послеударной части неточные рифмы нельзя объединить в одну группу (например, слова *них — сохранил* и *сохранил — убил* рифмуют, но *них — убил* не рифмуют). В классических же рифмах транзитивность сохраняется, что позволяет n словам с одинаковой ударной гласной и послеударной частью образовывать C_n^2 рифмующих пар.

2.5. Для женских рифм была проведена точно такая же классификация, как и для мужских рифм (см. табл. 2), с тою только разницей, что не делалось различия между глубокими и сверхглубокими рифмами.

2.6. Для дактилических рифм классификация была несколько иною:

временные неточные рифмы могут вновь считаться «не рифмами» в силу возврата к «классическим» требованиям точной рифмовки.

[12] Иногда возможно полное несовпадение предударной части и акцента, которое компенсируется совпадением двух и более фонем в послеударной части, например ***мирное — наверное***, ***повычисти — нечисти*** (Маяковский).

различия между точными и неточными рифмами не делалось (ибо, по справедливому замечанию В. М. Жирмунского, оно нечетко выражено и в поэтической практике). Рифмы разделялись на два типа: грамматические и лексические; последние делились на рифмы глубокие и бедные (см. табл. 3).

2.7. Работы А. Белого по анализу четырехстопного ямба [13] наглядно показали, что употребление поэтом различных вариантов, возможных в пределах одного метра, создает своеобразный ритмический «климат», свойственный поэтам данной эпохи и каждому большому поэту в отдельности, некий обобщенный звуковой образ. Воздействие этого образа-ритма воспринимается читателем интуитивно; аппарат статистики позволяет подтверждать эту интуицию объективно, числами.

2.8. По всей видимости, воздействие происходит не только на самом низком этаже — ритме, чередовании ударных и безударных слогов, но и продолжается на более высоких «этажах» стиха: фоническом, лексическом, семантическом. Аппарат статистики также может быть применен для доказательства интуитивных предположений, статистического описания образа-звука, образа-слова и т д.

Мы попытались предпринять попытку изучить при помощи статистики один из «этажей» стиха — фонический. Оставив в стороне более сложные вопросы звуковой инструментовки, мы выбрали самое простое средство звуковой выразительности стиха — рифму [14].

2.9. В таблицах 4, 5 и 6 мы приводим результаты анализа нескольких произведений русской поэзии XVIII—XX вв., написанных различными стихотворными размерами. Для статистической обработки нами были взяты следующие произведения. Четырехстопный ямб: Ломоносов «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на восшествие на престол Елисаветы Петровны, 1747 года»; Державин «На смерть графини Румянцевой» и «Ода Фелице»; Баратынский «Пиры»; Пушкин «Граф Нулин» и «Медный всадник»; Некрасов «Белинский»; Надсон «Иуда»; Блок «Возмездие» (пролог). Четырехстопный анапест: Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Четырехдольник: Маяковский «Люблю», Асеев «Маяковский начинается» (первая глава). Четырехударный стих: Маяковский «Облако в штанах». Из таблиц можно ясно увидеть характерные тенденции как различных поэтических школ (XVIII в., «пушкинской поры», второй половины XIX в.), так и отдельных поэтов (обилие глубоких рифм у Ломоносова, обилие рифм грамматических у Надсона и т. д.).

3.0. В заключение нам хотелось бы вкратце остановиться на вопросе, в традиционном стиховедении не возникавшем, но тем не менее весьма интересном как для языкознания, так и для теории стихосложения, на вопросе о соотношении затраты энтропии речи на ритм и рифму.

3.1. Методика, предложенная Томашевским и усовершенствованная Колмогоровым, позволяет определить степень трудности для языка того или иного метра. Подсчеты показывают, что требования метров современной поэзии, дольника и ударного стиха значительно более легки, чем требования классических стихотворных размеров, ритмически более урегулированных. Так, вероятность случайного возникновения в прозе одной строки четырехстопного ямба равна, примерно, 0,03 (т. е. в последовательности из ста русских слов автоматически может образоваться в среднем

[13] А. Белый, Символизм, М., 1910.

[14] Разумеется, наша работа не претендует ни на универсальность статистического описания типов рифм, ни на новизну этого описания (см. например, статистику рифм в книге: Р. Якобсон, О чешском стихе в сопоставлении с русским, Берлин, 1923), а также статистические подсчеты Н. Г. Рычковой, доложенные на конференции по математическому изучению языка художественных произведений в Горьком.

три строки четырехстопного ямба). Строка урегулированного четырехдольника имеет вероятность 0,2[15], а четырехударного стиха 1,00 (любая последовательность из четырех русских слов может служить строкой четырехударного стиха, безразличного к числу безударных слогов в промежутке между ударными)[16].

3.2. Однако, раскрепостив стих в области ритма, сделав его «легче» для языка, современное стихосложение налагает более строгие ограничения в области рифмы. Точная рифмовка допускает употребление грамматических рифм (занимающих около 70% всех мужских и женских рифм и более 80% — дактилических рифм)[17]. В современной поэзии грамматические рифмы практически исключены (см. табл. 4—6).

3.3. Сравнение «степени трудности» различных стихотворных размеров логичнее всего проводить, вычисляя соответствующие «затраты энтропии» на ритм и рифму, а не просто сопоставляя вероятности их случайного возникновения в прозе, ибо последнее может привести к грубым искажениям. Так, автором в популярной брошюре «Математика и поэзия» ошибочно утверждалось, что требования классической рифмовки в 10—100 раз «труднее», чем требования рифмовки современной, в то время как требования ритма соответственно в 10—100 раз «легче».

Затрата энтропии на образование двух строк четырехстопного ямба равна примерно 10 битам (двоичный логарифм вероятности случайного образования одной строки четырехстопного ямба — 0,03, взятый с обратным знаком, равен ≈ 5). Затрата энтропии на связывание этих ямбических строк классической (точной) мужской рифмой равна приблизительно 7 битам ($-\log_2 0{,}0079$).

Затрата энтропии на образование двух строк урегулированного дольника равна примерно 5 битам ($-\log_2 0{,}2$, где 0,2 — показатель вероятности случайного образования в прозе одной строки урегулированного дольника). Таким образом, соотношение «степени трудности» четырехстопного ямба и урегулированного четырехдольника (0,03 и 0,2) выражается в битах как 10 бит на образование двух строк ямба и 5 бит — дольника.

Нетрудно сравнить и затраты энтропии на рифму; в ямбе она равна 7 битам, как было указано выше. В современной системе рифмовки допускаются лишь лексические рифмы, как точные, так и неточные. Для мужских рифм величина энтропии будет равна $-\log_2 0{,}0029$, т. е. примерно 8 бит (величина 0,0029 — это сумма вероятностей возникновения в прозе точных лексических рифм — 0,0018 и вероятности возникновения неточных рифм — 0,0011; см. табл. 1).

Суммируя затраты энтропии на ритм и рифму в современной и классической поэзии, можно сказать, что на соблюдение правил четырехстопного ямба и точной (классической) рифмовки тратится примерно 17 бит (10 + 7), а четырехдольника и современной рифмовки — 13 бит (5 + 8). Естественно, что у каждой поэтической школы, большого поэта и, вероятно, даже отдельного произведения имеется специфическое распределение затраты энтропии речи на придание изложению звуковой (ритмической и фонической) выразительности.

---

[15] См. А. Н. Колмогоров, А. М. Кондратов, Ритмика поэм Маяковского, ВЯ, 1962, 3.

[16] А. М. Кондратов, Теория информации и поэтика, «Проблемы кибернетики», 9, М., 1963.

[17] Следует только отметить, что и в классической поэзии нет слепого следования статистическим законам языка в выборе типов рифм; грамматические рифмы занимают не 70—80% всех рифм, а примерно 10—67% мужских рифм (в среднем — около 30%; показатель 67% — у Надсона; см. табл. 4) и 10—50% женских рифм (в среднем, примерно 30% всех женских рифм в стихах поэтов XVIII — XIX вв.— грамматические; см. табл. 5).

Таблица 1

Мужские рифмы

Тип рифмы	Текст I	Текст II	Текст III	Средняя вероятность по 3 текстам	%%
Всего	0,0092	0,0087	0,0089	0,0090	100
Точные	0,0080	0,0077	0,0079	0,0079	87,5
в том числе:					
Грамматических	0,0061	0,0058	0,0063	0,0061	67,5
Лексических	0,0019	0,0019	0,0016	0,0018	20
в том числе:					
Бедных	0,0014	0,0015	0,0011	0,0013	14,5
Глубоких —1	0,0004	0,0003	0,0004	0,0004	4,5
Сверхглубоких	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	1
Неточные	0,0012	0,0010	0,0010	0,0011	12,5
в том числе:					
Бедных	0,0009	0,0008	0,0007	0,0008	9
Глубоких	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	3,5

Таблица 2

Женские рифмы

Тип рифмы	Текст I	Текст II	Текст III	Средняя вероятность по 3 текстам	%%
Всего	0,0052	0,0048	0,0043	0,0047	100
Точные	0,0042	0,0037	0,0034	0,0037	79
в том числе:					
Грамматических	0,0035	0,0031	0,0028	0,0031	66
Лексических	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	13
в том числе:					
Бедных	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	11
Глубоких	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	2
Неточные	0,0010	0,0011	0,0009	0,0010	21
в том числе:					
Бедных	0,0008	0,0009	0,0008	0,0008	17
Глубоких	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	4

Таблица 3

Дактилические рифмы

Тип рифмы	Текст I	Текст II	Текст III	Средняя вероятность по 3 текстам	%%
Всего	0,0060	0,0040	0,0053	0,0051	100
в том числе:					
Грамматических	0,0053	0,0033	0,0044	0,0043	84,5
Лексических	0,0007	0,0007	0,0009	0,0008	15,5
в том числе:					
Бедных	0,0006	0,0006	0,0008	0,0007	13,5
Глубоких	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	2

Таблица 4

Статистика мужских типов рифм (в процентах)

Стихотворный размер	Типы рифм / Автор и произведение	Точные						Неточные		
		всего	грамматические	лексические				всего	бедные	глубокие
				всего	бедные	глубокие	сверх глубокие			
4-стопный ямб	Ломоносов «Вечернее размышление»	96,0	21,0	75,0	55,0	12,0	8,0	4,0	4,0	0,0
	«Ода на восшествие на престол Елисаветы Петровны»	95,8	22,8	73,0	46,0	16,6	10,4	4,2	4,2	0,0
	Державин «На смерть гр. Румянцевой»	96,0	16,0	80,0	60,0	20,0	0,0	4,0	4,0	0,0
	«Ода Фелице»	96,0	49,0	47,0	41,3	5,7	0,0	4,0	4,0	0,0
	Баратынский «Пиры»	100,0	42,9	57,1	52,1	3,2	1,8	0,0	0,0	0,0
	Пушкин «Граф Нулин»	100,0	23,5	76,5	64,5	9,5	2,5	0,0	0,0	0,0
	«Медный всадник»	100,0	28,0	72,0	59,8	11,4	0,8	0,0	0,0	0,0
	Некрасов «Белинский»	100,0	30,0	70,0	62,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надсон «Иуда»	100,0	66,7	33,3	26,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Блок «Возмездие»	100,0	10,0	90,0	65,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
4-стопный анапест	Некрасов «Размышления у парадного подъезда»	100,0	43,0	57,0	50,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
4-дольник	Маяковский «Люблю»	(в тексте — одна пара рифм *«вяв — шлаф»*								
	Асеев «Маяковский начинается»	69,0	0,0	69,0	28,0	23,0	18,0	31,0	3,0	28,0
4-ударный стих	Маяковский «Облако в штанах»	63,0	0,0	63,0	20,0	13,0	30,0	37,0	11,0	26,0
Проза	Автоматическое возникновение	87,5	67,5	20,0	14,5	4,5	1,0	12,5	9,5	3,5

Таблица 5

Статистика женских типов рифм (в процентах)

Стихотворный размер	Типы рифм / Автор и произведение	Точные: всего	Точные: грамматические	Точные: лексические: всего	Точные: лексические: бедные	Точные: лексические: глубокие	Неточные: всего	Неточные: бедные	Неточные: глубокие
4-стопный ямб	Ломоносов «Ода на восшествие на престол Елисаветы Петровны»	97,0	47,1	49,9	42,8	7,1	3,0	0,0	0,0
	Державин «На смерть гр. Румянцевой»	96,0	24,0	72,0	68,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	«Ода к Фелице»	93,5	22,6	70,9	55,0	15,9	6,5	6,5	0,0
	Баратынский «Пиры»	100,0	18,0	82,0	72,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Пушкин «Граф Нулин»	100,0	50,0	50,0	45,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	«Медный всадник»	100,0	30,0	70,0	61,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	Надсон «Иуда»	100,0	33,3	66,7	60,0	6,7	0,0	0,0	0,0
	Некрасов «Белинский»	100,0	12,0	88,0	76,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	Блок «Возмездие»	95,0	10,0	85,0	60,0	25,0	5,0	0,0	5,0
4-стопный анапест	Некрасов «Размышления у парадного подъезда»	100,0	42,0	58,0	53,0	5,0	0,0	0,0	0,0
4-дольник	Маяковский «Люблю»	52,0	0,0	52,0	29,0	23,0	48,0	23,0	25,0
	Асеев «Маяковский начинается»	48,0	3,0	45,0	24,0	21,0	52,0	16,0	36,0
4-ударный стих	Маяковский «Облако в штанах»	57,0	0,0	57,0	27,0	30,0	43,0	19,5	23,5
Проза	Автоматическое возникновение	79,0	66,0	13,0	11,0	2,0	21,0	17,0	4,0

Таблица 6

Статистика дактилических типов рифм (в процентах)

Стихотворный размер	Типы рифм / Автор и произведение	Граммати ческие	Лексические		
			всего	бедные	глубокие
Проза	Автоматическое возникновение	84,5	15,5	13,5	2,0
4-стопный анапест	Некрасов «Размышления у парадного подъезда»	65,0	35,0	35,0	0,0
4-дольник	Маяковский «Люблю»	5,0	95,0	39,0	56,0
4-ударный стих	Маяковский «Облако в штанах»	2,0	98,0	53,0	45,0

3.4. Было бы интересно провести статистические исследования различных метров и различных типов рифм у русских поэтов XVIII—XX вв., вычислив затрату энтропии на метр и на индивидуальные особенности ритма[18], на рифму и особенности рифмовки [19]. Ответить на эти вопросы смогут только дальнейшие исследования ритмики и фоники стиха и их теоретико-информационного соотношения по «степени трудности» для языка.

---

[18] Еще А. Белый показал на примере четырехстопного ямба, что каждый большой поэт, а тем более поэтическая школа, имеет свои излюбленные ритмические «ходы». Работы последних лет показали, что и в менее урегулированном ритмически современном стихе наблюдается та же тенденция к ритмическому своеобразию, например, четырехдольник Багрицкого существенно отличается от четырехдольника Маяковского. См. также М. Гаспаров, О ритмике русского трехударного дольника, «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», М., 1962.

[19] Близость данных по четырехдольнику Асеева и Маяковского и по четырехударному стиху заставляет предполагать, что в дальнейшем необходимо более дробное деление типов рифм по глубине (глубокие — 1, глубокие — 2 и т. д. вплоть до глубоких — 5 или глубоких — 6), ибо рифмы ударного стиха более сдвинуты в глубину. По всей видимости, в дальнейшем также целесообразно деление лексических рифм на «однородные» (глагол рифмует с глаголом, существительное с существительным и т. д.) и «неоднородные», а также выделение «рифм приблизительных» в особую категорию, что позволило бы четче показать индивидуальные особенности отдельных поэтов (например, подмеченное Жирмунским избегание «приблизительных» рифм в стихах Баратынского).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

С. И. КОТКОВ

РУССКАЯ ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА XVII — XVIII вв. КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

В кругу письменных источников по истории русского языка материалы частной переписки занимают особое положение. Во-первых, они доносят до нас старинную устную речь, представленную в письменном отражении, в наиболее непосредственном виде по сравнению с иными категориями письменных источников; во-вторых, они являются сравнительно редкими. Яркое отражение в частной переписке живого народного языка обусловлено ее содержанием, ее функцией, характером речевой культуры авторов писем (письма обычно назывались грамотками), наконец, составом и выучкой лиц, писавших эти грамотки. Содержание грамоток в основном определялось всем кругом личных, семейных и вообще родственных отношений, а также деловых и социальных отношений, которые связывали участников переписки. Иногда в переписке находили отражение и события более широкого плана, обычно в той мере, в какой они оказывали непосредственное влияние на судьбы участвовавших в ней людей. Как средства неофициального общения, не выполнявшие документальных функций, грамотки писались необыкновенно вольно, если не считать известной стандартизации зачинов и окончаний их. Неофициальным характером этих писем объяснима и та особенность, что они обыкновенно не сохранялись и знакомством с ними в наше время мы обязаны только счастливым случайностям. Значение материалов частной переписки как свидетельств живой минувшей речи подкрепляется тем обстоятельством, что авторы-писцы или грамотеи, писавшие под диктовку авторов, в подавляющей массе случаев не обнаруживают высокой правописной выучки. Последнее, между прочим, говорит о более широком, нежели полагали, распространении грамотности в древней Руси, об известном проникновении ее в среду простого люда. Если более ранний период (XI—XV вв.) характеризуют с этой стороны берестяные грамотки, найденные в Новгороде, то более позднее время с еще большей очевидностью характеризуют в этом плане материалы частной переписки XVII и начала XVIII в. Здесь получит характеристику переписка именно этого времени.

Можно было бы ограничиться подробным обозрением того, что в этой переписке есть, и подробно перечислить, чего в ней нет, но это не показало бы ее действительного значения для исследования истории русского языка. Ее действительное значение вырисовывается лишь в свете тех задач в области изучения истории русского языка, решению которых она служит. В трудах по истории русского языка постоянно встречаются упоминания о его народно-разговорном варианте, и все же наполненной конкретным содержанием характеристики данного варианта в науке пока не имеется не только для раннего периода развития русского языка, чего, собственно, и трудно ожидать, поскольку памятники той поры содержат мало соответствующих данных, но и для поздней эпохи, например, XVI—XVII вв. Воссоздание конкретного облика народно-разговорного языка указанной эпохи — задача первостепенной важности; с ее решением свя-

зано решение многих других задач, по отношению к ней производных. Необходимо, в частности, выяснить соотношение и взаимодействие книжной и народно-разговорной стихий в различных сферах литературного языка того времени, причем на базе широкого исследования той и другой стихии, а не случайных наблюдений, как это обычно делается. Нуждается в основательном исследовании вопрос о соотношении и взаимодействии северно- и южновеликорусского начал в формировании и развитии национального языка. Требует уточнений относительная и абсолютная хронология языковых изменений, особенно по диалектным областям в отдельности. Имеется острая необходимость в содержательной характеристике московского говора XVI—XVII вв., послужившего, по мнению многих, основой русского литературного языка. Едва ли нужно продолжать перечисление задач. И отмеченных довольно, чтобы представить все значение выявления и публикации материалов частной переписки.

Лингвистическая ценность этой переписки определяется прежде всего ее содержанием. Последнее достаточно разнообразно и, что самое главное, наряду с другими сферами жизни отображает повседневный быт людей. Естественно, одним из характерных свойств переписки и особенно ее интимно-бытовой разновидности является наличие в письмах значительной группы лексики, в которой обнаруживают себя движения человеческой души, настроения и переживания людей, борьба их страстей, их помыслы. Переписка насыщена лексикой, так сказать, интимно-бытового круга. Трудно назвать иные источники вне области художественной литературы, относимые к тому времени, в которых можно было бы встретить употребление, скажем, таких образований и выражений, как: «не печался... пожалѣи» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 3); «умилис надо мною» (там же, л. 3 об.); «подивляюс» (там же, л. 50); «добродею ласкавому» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 92); «вижю очи твоі» (там же, л. 141 [1]). Но если в текстах художественной литературы подобные лексические включения выступают перед исследователем в качестве опосредствованных, воспринимаемых через призму художественного мышления древнерусского автора, в материалах частной переписки они являются в своих наиболее постоянных, наиболее устойчивых значениях и речевых ситуациях [2]. К тому же и самый репертуар указанных включений в лапидарных назидательных произведениях древнерусской литературы значительно у́же материала, представленного в частной переписке. Таким образом, в частной переписке открывается оптимальная возможность изучения этих наименее уловимых, но чрезвычайно важных элементов того словарного состава, который определял в прошлом специфику народно-разговорной речи. Они оживляют иногда и традиционные начала писем с обращениями к адресатам и пожеланиями здоровья, переплетаясь в составе этих начальных клаузул не только с русской лексикой иных функциональных пластов, но и церковнославянским элементом. Излишне говорить, что вне начальных и других эпистолярных клаузул слова и выражения рассматриваемого круга в грамотках более употребительны, нежели в пределах клаузул. Слова и выражения такого плана отличают (и это вполне естественно) прежде всего те грамотки, содержание которых носит узко личный, семейный характер. Любопытны в этом отношении немногочислен-

[1] В статье приняты следующие сокращения: ГБЛ — Государственная библиотека имени В. И. Ленина. Отдел рукописей; ГИМ — Государственный исторический музей. Отдел письменных источников; ИРЯЗ — Институт русского языка АН СССР. Сектор библиографии, источниковедения и издания памятников; ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.

[2] Отсюда, однако, не вытекает, что язык рассматриваемой переписки абсолютно не связан с литературным; здесь только констатировано различие между ними, которое необходимо иметь в виду при лингвистическом исследовании.

ные женские письма, писавшиеся обычно в господской среде, причем не только авторами, но и другими лицами, которые были близки к авторам, пользовались их доверием; крестьянки по неграмотности и вследствие общих условий крепостного существования писем не писали, прибегать к услугам грамотных людей им обыкновенно не приходилось, а в тех исключительно редких случаях, когда они, измученные невзгодами, осмеливались обращаться к далекому барину, грамотки, составляемые для них скорописцами, были горькими, слезными просьбами и, конечно, не имели ничего общего с перепиской интимно-бытового характера.

Своеобразный колорит последней ярко выступает, например, в письме жены Т. С. Ларионову. Печалясь, сетуя на то, что супруг ее не жалует — о своем здоровье не сообщает, «женишка» Катюшка пишет: «ели бы Траѳимь не заеха | и па сю пор8бы о тебя гсдря ка мне вести не была я | у тебя гсдря милости прасила со слезами и тебе гсдрю мо | ем8 и слезы маи места вады я гсдрь вины не зна | ю своеи пре тобою за што гневь твои на мне... да изволиль ты гсдрь Тимоѳеи Семиеновичь писать что к8пить Даш8ке и мьне и я и писать к тебе не | смею патам8 что маи слава тебе гсдрю не годны | а чомь я у тебе милости ни прасила и мьне об[о все]мь окась Даш8ка била чьломь к8пить шельчк8 | алава да сереб[р]а а мне прикажи к8пить башма | чоки» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 4). Другом сердешным называет в письме мужа Д. Е. Ларионова, а о маленькой дочке рассказывает: «у нас толко и радости | что Парашенка... а Парашенка у меня девочка ізрядная даи гди те[бе] і как станем тебя кликат і она так же кличет і нам всево дороже» (там же, л. 3).

Подобные или сходные с приведенными выше проявления живой народной речи можно обнаружить и в древнерусской повести, и, тем не менее, преимущество сопоставимых с ними во времени данных частной переписки представляется несомненным: для лингвиста особенно важно, что в письмах данные такого рода исходят непосредственно от конкретных носителей древнерусской речи, тогда как в составе повести аналогичные данные характеризуют ее отвлеченного, обобщенного носителя, хотя бы и воплощенного в определенном персонаже. В первом случае рассматриваемые данные, можно сказать, документальны, во втором они более или менее относительны и в хронологическом и в географическом аспектах, а также и в смысле принадлежности определенному кругу носителей древнерусского языка.

В группе слов интимно-обиходного употребления встречаются уменьшительно-ласкательные образования — собственные и нарицательные названия лиц — вроде *Івашенко*, *Парашенка*, *Петрунюшка*, *братец*, *батюшка*, *матушка*, *невестушка*, *детушки*, *куманек*, *кумушки* и т. д. Этим материалы частной переписки, между прочим, отличаются от деловой письменности, где уменьшительные образования — названия лиц выступают обыкновенно с уничижительным значением либо в качестве нейтральных, вообще лишенных какой бы то ни было эмоциональной окраски. Далее, в отличие от деловых текстов, переписка семейного характера представляет не только уменьшительные формы от собственных имен — названий лиц, но и от нарицательных. Если к этому добавить наличие в ней и других уменьшительных образований (названий неодушевленных предметов), значение частной переписки как источника для изучения категории субъективной оценки в древнерусском языке едва ли можно переоценить. В грамотки попадали, впрочем одинокие, элементы лексики и фразеологии также интимно-обиходного круга, и из области русского народного творчества. Например, невестка писала свекрови: «поздравляю теб | светъ мои Настаса Івановъна» (ИРЯЗ, ф. 3, № 1, л. 85). К И. С. Ларионову обращались с такими словами: «свѣту моему | и шутушке Семе-

новічю я свет моі на | Москвѣ... а ты свѣт моі пи | ші ко мнѣ ... а от меня вам всѣмъ свѣтом моим | мир и блгоденство» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 30). Ср. широкую употребительность ласкательного обращения *свет* в народных песнях и былинах. В одном из писем читаем: «своі своему понѣволи другъ бывает» (ИРЯЗ, ф. 3, № 1, л. 67). Ср. старую пословицу: «Свой своему поневоле брат». Попавший в бедственное положение иконописец заключает: «всякъ дивится чем мы живимся» (Калужский краевед. музей). Ср. представленное у Даля: «Богатый дивится, чем бедняк (убогий) живится — ан убогому бог дает» [3]. Непочтительный племянник упрекает дядю: «ко мнѣ к одном8 не пожаловал рыбки не ізволил | прислат не рыба та гсдрь мнѣ дорога дорого мне твое | приятство» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 5). Ср. параллель: «Не дорог подарок, дорога любовь». Таким образом, частная переписка дает известный материал и для суждений о влиянии языка фольклора на слог эпистолярного жанра того времени. Рассеянные в ней, хотя и редкие, элементы фольклорной фразеологии служат необходимым дополнением к старинным сборникам пословиц и поговорок: если в сборниках они выступают вне контекста, то в частной переписке — не изолированно, а в типичных для них речевых ситуациях, что для уяснения их смысла и выяснения степени фразеологизации представляется весьма существенным.

Обиходной тематикой многих писем обусловлено наличие в них названий домашней утвари, одежды, украшений, пищи и т. д., т. е. слов, образующих ту обширную группу лексики, которая в иных древнерусских памятниках, за исключением разве росписей, либо вовсе не находит отражения, либо встречается в виде случайных, сравнительно редких вкраплений. В отличие от росписей животам или пожиткам в письмах слова этой группы являются не в виде номинативных перечней, а в естественных условиях повседневного употребления и, таким образом, не в одной, а в разных падежных формах. Этим и определяется в рассматриваемом случае значение материалов частной переписки для исследования склонения имен существительных, помимо само собой разумеющегося значения подобных материалов для лексикологических наблюдений. Следует также отметить, что преимущественно данной группой слов представлена категория субъективной оценки (в виде уменьшительных образований) в кругу нарицательных имен существительных и категория вещественности. Если отражения второй (*пуд воску, бочка дехтю* и т. п.) нередки в старой официальной письменности делового содержания, особенно в книгах таможенного дохода, то уменьшительные существительные, именно нарицательные, в других категориях памятников, исключая произведения художественной литературы, либо малоупотребительны, либо вовсе не встречаются. Употребление таких уменьшительных образований в грамотках обыкновенно связано с многочисленными просьбами об уступке или покупке или дарении чего-нибудь, с подчеркиванием бедственного положения просителя, а также нейтральным, не окрашенным эмоцией, упоминанием малых реалий. Примеры дают об этом наглядное представление:

«Велите пожаловат дат сенца и соломки» (ГИМ, ф. 253, № 39, л. 63); «пожалуі прикажи ко мнѣ прислат по млсти | своі на пива солодку» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 41); «пожалуі пришли к именином моимъ вхляжечку водочки» (там же, л. 42); «я в Синбирску в печалех своих жив... за грехи на Мос | кве дворишка погорель без остатку | и животишка все» (ГИМ, ф. 253, № 39, л. 20); «не даі вконецъ pasa | ритца которои гсдрь наши по силы | нивишки были і ты у насъ оттымают» (там же, л. 91);

[3] В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, I, 2-е изд., СПб — М., 1880, стр. 554.

«лека*р*ствы... в скляночка*х* | запечатаны печа*т* травочка в не*и* клеімо» (там же, л. 19).

Рассматриваемая группа лексики — названия предметов, частью не имевших всеобщего распространения и известных только в определенной этнографической среде — привлекает далее внимание тем, что в сопоставлении с подобной группой слов в современных народных говорах она помогает уточнить исторические границы отдельных русских диалектов и проследить эволюцию значений некоторых слов за последние три столетия, с одной стороны, а с другой, определить, хотя бы и приблизительно, локальную принадлежность памятников письменности, в которых слова этого рода могут быть отмечены. К числу таких названий относим, например, следующие: «берестен» (ГБЛ, ф. 161, л. 10124 об.); «ко*н*тар» (там же, л. 10137); «замашечки» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 157 об.); «бро*д*ники» (там же).

Частная переписка гораздо подробнее, нежели официальная деловая письменность, знакомит с производственными процессами, с хозяйственной деятельностью людей; заключенная в ней лексика сельского хозяйства и ремесла является более разнообразной, чем соответствующая лексика в деловой письменности. Особенно выделяются в этом отношении конкретные грамотки сельских старост и выборных крестьян с описаниями хозяйственных операций, учетом оброчных повинностей и барщинного труда. Упомянутые грамотки вводят нас до известной степени в специализированную лексику, иногда сближающуюся с терминологической. Сравнение грамоток с иными источниками приводит к заключению, что в них рассматриваемая группа лексики более детализована. Интересна и другая особенность грамоток: не ограничиваясь сухим изложением дел, старосты и крестьяне иногда повествуют о связанных с этими делами коллизиях узко житейского характера, сопутствующих обстоятельствах и т. д.

Так, один «старостишка» жалуется барыне: «три ка*т*ки кап8сты секли семъ | днеі какаѧ гсдрнѧ работа | а прикащи*к* с ними патакает | за одна... свои*х* ут*ат* гсдрнѧ ѡнъ | прикащи*к* приелъ да вместа сво | и*х* наметилъ твои*х* баѧрских | петеры*х* утак а мнѣ сказали | хажелъницы про то дело... а гаварить гсдрнѧ нельзе брани*т* и к8кишы | кажет и в бород8 плюе*т* и всѧч8|н8 сари*т* о*н* прикащи*к* ис твоева | дом8 баѧ*р*скава» (ГИМ, ф. 253, № 39, л. 43—43 об.). Ромашка Татаринов пишет: «а ѧ ево Демида ноне посади*л* в ызб8 жить ко Херо|лькино*і* матери і онъ завладе*л* тремя углами потаму что | у нево скотины многа а ваш8 боя*р*скою скотин8 стесни*л*» (там же, л. 46).

Безыскусственная лексика жанровых сюжетов наподобие приведенных (их в письмах немало) — редкостный материал для наблюдений над самой «глубинной» струей народной речи, струей, как правило, не отражаемой ни в каких других памятниках, за исключением разве необыкновенно редких случаев в судебных делах. В ряду некоторых иных источников этого времени (скажем, книг таможенного дохода или росписей животам) отчетные грамотки из поместий и вотчин дают обстоятельные сведения по лексике метрологии, главным образом метрологии экономического характера.

Лингвистические данные частной переписки могут внести коррективы в традиционное представление о сферах употребления и взаимоотношении русского и церковнославянского языка в XVII в. Обыкновенно в первом усматривают лишь функции народно-разговорного, а второй отождествляют с книжно-литературным. При этом нередко ссылаются, например, на свидетельство Лудольфа, которое, однако, вряд ли подтверждает такую дифференциацию. Вот что читаем в его «Русской грамматике»: «Но точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать по на-

учным вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот,— в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» [4]. Последняя фраза Лудольфа едва ли допускает буквальное толкование. Насколько позволяют судить об этом и деловая письменность и материалы частной переписки XVII в., с одной стороны, существовали уже довольно значительные элементы книжного языка и вне церковнославянской сферы; с другой стороны, в недра живой народной речи, отраженной в безыскусственной бытовой переписке, проникали определенные элементы из области церковнославянского языка, например из его фразеологии.

Характерно подобное фразеологическое оформление зачинов, иногда и заключений писем с пожеланиями здоровья и благополучия адресатам, выражением нарочитого смирения перед ними. Это фразы, или просто заимствованные из произведений церковной литературы, или сложившиеся в условиях русского языка под ее воздействием. Колоритных и, более того, витиеватых образцов такой фразеологии, связанных с нормами поведения и обхождения того времени, принятыми в привилегированной среде, можно привести немало. Вот несколько в известной мере стандартных вариантов.

«Гсдрю моему млстиво*му* батюшк8 Ѳеѡдоту Димитриевичю снъ тво*і* | Савва падъ пре*д* чстными твоими | ногами блгословения твоегѡ оте | ческагѡ прося много челомъ бью до ли | ца земнаго здравие твое да сохранитъ | вседо*р*жащая десница вышняго бга і впредьид8 щия на лѣта многа» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 11); «Гсдрю мое*му* млстивому приятелю брату Ивану ѡндрѣевичю па*д* подножию твое*му* Улянко Ковѣзи*н* | чело*м* бье*т* |многолѣтно гсдрь *здравствуи* со *вс*ѣми своими ближни приятели и *з* благочести | вы*м* свои*м* праве*д*ны*м* домо*м*» (ГБЛ, ф. 161, л. 10138); «Гсдрю добросро*д*стве*н*ному ко мнѣ | се*р*доболю и бли*ж*нему | приятелю Ивану Андрѣевичю то*т*ка твоя Афонасева же | на Логиновича Пелагѣя чело*м* бью здра*в*ствуи Ива*н* Ѳндрѣ | евич сь се*мею* своею и *з* де*т*ми на многия лѣта и бу*д* | покрове*н* десницею вышняго со всѣ*м* свои*м* блгода*т* | ны*м* домо*м*» (там же, л. 10127). «Гсдрю моем8брат8Ѳедору Ма*з*имовичю Вас[ка Че] | лищевъ чело*м* бье*т* подаі гсдь бгъ тебѣ гсдрю мое*му* | многоле*т*ная здоро*вя* і вься благая» (ЦГАДА, ф. 214, № 843, л. 6); «Приятел мо*і* Андре*і* Никитич умножи гсди лѣ*т* живота | твоего со всеми тобою о*дер*жи | мыми» (ГИМ, ф. 253, № 39, л. 21).

Необыкновенное обилие представленных в письмах вариантных написаний свидетельствует о колебаниях в орфографии, а также о чрезвычайно большом количестве отклонений от орфографии той эпохи в сторону произношения, характерного для лиц, не обладавших достаточной выучкой, которые писали грамотки,— иными словами, об особой близости переписки к живому народному языку. В этом отношении с частной перепиской не выдерживают сравнения никакие другие категории древнерусских источников, за исключением разве крайне редких записей народных песен XVII в. Заслуживает быть отмеченным не только изобилие отклонений от правописания в частной переписке, но и самый характер этих отклонений: в ней в противоположность всем иным источникам местного происхождения, например деловой письменности, наблюдаем заметное увеличение прямых отражений русской фонетики и, напротив, некоторое уменьшение ее отражений косвенных, как известно, обязанных своим появле-

[4] «Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика, Оксфорд, 1696», переизд., перевод, вступ. ст. и примеч. Б. А. Ларина, Л., 1937, стр. 114.

нием слишком усердной ориентации более подготовленных писцов на орфографические нормы. Наблюдение это основано главным образом на отражениях в письме безударного вокализма. Письма, в которых отозвалась южновеликорусская стихия, не свободны даже от таких резких проявлений яканья, какие во многих других текстах того же времени и локально сопоставимых либо вовсе не встречаются, либо встречаются значительно реже. Характер отражения в древнерусском письме системы безударного вокализма обусловливается не только этой системой, но и определенным соотношением графики и фонетики. Влияние последнего в частной переписке сказывается слабее, чем в других по месту и времени сопоставимых категориях источников. Поскольку вследствие этого в материалах частной переписки отражение безударного вокализма более непосредственно, именно ее соответствующие данные позволяют более уверенно судить, нежели данные других источников, о строе безударного вокализма в средневеликорусской и южновеликорусской областях XVII—XVIII вв.

Относительно свободные от правописных традиций грамотки содержат любопытные сведения по ударному вокализму, например, о произношении гласного звука, который обозначали буквой *ѣ*, а также об обусловленной различными причинами сильной лабиализации *о*.

Если обратиться к консонантизму, то здесь выступает такая редкостная особенность части русских говоров, как глухость согласных вместо звонкости и значительно реже, наоборот, звонкость вместо глухости вне условий ассимилятивного оглушения или озвончения: «посла*л* е*з*токо*в*» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 40); «два*т*ца*т* земъ а*лт*н*ы*» (там же, л. 93); «тое ломпата отдана» (ГБЛ, ф. 221, к. III, № 30, л. I об.). Фонетическая природа подобных фактов получает подтверждение в аналогичных, впрочем довольно редких, случаях современного диалектного произношения, которое иногда объясняют аналогией, скажем, *лампата*, потому что в род. падеже мн. числа произносится *лампат*. В переписке данное явление выступает достаточно заметно и, что особенно важно,— частью в положениях, которые вовсе исключают влияние аналогии. Таким образом, в этих написаниях можно усматривать явление органическое, а не аналогического происхождения.

Согласно привычной точке зрения отвердение шипящих в русском языке произошло в XIV—XV вв. Сведения, извлекаемые из частной переписки, говорят о мягкости шипящих в значительной зоне русского языка в более позднее время. Если некоторые поздние написания, скажем, *жю* и *щю* в Уложении 1649 г. еще можно объяснить орфографической традицией, подобные написания в частной переписке могут быть фонетически доказательными.

В некоторых написаниях нешипящих согласных и неаффрикат можно подозревать отражение какого-то отличного от современного состояния в области мягкости — твердости: «дла ради зе*м*ли | ного дѣла» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 24); «тебѣ весно чин8» (там же, л. 66), ср.: «весно тебѣ чиню» (там же); «денги | до мена... дошли» (ГБЛ, ф. 161, л. 10134).

В грамотках южновеликорусского происхождения обильны случаи взаимной мены *у* и *в* — свидетельства *в* губно-губного образования или *у* неслогового.

Многочисленны отражения ассимилятивного оглушения и озвончения согласных. Из написаний, которые говорят об оглушении звонких в конце слов, отметим, в частности, появление *х* на месте буквы *г*, что указывает на фрикативное образование *г* в соответствующих говорах. Заметнее, чем в иных источниках, в переписке находят отражение, впрочем единичные, и факты межслоговой ассимиляции согласных. Следы произношения соче-

тания *чн* как *шн*: «нарошного | члвка» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 52); «пор8шная (запись)» (там же, л. 152); «Авдо*т*и | Илини*ш*ны» (ГБЛ, ф. 221, к. III, № 15, л. 1); «шапошни*к*» (там же, № 20, л. 3) и т. д., — отмечаемые в грамотках немосковского происхождения, позволяют ставить вопрос о пересмотре известного в литературе предположения об этом произношении в старину как явлении типично московском, получившем впоследствии при посредстве литературного языка распространение на территории северновеликорусских и южновеликорусских говоров [5].

Нет возможности упоминать об иных явлениях консонантизма, выразительные отпечатки которых донесли до нашего времени материалы частной переписки. Достаточно сказать, что их довольно много. В этом смысле показания частной переписки до некоторой степени можно сравнить с современными диалектными записями.

Отмечая преимущество частной переписки как лингвистического источника, следует в то же время учитывать, что вследствие, по-видимому, определенных соотношений между графикой и фонетикой и по другим причинам отдельные фонетические явления едва ли могут получить в ней соответствующее отражение. Характерно, скажем, что распространение на западе южновеликорусского наречия произношения *ш'* на месте *ч'* почти не устанавливается по данным грамоток, в которых отразились особенности говоров указанного края [6]. Аналогично положение и для *с* на месте *ц* — явления довольно заметного в южновеликорусских говорах.

Морфологический строй русского языка отложился в частной переписке со всем богатством локальных вариантов; в единичных случаях, обычно в составе фразеологии, представлены и стилистические варианты. Так, при нормальных для той поры формах пред. падежа ед. числа с основой на задненёбные, в застывшем церковном выражении встречаем пред. падеж ед. числа с переходным смягчением задненёбных: «о бозе радоваться». В переписке явственно прослеживаются и некоторые общерусские морфологические процессы, вроде, скажем, постепенной смены форм дат. падежа мн. числа на *-ом* формами на *-ам*, например: «вели... крестьяномь» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 163), ср.: «вели... дв8*м* чело векамъ» (там же), ср. еще: «ну*ж*да крестьяни*ш*ка*м* мои*м*» (ГБЛ, ф. 221, к. III, № 27, л. 1); твор. падежа мн. числа на *-ы* формами на *-ами*, например: «с первыми крестьяны» (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 163), ср.: «с норочитыми ѣздаками» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 48 об.); пред. падежа мн. числа на *-ех* формами на *-ах*, например: «в пос | ле*д*ни*х* числе*х*» (ГБЛ, ф. 221, к. III, № 27, л. 1); ср. «на дву колеса*х*» (ГИМ, ф. 440, № 375, л. 26) и т. д. Представленная в более разнообразном, нежели в приказной письменности, лексическом составе, эта смена в переписке может быть исследована не только в собственно грамматическом аспекте, но и в более широком — в связи с процессами лексико-семантического и стилистического плана.

Для выявления собственно грамматических изменений материалы частной переписки по сравнению с этой письменностью также более перспективны. Вследствие их отнесенности к определенным, конкретным авторам или писцам, писавшим грамотки с их слов, и вследствие узко личного характера эпистолярной информации, в них несколько увереннее можно вычленить те морфологические новшества, которые обязаны своим появлением именно грамматическим процессам, а не опосредствованному воздействию моментов внешней истории языка, например инодиалектным влияниям, книжности и т. п. Зарождаясь в устной народной речи, новые формы вторгались затем в область письменного языка; при этом частная переписка, в силу своей специфики, оказывалась к ним особенно восприимчивой.

[5] См., например, П. Я. Черных, Язык Уложения 1649 года, М., 1953, стр. 235.
[6] См. С. И. Котков, К изучению орловских говоров, Орел, 1952, стр. 48.

Устанавливаемую по данным частной переписки хронологию новых явлений в сравнении с той, которая намечается по другим современным ей источникам, можно поэтому считать наиболее реальной. Значение этого факта довольно существенно, если учесть, что даже относительно поздняя история русского языка имеет своим основанием преимущественно относительную, а не абсолютную хронологию.

Мы коснулись проблемы абсолютной хронологии в морфологическом аспекте не случайно: становление современного морфологического строя русского языка и в его говорах и особенно в его литературной форме протекало в значительной степени в рассматриваемую эпоху. В области фонетики, развитие которой в указанную эпоху не обнаруживает более или менее существенных сдвигов, по крайней мере в говорах, установление абсолютной хронологии тех или иных явлений по данным письменных памятников менее перспективно.

Привлечение данных эпистолярной письменности южновеликорусского происхождения особенно важно для выяснения такого спорного вопроса, как оформление род. падежа мн. числа полных прилагательных и местоимений на почве южновеликорусских говоров в национальный период развития русского языка. Согласно традиционной точке зрения, род. падеж мн. числа на *-ово* представляет собой принадлежность исключительно неюжновеликорусских говоров, южновеликорусским признается только *-ого*. Наличие форм на *-ово* в деловой письменности южновеликорусского происхождения сторонники этой точки зрения считают недоказательным, объясняя их присутствие в названных памятниках ориентацией писцов на приказную норму. В то же время не отрицается доказательность в этом случае свидетельств интимно-бытовой переписки. Написания рассматриваемых форм род. падежа мн. числа в переписке подобного рода могут склонить к пересмотру традиционной точки зрения.

Введение в научный оборот заключенных в частной переписке сведений об употреблении глагольных форм поможет более четко дифференцировать в сфере этой категории элементы книжной речи от тех, которые в ту эпоху равно обслуживали и книжную речь и устное общение.

Материалы частной переписки расширяют представления о словообразовательных возможностях русского языка в прошлом. Помимо широко представленных в ней уменьшительных образований, ср. также, например, формы: «*от*ъездки» — род. падеж ед. числа (ГИМ, ф. 88, № 13, л. 73), ср. *отъезд*; «о прав*ед*ке» (там же, л. 93) от *проведать*; «любит*ел*ную» (там же, л. 76); «посрочнить» (там же, л. 82), ср. *срок*; «без*сор*но» (без ссоры) (там же, л. 93 об.).

Располагая известным кругом работ по синтаксису летописей, древнерусских грамот и некоторых других категорий источников, история русского языка пока в сущности не имеет синтаксических исследований, опирающихся на материалы частной переписки, что легко объясняется и относительно редкой ее сохранностью, и фрагментарностью ее публикаций. Между тем в сравнении со многими другими старыми источниками она обладает особым достоинством и в синтаксическом отношении: меньшей степенью нормативности. Это обстоятельство благоприятствует исследованию глубинного, протекавшего в народно-разговорной сфере процесса формирования свойственных национальному языку синтаксических отношений. Недостаточной исследованностью древнерусского синтаксиса, особенно XVI—XVIII вв., объясняется едва ли не обычное в работах по истории русского языка отсутствие необходимой дифференциации между синтаксическими явлениями, которые были характерны для простой, народной речи, и явлениями, характерными для книжного языка. Обогащение известного круга источников материалами частной переписки служит существенной предпосылкой проведения такой дифференциации.

Сравнение извлекаемых из переписки сведений с современными диалектными позволяет проследить изменения в синтаксисе русских народных говоров за последние три столетия и вносит существенные поправки в некоторые традиционные представления. Так, наличие в южновеликорусских грамотках конструкции «им. падеж на *-а* при инфинитиве» не оставляет сомнения в том, что исторически названная конструкция равно принадлежала и северно- и южновеликорусской областям.

Материалы частной переписки представляют особенно большие возможности для наблюдений над прямой речью и, поскольку нередко изобилуют эллиптическими построениями, для исторического исследования неполных предложений. Взаимодействие прямой и косвенной речи в старинном русском языке еще не подвергалось обстоятельному исследованию. Своеобразное переплетение в некоторых письмах той и другой речи может служить надежной основой для подобного исследования. В свете данных частной переписки XVII — начала XVIII в., по-видимому, нуждается в известном пересмотре категорическое определение косвенной речи как одной из наиболее искусственных конструкций литературного языка, до сих пор остающейся по существу явлением книжным [7].

Формирование в масштабе предложения тех новых отношений, которые определяют его современную специфику, естественно, было связано с соответствующими преобразованиями в типологии словосочетаний. Надо сказать, что и эти процессы применительно к начальной стадии сложения русского национального языка недостаточно изучены, а в языке частной переписки и вовсе не исследованы.

В обстоятельном исследовании нуждаются представленные в языке писем синтаксические функции союзов и предлогов. Здесь много интересного. Имеются существенные данные, необходимые для установления абсолютной хронологии протекавших в этой сфере изменений. Прослеживаются синтаксически обусловленные процессы преобразования отдельных предложных словосочетаний в наречия, например *по том* в *потом* и др.

Нельзя не отметить и историко-литературную ценность рассматриваемых материалов, особенно для изучения процесса демократизации художественной литературы, фольклоризации ее языка, развития ее стилевых особенностей. Бесспорно значение таких материалов и в общеисторическом плане: они дают конкретное представление об острых социальных коллизиях, экономических отношениях, бытовом укладе и духовной жизни широких кругов русского населения того времени.

Успешное решение центральных проблем истории русского национального языка едва ли не в равной степени зависит как от совершенствования методов исследования, так и значительного расширения материальной базы исследования, при этом не только в количественном, но и в качественном отношении. В данном смысле аннотируемая переписка является источником первоклассным. Отсюда ясно, насколько важно издание подобных материалов — замечательных источников по истории русского национального языка и его народно-разговорной основы. Начало работы в этом направлении положено в Институте русского языка АН СССР — автором этих строк и Н. П. Панкратовой подготовлено к печати 500 писем второй половины XVII — начала XVIII в.

Необходимо провести тщательное обследование центральных и периферийных хранилищ с целью выявления новых источников и их лингвистической публикации.

---

[7] См. Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, II, 4-е изд., Киев, 1953, стр. 374.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

М. А. КУМАХОВ

О СООТНОШЕНИИ МОРФЕМНОГО СТРОЕНИЯ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

(К вопросу о границах применения метода непосредственно составляющих)

В связи с возросшим интересом к изучению структуры слова в языках различных морфологических типов внимание исследователей привлекает вопрос о соотношении морфемного строения слова и словообразования[1]; этот вопрос затрагивается и при дескриптивном анализе языка посредством метода непосредственно составляющих (immediate constituens; НС), используемого, как известно, при анализе языковых единиц, относящихся к различным уровням[2]. Членение морфемной структуры слова по НС имеет те преимущества перед традиционным анализом морфологического строения слова, что в отличие от последнего анализ по НС дает не только линейную картину морфемного строения слова, но и выявляет нормы словообразования, расчленяет целое и одновременно устанавливает принципы синтезирования и моделирования.

Анализ по НС может дать положительные результаты при разработке проблем словообразования тех языков, которые характеризуются многоморфемной структурой слова. Так, в адыгских языках при неподвижности порядка расположения морфем внутри слова вполне возможной оказывается перегруппировка морфем в процессе членения слова. Членение слова можно начать с его начальной или конечной морфем, поскольку внутри слова одна морфема в сочетании как с последующим, так и с предшествующим отрезком составляет самостоятельную, функционально значимую и бинарную по своей структуре единицу. Например, при синхронном морфемном анализе в кабард. *вэныбжъэгъуыгъэ* «взаимная дружба» четко выделяются границы между морфемами этого слова. Можно предложить по крайней мере два различных способа членения данного многоморфемного слова: 1) *вэныбжъэгъуыгъэ* = *вэ* + *ныбжъэгъуыгъэ* «взаимная дружба», *ныбжъэгъуы* + *гъэ* «дружба», *ныбжъэ* + *гъу* «друг, товарищ», *ныбжъ*(*ы*) «возраст»; 2) *вэныбжъэгъуыгъэ* = *вэныбжъэгъуы* + *гъэ* «взаимная дружба», *вэныбжъэ* + *гъу* «друзья», *вэ* + *ныбжъ* «сверстники», *ныбжъ*(*ы*) «возраст». В результате членения четырехморфемной основы этими двумя способами получается несколько (всего шесть) самостоятельных и бинарных по своей структуре единиц, причем каждая из них образована по определенной модели и выступает как основа производного существительного. Тем не менее ни один из этих двух способов «интуитивной» сегментации не отражает последовательности многоступенчатого словообразовательного процесса. Дело в том, что словообразовательное строение многоморфемных слов данного типа определяется сочетаемостью отдельных морфем. Анализируемое слово следует разложить следующим образом: *вэныбжъэгъуыгъэ* = *вэныбжъэгъу*+*гъэ* «взаимная дружба», *вэ* + *ныбжъэгъу* «друзья», *ныбжъэ* + *гъу* «друг, товарищ». Синхронное членение на этом заканчивается, хотя в диахронном плане выявляется еще четвертая модель *ны* + *бжъ*(*ы*), которая, однако, не имеет ценности при анализе по НС. Такая последовательность членения слова *вэныбжъэгъуыгъэ* обусловлена сочетаемостью одной из составляющих его морфем — *вэ-*. Последняя образует модель обычно в сочетании с единицами типа *ныбжъэгъу* «товарищ», а не в сочетании с единицами типа *ныбжъэгъуыгъэ* «дружба, товарищество» (ср. *вэ* + *мелъхъэгъу* «свояки, мужья сестер», *вэ* + *ныбэгъу* «невестки, жены братьев», *вэ* + *гъуынэгъу* «соседи»).

---

[1] См, например, Н. Д. Арутюнова, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, М., 1961, стр. 3—20; К. А. Левковская, Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала, М., 1962, стр. 206—210.

[2] В статье Н. Д. Арутюновой и Е. С. Кубряковой «Проблемы морфологии в трудах американских дескриптивистов» (сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961) кратко рассматривается метод НС в той части, в какой он вводится в анализ слова. Однако авторы ограничиваются общими замечаниями относительно анализа морфемной структуры слова по НС.

Анализ по НС помогает выявить словообразовательное и морфемное строение и других типов многоморфемных слов. Так, вопреки утверждению последней описательной грамматики литературного кабардино-черкесского языка [3] слово *гъуэгунэпIшIэуыдэ* «спорыш» (бот.) образовано не одновременным соединением существительных *гъуэгу* «дорога», *напIшIэ* «обочина», *уыдэ* «трава», хотя в морфемный состав данного слова входят основы этих существительных. Разбираемое слово состоит не из трех слов, а из двух НС: а) *гъуэгунэпIшIэ* + *уыдэ* (буквально «обочина дороги + трава»); б) *гъуэгу* + *напIшIэ* (буквально «дорога + обочина»). Правда, в отношении абхазско-адыгских языков, в которых сложение основ нередко сопровождается не только аффиксацией, но и другими явлениями, затемняющими синхронные взаимоотношения между элементами основы, для всестороннего исследования структуры слова и словообразования необходимо на морфемном уровне сочетать метод анализа по НС с методом трансформационного анализа. Если анализ слова *гъуэгунэпIшIэуыдэ* по НС ясно показывает соотношение его морфемного и словообразовательного строения, то при анализе слов других типов наиболее эффективным оказывается трансформационный метод. В этой связи отметим только, что применение трансформационного метода на морфемном уровне не только способствует выяснению синхронных взаимоотношений между морфемами, входящими в состав слова, но и выявляет факты, относящиеся к диахронии. Так, например, слова *гъуэгуырыкIу* «путник» и *гуырыт* «средний» относятся к модели «основа существительного + элемент *ры* + основа глагола». Трансформационный анализ этих слов показывает, что элемент *ры-* в слове *гъуэгуырыкIу*, в отличие от элемента *ры-* в слове *гуырыт*, восходит к глагольному словообразовательному префиксу *ры-*.

Признавая, что анализ по НС (как и другие структурные методы лингвистического анализа) позволяет с большей полнотой выявить взаимосвязь между элементами, составляющими морфемную структуру слова, и разграничить разные способы образования слов (например, сложение, сложно-аффиксальный способ и др.) [4], не следует, однако, преувеличивать значение этого метода при решении вопроса о синхронном соотношении словообразовательного и морфемного строения слова. Метод НС как один из способов членения языковых единиц на морфемном уровне применим только к определенным типам производных слов.

Отождествление морфемного и словообразовательного строения слова в ряде работ по словообразованию и в описательных грамматиках объясняется тем обстоятельством, что морфемное и словообразовательное строение слова нередко совпадает (хотя нередки случаи, когда морфемное строение слова не соответствует его словообразовательной модели [5]). Так, в адыгских языках слово *тхэчIэ* «манера писать» состоит из двух морфем: корня *тхэ-* (*тхэ-н* «писать») и суффикса *-чIэ*. Синхронный анализ морфемного состава слова *тхэчIэ* выявляет одновременно и его словообразовательное строение, точно так же как морфемное строение кабард. *щIыпIэ* «местность» (*щIы* «земля», *пIэ* «место») отражает его словообразовательную модель. Отсюда естественно сделать следующий вывод: когда все значимые элементы слова (корневые и аффиксальные морфемы) непосредственно участвуют в его образовании, принципы анализа морфемного и словообразовательного строения слова оказываются тождественными.

В этом смысле представляется несколько категоричным вывод Г. Марчанда о том, что «...дескриптивный анализ слов и релевантность в системе деривации не одно и то же» [6]. Это мнение разделяет Н. Д. Арутюнова, полагающая, что всегда «синхронное изучение строения слова (точнее его основы) и словообразования опирается...

---

[3] См. «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка», М., 1957, стр. 55.

[4] См. об этом L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 209—210. Заметим, что при синхронном анализе языка часто смешиваются различные словообразовательные модели. В частности, во многих описательных грамматиках языков народов СССР в разделе, например словосложения, рассматривается не словосложение как способ словообразования, а морфемный состав сложных слов, образованных различными словообразовательными способами.

[5] Общепринятые в традиционном языкознании определения таких терминов, как «приставка», «суффикс», «основа», зачастую опираются именно на тождество словообразовательных и морфологических категорий и не учитывают случаев, когда эти явления отличаются друг от друга. В школьных и нередко научных грамматиках адыгских (и не только адыгских) языков приставка, например, определяется как «часть основы, которая стоит перед корнем и служит для образования слов» (Елберд Хь., Тлажь Ш., Адыгэбзэ учебник, Налшык, 1954, стр. 18). Не говоря уже о том, что с помощью приставки образуется не только новое слово, но и форма слова, такая дефиниция применима только к словам типа кабард. *хэдыч-Iын* «вышивать» и не охватывает слов типа кабард. *хэдычI* «вышивка», включающих в свой состав словообразовательную приставку, но образованных без помощи этой приставки.

[6] H. Marchand, Synchronic analysis and word-formation, «Cahiers F. de Saussure», 13, 1955, стр. 12.

на разный морфологический материал» и «основывается на совершенно разных принципах»[7]. На наш взгляд, между синхронным изучением образования и морфемного строения слов типа *тхэчIэ* «манера писать», *шIыпIэ* «местность» не существует принципиальной разницы. Анализ морфемного строения этих слов приводит к выяснению словообразовательной модели и, наоборот, словообразовательный анализ позволяет установить их морфемный состав.

Метод НС при анализе слов, обнаруживающих тождество морфемного и словообразовательного строения, ничем существенно не отличается от традиционного синхронного анализа морфемной структуры слова. Основной же недостаток метода НС состоит в том, что он оказывается непригодным для выявления словообразовательных моделей многочисленных слов со сложными и аффиксальными основами, хотя по мнению дескриптивистов, анализ структуры слова по НС в первую очередь принимает во внимание модели и словообразовательные нормы языка.

Различия между морфемным и словообразовательным строением слова определяются прежде всего различием основообразования и словообразования. Если морфемный анализ слов типа кабард. *шIыпIэ* «местность» устанавливает словообразовательную модель этих слов, то иначе обстоит дело со словами типа кабард. *гуыпсысэ-н* «думать». Слово *гуыпсысэн* включает в свой состав две корневые морфемы, функционирующие в языке самостоятельно: *гуы* «сердце» + *псысэ* «сказка». Членимость этого слова на две корневые морфемы, казалось бы, отражает его словообразовательную модель. На самом деле слово *гуыпсысэн*, имеющее сложную основу, образовано не путем сложения. С помощью сложения образована лишь производящая основа глагола *гуыпсысэн*, которая в иных синтаксических условиях функционирует также в парадигме имен существительных; ср. *мэ-гуыпсысэ* «он размышляет»; *абы и гуыпсысэ-м сехь* «меня угнетает мысль о нем». Как видим, словообразовательная модель глагола *гуыпсысэн* обусловливается не морфемной структурой основы глагола, а грамматической парадигмой и сочетаемостью основы глагола. Основа *гуыпсысэ* в синхронном плане принадлежит к двум парадигматическим классам, хотя исторически субстантивная парадигма предшествует глагольной парадигме. Иными словами, из двух именных основ образована полиморфная основа, которая может быть использована в двух разных парадигмах.

Метод НС не может выявить отношения морфемной структуры и словообразовательной модели слов типа *гуыпсысэ* «мысль», *гуыпсысэ-н* «думать, мыслить». То же самое нужно сказать о существительных типа адыг.-кабард. *теплъэ* «вид, внешность», которые с точки зрения их морфемной структуры состоят из двух компонентов — глагольной приставки + основы настоящего времени: *т(е)* — преверб (указывает на поверхность предмета) + *плъэ* — основа глагола *плъэн* «смотреть». Однако приставочные существительные рассматриваемого типа образованы не префиксальным способом. В данном случае префиксальным способом образована лишь глагольная основа: *теплъэ-н* «смотреть, взглянуть на поверхность чего»— *теплъэ* «вид, внешность».

При определении моделей и норм словообразования следует учесть, что морфологически однотипные основы далеко не всегда дают одинаковые типы производных слов. Так, в кабардинском языке в паре слов *макъуаэ* «косарь» — *макъуэуэ-н* «косить сено» вторичность глагола по отношению к имени очевидна. Но этого нельзя сказать о глаголах *лъэкъуэуэ-н* «бить ногами» (*ар мэ-лъэкъуаэ* «он бьет ногами»), *бжъэкъуэуэ-н* «бить рогами» (*мэ-бжъэкъуаэ* «оно бьет рогами»), *джэбгуэ-н* «бить по бокам» (*йоджэбгуэ* «он бьет по бокам»). Ср. морфологические однотипные основы разных разрядов слов: кабард. *еджакIуэ* «ученик», *хъуэкIуэн* «пастись», *шъакIуэ* «охота».

Основы глаголов *дэплъычIы-н* «смотреть откуда-либо», *дэчIийычIы-н* «кричать откуда-либо» с точки зрения морфемной структуры относятся к однотипным основам. Однако основа глагола *дэплъычIы-н* в синхронном плане принадлежит к модели «приставочная глагольная основа + морфема *-чIы*», а основа глагола *дэчIийычIы-н* не может быть отнесена к этой модели. В свою очередь, приставочная глагольная основа *дэ* + *плъы-* также является моделью, которая по своему значению выступает как синоним модели *дэплъычIы-*. В глагольной основе *дэчIийычIы-* морфема *-чIы* обладает выделимостью, но ни *дэчIийы* + *чIы-*, ни *дэ* + *чIийы-* не являются моделями. Это объясняется тем, что основа *дэчIийы-* в отличие от основы *дэплъы-* не имеет свободной сочетаемости, а связана с морфемой *-чIы*. Причины, обусловившие синонимичность моделей *дэплъы* + *чIы* и *дэ* + *плъы* — и соответственно различие в образовании однотипных основ,— коренятся в том, что морфема *-чIы*, сочетаясь с основами типа *дэплъы-*, *дэдэы-*, утратила свое значение и функцию, но продолжает сохранять их в сочетании с основами типа *дэчIийы-*. Ср. *дэплъы* + *чIы -н* = *дэплъы-н* «смотреть откуда-либо», *дэдэы* + + *чIы-н* = *дэдэы-н* «выбросить», *дэлъы* + *чIы-н* = *дэлъы-н* «выпрыгнуть», *дэуы* + *чIы-н* = *дэуы-н* «бить, ударить откуда-либо», но *дэчIийы* + *чIы-н*, *дэгуэуычIы-н* «кричать откуда-либо»; *дэпIийыIчIы-н* «торчать откуда-либо»; *дэтIы* + *чIы-н* «вырыть, рыть между чем-либо», *дэIуы* + *чIы-н* «звучать откуда-либо».

Синхронная словообразовательная модель типа *дэплъы-н* «смотреть откуда-либо», включающая в себя чередование корневых гласных *ы* : *э*, представляет собой, очевидно,

[7] См. Н. Д. Арутюнова, указ. соч., стр. 41, 48.

инновацию. Исходными для указанных моделей следует считать модели типа *дэпшъы* + + *чIы-н* «выползти», *дэпшъ/ы/* + *хъэ-н* «вползти». Исторически здесь были представлены прерывистые основы *дэ... чIы(н)* «выйти», *дэ... хъэ(н)* «войти», где морфемы *-чIы*, *-хъэ* являются корневыми элементами, в сочетании с превербами, образующими ряд прерывистых основ, которые включают в себя другие корневые морфемы.

То, что с точки зрения словообразования является целым и неделимым, с морфологической точки зрения оказывается членимым, составным. Различие это определяется не соотношением синхронии и диахронии (что, впрочем, всегда остается в стороне при анализе языковых единиц по НС), а дистрибуцией морфем, на которой зиждется рассматриваемый метод. Так, например, различие между синхронным словообразовательным строением слова и его морфемной структурой нередко обусловливается тем, что словообразовательная модель включает в себя производную аффиксальную морфему, состоящую из двух и более простых продуктивных морфем. При синхронном анализе словообразования кабардинских глаголов типа *чIэлъы-кIуэн* «идти вслед за кем/чем-либо», *чIэлъы-гуэуын* «кричать вслед за кем/чем-либо», *чIэлъы-дэын* «бросить вслед за кем/чем-либо» выделяется словообразовательный элемент *чIэлъы-*; это обусловливается тем, что компоненты *чIэ-* и *лъы-*, составляющие этот аффикс, в отдельности не сочетаются с основами глаголов типа *кIуэн* «идти», *гуэуын* «кричать», *дэын* «бросить». С морфологической же точки зрения членение *чIэлъы-* на *чIэ-* и *лъы-* вполне оправдано, поскольку в языке имеются продуктивные модели типа *чIэрыхын* «снять, очистить с чего-либо», *лъыхын* «снять с ноги»: морфемы *чIэ-* и *лъы-* по отдельности встречаются в сочетаниях с теми глаголами, к которым не присоединяется морфема *чIэлъы*.

Таким образом, если дескриптивный анализ слова указанного типа ставит целью выявление простейших значимых единиц и при этом остается в тени словообразовательная модель, то напротив, когда анализ направлен на выделение словообразовательной модели этих слов, в их составе выявляются не все простейшие значимые единицы.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что метод НС совершенно непригоден для анализа структуры слов, основы которых не поддаются дихотомическому членению, несмотря на их морфологическую членимость и прозрачность. Ведь рассматриваемый метод исходит из предположения, что производное слово, как и синтаксический отрезок, является по своей структуре бинарным и имеет определенный порядок напластования морфем. Между тем в языках, где корневая морфема способна сочетаться с целым комплексом основообразующих аффиксов, выражающих пространственные и местные отношения, побудительность, союзность, совместность, возвратность, возможность действия, дихотомическое членение морфемной структуры слова оказывается невозможным. Это можно показать на примере адыгейского глагола *къэ-гъэ-кIуэ-жьы-шъуы-н*—буквально: «суметь заставить идти обратно сюда» (*къэ-* — преверб в значении «сюда», *гъэ-* — префикс побудительности, *кIуэ* — основа глагола «идти», *-жьы* — суффикс возвратности, *-шъуы* — суффикс возможности, *-н* — суффикс инфинитива). В отличие от вышеприведенного имени *зэныбжъэгъуыгъэ* «взаимная дружба», основа глагола *къэ-гъэ-кIуэ-жьы-шъуы-н* образовывалась не в виде последовательного напластования морфем, хотя она и состоит из пяти морфем (*-н* не входит в состав основы). Из структуры основы глагола *къэ-гъэ-кIуэ-жьы-шъуы-н* свободно исключается любая аффиксальная морфема, а корневая морфема *кIуэ* регулярно соединяется с любой из четырех морфем, входящих в состав этого глагола. Ср. *къэ-кIуэ-жьы-шъуы-н* «сюда идти обратно суметь», *къэ-гъэ-кIуэ-жьы-н* «сюда заставить идти обратно», *гъэ-кIуэ-шъуы-н* «заставить суметь идти», *къэ-кIуэ-жьы-н* «сюда идти обратно», *къэ-кIуэ-н* «сюда идти», *гъэ-кIуэ-н* «заставить идти», *кIуэ-жьы-н* «идти обратно», *кIуэ-шъуы-н* «идти суметь» и т. д. В связи с этим отрицательно решается также вопрос о целесообразности применения метода НС при анализе личных форм многоморфемных глаголов.

Не представляется возможным расчленить на НС слова типа кабард. *нэпэIэлъэшI* «полотенце», хотя они совершенно прозрачны с морфологической точки зрения, и их можно разложить на две части — именную и глагольную: *нэпэ* (← *напэ*) «лицо», *Iэ* «рука» + основа глагола *лIэшIын* «вытирать». Но именная часть здесь представляет собой специальное объединение различных слов в этом многокомпонентном слове.

То же самое нужно сказать о моделях, образованных комбинированными способами. Не может быть речи о последовательном дихотомическом членении, например, производной основы общеадыгского глагола *зэ-плъэ-чIы-н* «оглядываться», поскольку с корневой морфемой *плъэ* (ср. *маплъэ* «он смотрит») отдельно не сочетается ни префикс *зэ-*, ни суффикс *-чIы* (невозможны образования: *зэплъэ*, *плъэчIы*). Не поддается дихотомическому членению также модель, образованная сложением с одновременной аффиксацией основы, ср. русск. *плодородие*, нем. *Machthaber*, адыг. *цIыкIу-цIыкIуыгъэ* «постепенно», кабард. *машIэ-машIэу* «понемногу», нивх. *кн'игаhумф* «этажерка».

Итак, применение метода НС, способного при учете действующих моделей языка отграничить синхронные типы образования слов от их морфемного строения, на морфемном уровне ограничено определенными типами производных слов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

ПАЛЕОЭСКИМОССКИЕ ТОПОНИМЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Проживавшие с древнейших времен на территории северо-восточной Азии племена не имели письменности, поэтому нам почти ничего или мало что известно об их этническом составе, языках и истории. Хотя формальное совпадение предметов материальной культуры древних палеоазиатов с такими же предметами материальной культуры эскимосов XIX и начала XX в. и является определенным доказательством эскимосской основы беринговоморской культуры побережья, однако этого внешнего тождества недостаточно для суждения о едином источнике. Между тем данные археологии могут оказаться весьма доказательными, если на помощь им привлечь факты языка. Одним из таких надежных лингвистических свидетельств является топонимика. Топонимы создаются на базе конкретного языкового материала по существующим в языке первых насельников данной территории словообразовательным моделям и устойчиво сохраняются в течение многих веков как собственные имена, без изменения (или с незначительными фономорфологическими изменениями) передаваясь от одного поколения другому, а часто — и от одного народа другому [1].

Основным массивом коренного населения Чукотского полуострова, особенно его глубинных районов, являлись чукчи, большинство которых до недавнего времени были кочевниками-оленеводами; часть же чукотского населения с давних времен вела оседлый образ жизни приморских охотников, причем, по мнению И. С. Вдовина, «оседанию на побережье моря континентального населения предшествовал бродячий образ жизни с сухопутной охотой» [2]. Данные топонимики показывают, что задолго до оседания отдельных групп кочевых племен чукчей, коряков и ительменов на североазиатском побережье Тихого и Ледовитого океанов оно было уже заселено и освоено многочисленным племенем оседлых приморских жителей, которыми были предки современных эскимосов и алеутов [3]. В качестве подтверждения своему выводу о том, что «по-видимому, тундренные охотники — предки чукчей и коряков, не образовывали своих постоянных поселений, а приселялись к эскимосским», И. С. Вдовин приводит знаменательный факт: «абсолютное большинство поселений по побережьям обоих океанов, ныне заселенных чукчами, имеет в основе своей эскимосские названия» [4]. На эту особенность береговой топонимики неоднократно указывал В. Г. Богораз, который дал список части населенных пунктов и этимологии некоторых из них [5].

Ниже мы даем лингвистическую интерпретацию отдельных эскимосских топонимов, которые приводятся также в чукотской и русской адаптации. Наиболее компактный ареал эскимосских топонимов наблюдается на беринговоморском побережье Чукотки [6]. Спорадически эти топонимы встречаются также на Камчатке.

Большинство топонимов, записанных нами, относится к названиям различных географических пунктов, гидронимов и древних эскимосских мест поселения, следы которых в виде многочисленных развалин полуземляных жилищ (*нын'лю*) сохранились по всему побережью Чукотского полуострова. При определении фономорфологической и этимологической сторон эскимосских топонимов учитывалось следующее: 1) топоним сохраняется в неизменной форме, если потомки создателей его продолжают жить на данной территории или если он устойчиво сохраняется в народной памяти (в устных преданиях, сказках и т. д.); 2) принадлежность топонима определен-

---

[1] См. Б. А. Серебренников, О методах изучения топонимических названий, ВЯ, 1959, 6, стр. 37.

[2] И. С. Вдовин, Эскимосские элементы в культуре чукчей и коряков, «Сибирский этнографический сборник», III, М.— Л., 1961, стр. 35.

[3] Ср. там же, стр. 36.

[4] Там же, стр. 49.

[5] В. Г. Богораз, Чукчи, ч. 1, Л., 1934; его же, Материалы по языку азиатских эскимосов, Л., 1949, стр. 32—34.

[6] К началу XX в., по сведениям В. Г. Богораза, эскимосских поселков на Чукотском п-ве всего было около 16; в настоящее время советские эскимосы в связи с укрупнением их коллективных хозяйств живут в 6 поселках — Нуннма, Новое Чаплино, Провидение, Сиреники, Уэлькаль, о. Врангеля. Всего советских эскимосов около 1100 человек.

ным носителям языка определяется как по лексическому значению корневой морфемы слова, так и по модели слова, если его значение утратилось в живом языке создателей; 3) усложнение топонима осуществляется фономорфологическими и лексическими средствами языка новых насельников данной территории; 4) название населенного или географического пункта на двух разных языках (при этом не исключено калькирование); 5) иноязычный по своему происхождению топоним приурочивается к той или иной словообразовательной модели заимствующего языка.

Лингвистический анализ эскимосских топонимов показывает, что они образуются только от назывной (исходной) формы слова, будь то именное или глагольное образование. Если топоним представлен именем, то последнее может иметь только форму абсолютного (им.) падежа ед., дв. или мн. чисел, а если это глагол или причастие, то только форму 3-го лица ед., дв. или мн. чисел. От каких-либо имен в косвенных падежах, а также притяжательных форм имен и иных личных форм глаголов топонимы не образуются. Недооценка указанных морфологических особенностей эскимосской топонимики может привести исследователи к ошибочным этимологиям. Так, например, В. Г. Богораз возвел эскимосский топоним *Нунама* к лично-притяжательной форме *Нунама*, что в его переводе означает «предел нашей земли» [7]. Однако лично-притяжательная форма слова *нунама* в действительности означает «моей земли», где основа *нуна* «земля», а *-ма* — лично-притяжательный суффикс 1-го лица ед. числа относительного (косвенного!) падежа, причем в указанной притяжательной форме ни одно эскимосское слово не может употребляться без относящихся к нему слов (например, возможно сочетание *ан'ьяма паман'а* «байдары-моей насос», но невозможно употребление в отдельности каждого из этих слов в притяжательной форме). Топоним *Нунама* следует рассматривать как сложное слово, состоящее из основы *нуна* «земля, страна» и *ма* «окружающая местность, окружающее пространство», что в сочетании означает «просторная земля, земля с открытым пространством». Хотя в современном эскимосском языке словосложение не сохранилось, но исторически процесс простейшего словосложения в этом языке осуществлялся (ср. *нык'лю* «землянка» от *ны* «место» и *лю* «внутреннее место; жилище»; *мана* указательное местоимение «этот, в окружающей местности», от *ма* «окружающая местность» и *на/ны* «место» и т. д.). Подобная этимология становится тем более достоверной, если учесть, что при образовании топонимов эскимосы широко использовали различного рода имена, обозначающие пространственные представления.

Первые эскимосские насельники побережья Ледовитого и Тихого океанов, как показывают этимологии, создавали топонимы и гидронимы, имея в виду нижеследующие признаки: 1) подобие чему-либо по форме (ср. *Югуаг'ыт* «подобие людей» — название м. Чукотского, мн. число от *Югуак'* «подобный человеку», где *юк* «человек», а *-уак'* — суффикс подобия: выступы скал на м. Чукотском по форме похожи на людей), 2) предназначенность данного места для чего-либо (ср. *сиклъюк* «склад мяса» — название о. Сиклюк и одноименного поселка на нем: по побережью о-ва, в местах древних поселений, имеется большое количество мясных ям, в которых эскимосы хранили зимние запасы мяса морских зверей), 3) природные богатства, которыми славится та или иная местность (ср. *Амьяк* «ракушка» — название древнего эскимосского поселка на о. Сиклюк: морской берег около этого поселка изобиловал ракушками), 4) материал, который используется для строительства в данной местности (ср. *Нывук'ак'* «дернистый» — название эскимосского поселка *Науканн* на мысе Дежнева: стены полуземляных жилищ в этом поселке возводились из каменных плит и дерна, служившего скрепляющим материалом), 5) пространственный признак (ср. *Нунама* — эскимосское название населенного чукчами древнего эскимосского поселка около залива Лаврентия), 6) признак межплеменных границ или мест сражений (ср. *Танн'ирит* «вражеские; иноплеменные» — эскимосское название гряды гор между б. Преображения и заливом Кресты [8]), и, наконец, 7) в качестве топонима использовалось нарицательное географическое или иное название (ср. *Тасик'* — эскимосское название бухты Ткачен от нарицательного *тасик'* «закрытая бухта»; *Нунак'* — название вымершего эскимосского поселка около м. Дежнева от нарицательного *нунак'* «поселок» и т. д.). В эскимосской топонимике совершенно не встречаются топонимы, образованные от терминов родства и от названий отдельных видов пищи, поэтому попытки подобной этимологизации древних эскимосских топонимов являются маловероятными [9].

---

[7] В. Г. Богораз, Материалы по языку азиатских эскимосов, стр. 33.

[8] Упоминание об этих горах имеется в героическом предании азиатских эскимосов «Виютку-предводитель», см. в кн. «Эскимосские сказки», запись, перевод, предисловие и примеч. Г. А. Меновщикова, Магадан, 1958, стр. 153.

[9] Так, например, И. С. Вдовин на основе простого звукового совпадения возводит корякский топоним *Анана* к экс. *анана* «тетка», а топоним *Апука* — к эск. *упуткак'* «мясо без костей, мякоть», имеющему совсем иной корень (см. указ. соч., стр. 37).

Рассмотрим по порядку следующие типы эскимосских топонимов: 1) эскимосские топонимы на современной территории расселения азиатских эскимосов, 2) палеоэскимосские топонимы в чукотской адаптации, 3) параллельно существующие эскимосские и чукотские топонимы для обозначения одного и того же географического пункта, 4) так называемые сложные топонимы, образованные путем соединения двух разноязычных основ, 5) палеоэскимосские топонимы в корякской адаптации (Камчатка).

1. Анализ топонимов и гидронимов на современной территории расселения азиатских эскимосов (от 63° до 70° с. ш.) указывает на то, что эти названия возникли на основе языка далеких предков современных эскимосов. Фономорфологические признаки эскимосского языка-основы достаточно четко сохранились и в современных территориальных подразделениях его. Характерной особенностью модели эскимосского слова является то, что конечным звуком его может быть только один из трех согласных: *к'*, *к*, *н* (и во мн. числе — *т*) или гласный звук. Большинство эскимосских топонимов оканчивается на смычные *к*, *к'*: *Нывук'ак'* (название поселка на м. Дежнева — в русской адаптации *Наукан*, в чукотской *Нуукан*) восходит к эскимосскому *нывук'ак'* «дернистый» (*нывук'* «дерн» и причастный суффикс *-к'ак'*); *Имтук* — эскимосский топоним, встречающийся в нескольких местах на Чукотке, Аляске и в Канаде, словообразовательная модель у этого топонима эскимосская, значение утрачено; *Нунак'* — название старого поселка около м. Дежнева, от *нунак'* «селение» (ср. *нунаг'мит* «нунагмитцы» — воинственное племя, которое, по преданию, жило в этом поселке); *Пуерек'* — название скалистого мыса на о-ве Ратманова (о-в *Имак'лык*), что на имакл. д.[10] означает «набухший; вспухший» (основа *пуе-* «набухать; пухнуть» и причастный суффикс *-рек'*); *Санлук'* — название горы в Беринговом проливе (от основы *сан-* «орудие труда» и уменьшительный суффикс *-лук'* — наук. д.); *Сивук'ак'* — название о-ва св. Лаврентия (США) и одноименного поселка на нем (основа *сиву-* «быть передним» и причастный суффикс *-к'ак'*, означает «оказавшийся передним»), *Сивук'ак'* — название м. Столетия, буквально «предназначенный быть передним» (мыс расположен при входе в бухту Провидения); *Алук'* — название вымершего в конце XIX в. поселка в Беринговом проливе (основа *алу* «язык» и именной суффикс *-к'* — имакл. д.)[11]; *Такывак* — название вымершего тогда же соседнего с Алуком поселка (от основы *такы-* «быть длинным» и увеличительный суффикс *-вак*, буквально «длиннущий» — наук. д.); *Ун'авик'* — название поселка на м. Чаплин, в чукотской адаптации *уныын* (*ун'ак'* «ус» и суффикс орудийного значения *-сик'*, буквально «орудие уса»: Чаплинский мыс имеет форму уса); *Тасик'* — название бухты Ткачен между м. Чаплин и бухтой Провидения; *Тасих'пак* — название бухты Провидения, от *тасик'* «закрытая бухта» и увеличительный суффикс *-пак*; *Сик'лъюк* — название о-ва и одноименного селения на нем (в 1948 г. жители этого поселка переселились на м. Чаплин) в Синявинском заливе; *Ивгаг'ъяг'ак'* — название м. Пуэино в створе б. Провидения, буквально «место обхода», образовано от основы *ивгаг'-* «обходить» (это же слово используется как общий географический термин «мыс»); *Югыг'ак'* — название косы Иен в створе б. Провидения, буквально «выдающаяся» (т. е. «земля, выдающаяся в море»); *К'игўак'* — название поселка между бухтами Ткачен и Провидения (в русской адаптации *Кивак*), буквально «зеленая лужайка»; *Югўаг'ыт* — название м. Чукотского; *Пынъак'* — название м. Мартенса, что буквально значит «утес»; *Сигинык'* — название селения, расположенного юго-восточнее б. Провидения, буквально «высокая трава» (в чукотской адаптации *Вутвэн*, в русской *Сиреники*); *Аслъик'* — название б. Пловер, буквально «нижний» (ср. чапл. д. *асилик'*), образовано от основы *аси* «нижнее место» посредством суффикса пространственного значения *-лик'*.

Имеется еще ряд эскимосских топонимов, которые таким же образом этимологизируются. Однако встречается значительное количество топонимов, которые по своим корневым и суффиксальным компонентам восходят несомненно к эскимосскому языку, но не поддаются этимологизации, так как их корневые компоненты остаются нераскрытыми из-за недостаточности наших знаний диалектных пластов лексики, которые или утрачены в известных нам диалектах или же значительно изменили свое фономорфологическое строение. К таким чисто эскимосским (по модели слова и по значению суффиксальных компонентов) топонимам и гидронимам относятся, например, *Кыфлъляеик* — название горы в Беринговом проливе, *Мамрохпак* — название вымершего поселка около м. Дежнева, *Манг'ак'* — название горной цепи к северу от поселка Сиреники, *Сянлык* — название речки около поселка Сиреники, *Укивак* — название о-ва в Беринговом проливе, *Укигалук'* — название скалы около Наукана, *Ухсик'* — название мыса около Сиреников и многие другие. Во всех этих словах конечными компонентами

---

[10] Здесь и далее приняты следующие сокращения: чапл. д. — чаплинский диалект, наук. д. — науканский диалект, имакл. д. — имакликский диалект, сирен. яз. — язык сиреникских эскимосов.

[11] Слово *алук'* ~ *алун* «язык» отмечено в эскимосских диалектах острова Диомида и на мысе принца Уэльского (Аляска). В других диалектах слово «язык» имеет форму *улу*.

выступают широко известные эскимосские суффиксы *-вик*[12], *-пак*, *-г'а(к')*, *-лык*, *-вак*, *-лук'* (наук. д.), *-сик'* и др.; корневые компоненты по своему звучанию и строению также близки эскимосским.

2. В связи с оседанием части чукотского населения на приморских землях появились топонимы как чисто чукотского происхождения, так и топонимы, заимствованные чукчами у эскимосов и адаптированные по фономорфологическим нормам чукотского языка. К таким эскимосским по происхождению и чукотским по своей модели топонимам относится большинство названий чукотских поселков в ареале от 63° с. ш. до 70° с. ш. Следует заметить, что для многих чукотских топонимов характерно окончание *-н* (ср. *Ўан'карамэн*, от *ўан'к'а* «клык моржа» и *рам* «место жилья» и др.), поэтому и все эскимосские топонимы, заимствованные чукчами, постепенно адаптировались и приняли чукотскую модель. Название чукотского поселка *Чегитун* (*Чеитун*) восходит к эск. *сягтук'* «прямой; выпрямился» (от основы *сяг-* «выпрямляться», глагольного суффикса *-ту*, показателя ед. числа 3-го лица *-к'*). Название чукотского поселка *Тун'итлын* восходит к эскимосскому топониму *Тун'ылик'* «ближний; сосед», образованному от основы *тун'ы* «ближняя сторона» посредством суффикса пространственного значения *-лик'* (ср. чапл. д. *тун'лик'* «ближний; сосед»). Название чукотского поселка *Аккани* восходит к эскимосскому *ык'ыник'* «щекастый» (основа *ык'ы* «щека» и суффикс *-ник'*). Название старинного эскимосского поселка *Нувук'ак'* в чукотской адаптации звучит как *Нуукан*.

Эскимосская языковая основа в приведенных чукотских береговых топонимах без особых затруднений восстанавливается не только на основе анализа составляющих лексических и морфологических компонентов, но и на основании живых свидетельств языка, так как наряду с чукотскими топонимами в большинстве случаев продолжают жить и первичные эскимосские топонимы. В тех же пунктах, где эскимосских топонимов не было или они бесследно исчезли, с оседанием чукчей появились и чисто чукотские топонимы. Так, например, названия приморских поселков чукчей *Янран'ай* («Отдельная гора»), *Янракинот*, *Ван'карамэн*, *Лъурэн*, *Кэн'иск'ын* («Кривая поверхность») и ряда других восходят к чукотским основам, а при произнесении их эскимосами адаптируются под эскимосскую модель (ср. *Якшан'ак'*, *Янракинотак'*, *Ўан'к'арымак'*, *Лъюг'рак*, *Кан'иск'ук'*).

3. Некоторые географические пункты получили параллельные названия на двух языках — эскимосском и чукотском. По два таких параллельных названия имеют, например, в Синявинском проливе два острова: эск. *К'иги* (буквально «остров»), *Сик'лъюк* и соответственно чукот. *Аракамчечен* и *Итыг'ран*[13]. Поскольку названия гор, бухт, перешейков, рек и других мелких географических пунктов на этих островах восходят к эскимосским основам, можно предполагать, что чукотские названия этих островов являются вторичными.

В отдельных случаях древние эскимосские береговые топонимы заимствовались чукчами по признаку сходства фономорфологического строения эскимосского топонима и чукотского слова, абсолютно не схожих по своей семантике. Так, по устным историческим преданиям эскимосов и ранним письменным источникам известно, что современный чукотский поселок Уэлен около Берингова пролива был древнейшим эскимосским поселком, имевшим название *Улык'*, что означает «разлив воды» (в Уэлене есть огромная лагуна, которая с весенним паводком или во время больших осенних штормов часто соединяется с морем, так как узкий перешеек длинной песчаной косы размывается со стороны лагуны или моря). Топоним *Улык'* сохраняется и поныне среди азиатских эскимосов. Чукчи, заселившие позже эскимосский поселок *Улык'*, назвали его сходным по звучанию чукотским словом *ўэлен*, что значит «темный»[14]. Эскимосский топоним *Кулюсик'* «большая льдина; айсберг» (название о-ва Калючин в Чукотском море) чукчи заменили сходным по звучанию чукотским словом *кувлючин* «круг», а название древнего эскимосского поселка *Пувухтак'* «вздутый; набухший» (основа *пувух-* «вздуваться; набухать» и причастный суффикс *-так'*) чукчи заменили своим словом *пуутын* «ковш»[15]. Во всех приведенных здесь случаях имеет место замена старого топонима новым по признаку звукового сходства.

4. В топонимике Чукотского п-ва весьма редкое и своеобразное явление — топо-

---

[12] Суффикс *-сик*, имеющий пространственное значение, является весьма продуктивным для всех диалектов эскимосского языка и часто выступает в качестве словообразующего компонента топонимов (см. E. P. Wheeler, List of Labrador Eskimo place names, Ottawa, 1953).

[13] Топоним *Итыг'ран*, возможно, относится к топонимам, образованным путем соединения двух разноязычных основ: первый компонент его *итык'* по-эскимосски означает «вход», а второй *-ран* означает «вход, жилище» на чукотском языке.

[14] В. Г. Богораз этот топоним ошибочно возводит к эскимосскому слову *уллк'* «женский нож» (см. его «Материалы по языку азиатских эскимосов», стр. 33).

[15] Этимологии чукотских слов *ўэлен*, *пуутын*, *кувлючин* сообщили автору исследователи чукотского языка П. Я. Скорик и П. И. Инэнликэй.

нимы, образованные путем соединения двух разноязычных основ. Название чукотского поселка *Нунлыгран* восходит к эск. *нуналык* «имеющий землю; имеющий село/поселок» (основа *нуна* «земля; страна» или *нунак'* «поселок» и суффикс обладания *-лык*), как, видимо, и назывался этот пункт до прихода чукчей. Позже, в связи с заселением этого пункта чукчами, к эскимосскому топониму *Нуналык* «имеющий землю» («имеющий село») был добавлен компонент чукотского языка *ран* (*ра-*), который в разных чукотских словах выражает понятие «жилище; вход» [16]. В результате этого произошло озвончение конечного *-к* суффикса *-лык* перед последующим звонким *-р* и выпадение конечного неударного гласного *-а* (в основе *нуна*): *нуналык* + *ран* > *Нунлыгран*.

5. Наконец, особую группу составляют спорадически встречающиеся эскимосские по происхождению топонимы на побережье Камчатки, что свидетельствует, несомненно, о длительном пребывании предков эскимосов на этой территории. Палеоэскимосские топонимы на Камчатке, отмеченные И. С. Вдовиным, хотя и малочисленны, но достаточно убедительны в том смысле, что по своим лингвистическим признакам они восходят к эскимосскому языку, а не к языку современных им аборигенных носителей — коряков [17]. Приходится, однако, отметить, что эскимосские топонимы за немногими исключениями этимологизируются И. С. Вдовиным неточно. Стремление к непременному обнаружению лексического значения слова, лежащего в основе топонима, далеко не всегда дает положительные результаты, так как многие древние слова исчезли из языка или стали употребляться в ином значении. При этом необходимо учитывать и то, что в период появления эскимосских топонимов уже существовали диалекты и родственные эскимосские языки, словарный состав которых не был абсолютно идентичным. Для того чтобы дать более или менее правильную этимологию топонима, исследователь должен иметь необходимые представления о диалектах и родственных языках, носители которых создавали первые топонимы на данной территории. Способ этимологизации древних топонимов путем обнаружения приблизительного внешнего сходства их с отдельными словами соответствующего современного языка не может быть в полной мере надежным. При выявлении этимологии палеоэскимосских топонимов, заимствованных и усвоенных коряками, необходимо учитывать также различие в моделировании слов в этих языках (например, эскимосские конечные смычные *-к'*, *-к*, как правило, усекаются в заимствованных коряками эскимосских топонимах). Учитывая, что эскимосские топонимы могут представлять собой только назывную форму имени или глагола, совершенно недопустимо давать этимологию топонима по внешнему сходству с современными косвенными грамматическими формами слов эскимосского языка: ср. этимологию корякского топонима *Кавачат*, который без особых пояснений только по внешнему сходству возводится И. С. Вдовиным к эскимосскому причастию предшествующего действия *к'авасиата* «когда они спали» [18]. При объяснении топонимов сопоставление форм слов должно проводиться с осторожностью; здесь недопустимы вольности в толковании значения слова. Ср., например, объяснение камчатского гидронима *Анапка* у И. С. Вдовина, по словам которого этот топоним в эскимосском имеет соответствие *анапкай* «ветреное место». Между тем в диалектах эскимосского языка нет слова *анапкай* с указанным значением (имеется слово *ануг'вик* «ветреное место» от *анук'а* «ветер», которое совсем несозвучно топониму *Анапка*), хотя по звуковому облику это слово может быть и эскимосским. При отнесении топонимов к тому или иному источнику необходимо объяснить закономерности звуковых изменений, без раскрытия которых принадлежность и лексическое значение топонима могут оказаться неточными. Так, например, корневой компонент *кан'ы-* корякского топонима *Кан'ыхвал* восходит, возможно, к общеэскимосскому слову *кан'и* «бухта», однако без объяснения остается компонент *-хвал*, а в корякском топониме *Упанч*, где корень *упа* соответствует эск. *упа* «ракушка», не раскрыт компонент *-нч-* [19].

Выявление И. С. Вдовиным древних эскимосских топонимов на территории Камчатки позволяет искать следы древнейшей эскимосской материальной и духовной культуры и на более восточных территориях тихоокеанского побережья. Что же касается древних слоев береговой топонимики Чукотского полуострова, то в ее эскимосском происхождении трудно усомниться. Данные языка подтверждают выводы археологов о том, что создателями древней берингоморской культуры были предки современных эскимосов и их отдаленных родственников по языку и культуре — алеутов.

---

[16] См. Т. А. Молл, П. И. Инэнликэй, Чукотско-русский словарь, Л., 1957, стр. 106—107, 162—163.

[17] И. С. Вдовин, указ. соч., стр. 37.

[18] Там же.

[19] И. С. Вдовин, указ. соч., стр. 37. Вместе с этими последними к числу верных этимологий эскимосских топонимов И. С. Вдовина следует отнести *Тарья* от эск. *таг'ьюк'* «соль», *Тыпан* от эск. *тыпа* «запах». Термины родства типа *анана* «тетка» не могут быть использованы в языке в качестве топонимов. Остальные топонимы, если исходить из модели их корневых компонентов, видимо, возможно возвести к эскимосско-алеутской основе при условии их более точного лингвистического анализа.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ВЕНГРИИ

I. Урало-алтайский вопрос. Проблемы тюркологии в Венгрии неразрывно связаны с самой историей венгерского народа и венгерского языка. В настоящей статье будут освещены специальные венгерские проблемы тюркского языкознания; такой подход уместен потому, что венгерские исследования по рассматриваемым проблемам менее известны, чем аналогичные исследования, проведенные в других странах.

Среди вопросов, которые будут затронуты в нашем обзоре, хронологически первое место занимает урало-алтайская проблема. Как соотносятся уральские языки (финно-угорские и самодийские), наиболее близкие к венгерскому, с алтайскими, т. е. с тюркскими, монгольскими и тунгусскими? Соответствия между уральскими и алтайскими языками имеют ту особенность, что их нельзя изучить на основе обычного метода языкового сравнения. Приходится пользоваться определенными косвенными приемами, применение которых ставит большое число вопросов, непосредственно не связанных с основной проблемой. Основная задача состоит в исследовании истории отдельных урало-алтайских языков с помощью сопоставления, прибегая также к материалам языковых памятников, диалектологии, к заимствованиям, ономастике, к языковым данным, отраженным в иноземных литературных сочинениях и т. д. Не менее важно, однако, решение следующего принципиального вопроса: можно ли применить основные методологические результаты, полученные при исследовании родства индоевропейских языков или уральских, ко всем случаям прародства, т. е. и в случае урало-алтайской проблемы.

Урало-алтайская проблема в настоящее время находится фактически в тупике. По этому вопросу были высказаны различные суждения и имеется некоторая литература, причем выводы в большинстве случаев с точки зрения методики вызывают сильные возражения.

Каков вклад венгерской тюркологии в решение урало-алтайской проблемы?

Основной работой в этой области было исследование Й. Буденца [1], где часть венгерско-тюркских лексических соответствий, ранее установленных А. Вамбери [2], возводится к «угро[-финно-угорско-]-тюркскому прародству». Буденц разбирает 122 урало-тюркских соответствия, однако большая часть их не выдерживает критики с точки зрения современного языкознания. В свое время я заново исследовал этот вопрос [3], в результате чего пришел к выводу, что урало-тюркско-монгольско-тунгусских лексических соответствий почти не наблюдается и что, напротив, между уральскими и тюркскими языками обнаруживаются явные лексические совпадения — примерно в количестве 20—30 слов.

В 1928 г. я изложил коллегам свои мысли относительно урало-тюркских сопоставлений (большая часть их выявлена более ранними исследователями), доказательность которых должны были решить исследования будущих десятилетий. С того времени прошло более тридцати лет; и хотя за этот период некоторые из выявленных сопоставлений были модифицированы, некоторые оказались неверными, в своей совокупности правомерность указанных соответствий скорее

---

[1] Budenz J., Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéseiről, «Nyelvtudományi Közlemények» (далее — NyK), X, 1873. Ниже используются следующие сокращения названий венгерских журналов: KCsA— «Kőrösi Csoma-Archivum»; MNy—«Magyar Nyelv»; NNy — «Népünk és Nyelvünk»; Nyr — «Magyar Nyelvőr».

[2] Vámbéry Á., Magyar és török szóegyezések, NyK, VIII, 1870.

[3] См. Németh Gy., Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata, NyK, XLVII, 1928. На немецком языке эта работа опубликована в «Analecta orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata» («Bibliotheca Orientalis Hungarica», V), Budapest, 1942. Почти весь тираж этой книги погиб в 1944 г.

была подтверждена, чем опровергнута. Особое значение я придаю сообщению Л. Лигети «Проблема соотношения уральских и алтайских языков» и выступлениям его четырех содокладчиков [4]. Лигети глубоко вскрывает существо рассматриваемой проблемы, но ни он, ни его содокладчики не отклоняют указанные выше урало-тюркские соответствия.

Тюркские слова *кун* «народ», *ер* «мужчина», *баҙыр* «печень», *бол-* «быть», *уды-* «спать», **ҡул-* «слышать», *ар(ы)-* «уставать», *арба-* «заколдовывать», *келин* «невестка, сноха», *күйе* «моль», *ҡундуз* «бобер», *бел ~ бил* «таймень», *сирке* «гнида», *саб* «слово», *бун* «нужда, горе», *ер* «возвышение», *ҡом* «волна», *ҡобу* «сноп», *куч* «сила», *кул* «зола», *ал* «нижняя сторона», *-мыш* «десять» имеют регулярные соответствия в уральских языках. Эти соответствия в своей совокупности не могут быть возведены к заимствованиям; мы имеем здесь дело с понятиями, названия которых относятся к исконному словарному фонду [5].

Как уже говорилось, соответствия ограничиваются уральскими и тюркскими языками. Приведенные слова часто имеют соответствия также в монгольских (в меньшей мере — в маньчжуро-тунгусских) языках; однако, по всей вероятности, в этих последних представлены в большинстве случаев заимствования. Таким образом, и в этом случае мы остаемся пока что на урало-алтайской основе.

В фонетике урало-алтайских языков наблюдается одно явление, которое считалось почти решающим доказательством родства этих языков уже ранними исследователями. Речь идет о хорошо известном законе гармонии гласных, характерном для каждой языковой группы урало-алтайских языков и не известном в европейских и азиатских языках. Не подлежит сомнению, что в данном случае мы имеем дело с чрезвычайно важным историческим соответствием, которое вряд ли можно объяснить на основе заимствования.

В морфологии урало-алтайских языков имеются некоторые соответствия; однако они не имеют решающей доказательной силы, поскольку носят спорадический и несистематический характер.

В противоположность этому имеется большое количество синтаксических совпадений, которые хотя и обсуждались еще в ранний период урало-алтайских исследований, в недавнее время были заново объяснены венгерским ученым Д. Р. Фокош-Фуксом на основе новой проверки материала [6]. Не касаясь здесь многочисленных частных вопросов, которые Фокош-Фукс разбирает для доказательства своих положений, укажу лишь, что в области синтаксиса мы имеем дело с множеством весьма значительных в историческом отношении и безусловно доказательных соответствий, которые дают возможность выделить урало-алтайские языки как особую группу среди других языков.

На основе сказанного можно следующим образом суммировать состояние разбираемого вопроса:

1. Вряд ли можно ожидать, чтобы родственные языки в каждом случае сохраняли совпадающие элементы в той же мере, как это наблюдается в индоевропейских или в финно-угорских языках. Тем не менее нельзя не признать, что для допущения родства языков необходимы явные доказательства.

2. Я считаю, что в отношении уральско-тюркского языкового родства мы располагаем такими явными доказательствами. Решающими здесь (кроме гармонии гласных и общих синтаксических явлений) являются приведенные выше лексические совпадения.

3. Не совсем так обстоит дело с вопросом родства уральско-тюркских языков с монгольско-тунгусскими. Здесь в настоящее время отсутствует основное доказательство — совпадения в исконном словаре. Я считаю, что родство указанных языков является весьма вероятным, но не очевидным. Причина, по которой не удается обнаружить исконных лексических соответствий, заключается, видимо, в том, что вследствие доисторических процессов, до сих пор остающихся совершенно неизвестными, монгольские и особенно маньчжурские языки хронологически и географически обособлены от других языков.

4. Алтайско-корейские совпадения (как было подчеркнуто Л. Лигети в приведенной выше работе) нуждаются в тщательной критической проверке.

II. Древнейшие территории заселения тюрков. Для исследования венгерской праистории весьма важен вопрос о предположительных древнейших территориях и передвижениях тюркских племен.

Как известно, древнейшие территории, где жили тюрки, обычно относятся к Центральной или Восточной Азии. В противоположность этому я высказал мнение о том, что, согласно языковым данным, древнейшие предположительные территории заселения тюрков следу-

[4] См. «A Magyar tudományos akadémia nyelv-és irodőlomtudományi osztályának kőzleményei», IV, 1953.

[5] В настоящее время нам предстоит определить свое отношение к работе М. Рясянена «Ural-altaische Wortforschungen» (Helsinki, 1955).

[6] D. R. Fokos-Fuchs, Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft, mit besonderer Rücksicht auf das Problem der ural-altaischen Sprachverwandtschaft, Wiesbaden, 1962.

ет искать в Западной Азии [7]. Тюркские племена, видимо, не следует отрывать от уральских, и нет оснований относить первоначальные территории уральских племен к Средней или Восточной Азии.

О том, что первоначальные территории тюрков следует относить к Западной Азии, свидетельствуют некоторые реликты. Шумерско-тюркские языковые связи, о которых так много говорили в течение десятилетий, вряд ли можно принять всерьез; с другой стороны, в тюркских языках обнаруживаются индоевропейские (индо-иранские) элементы. Древнейшие индо-иранские элементы тюркских языков множество раз исследовал Б. Мункачи [8].

В своих сопоставлениях он заходил слишком далеко, но в приводимом им материале имеются такие соответствия, которые вряд ли можно оспаривать: тюрк. *тана* ~ *тына* «телка» ~ др.-инд. *dhenā-* «дойная корова» (конечный *ā* сохраняется в тюркском); тюрк. *мырч* ~ *бурч* «перец» ~ др.-инд. *marīča-* (конечный *a* в тюркском исчез); тюрк. *сыра* «пиво» ~ др.-инд. *surā* - «спиртной напиток». Все эти слова являются наименованиями культурных понятий, проникшими в тюркский в различные эпохи и различными путями; они кажутся довольно древними. Следующие тюркские слова — индоевропейского происхождения: *өкүз* ~ *өгүз* «бык», ср. кучанск. *okso* «скот»; *тумен*, *туман* «десять тысяч» ~ кучанск. *tumane* (конечные гласные в них исчезли, что говорит о большой древности заимствований). Тюркское название осины безусловно принадлежит к более древнему слою заимствований: тюрк. (алтайский и т. д.) *апса-ҷ* ~ др.-в.-нем. *aspa*, латыш. *apsa*. Более поздними по времени своего проникновения являются в тюркских языках определенные иранские заимствования, как, например, наименования вельмож — *шаҳд* и *чур* («тохар.»), а также согдийские заимствования.

Кроме упомянутых, в тюркском имеются и другие культурные слова, непосредственные пути проникновения и происхождения которых в настоящее время не определены, но которые, несомненно, восходят к западноазиатским языкам. Сюда принадлежит тюркское *без* ~ *бев* «материя из конопли или бумаги» (чуваш. *пир*; монг. *бөс* — тюркское заимствование позднего времени; маньчжур. *босо* — тюркское заимствование, проникшее через посредство монгольского), которое соответствует словам *būṣu* (Месопотамия), евр. и арамейск. *būṣ* (сирийск. *byssus*), греч. βύσσος.

Эти соответствия, которые были предложены мною ранее как вполне приемлемые [9] и которые на современном этапе исследований могут быть дополнены, указывают на то, что первые предположительные территории тюрков следует искать не в Восточной, а в Западной Азии (эта мысль была высказана и некоторыми другими исследователями независимо от меня). Старые теории о средне- или восточноазиатской «прародине» тюрков либо устарели, либо недостаточно обоснованы. Что касается древних китайских элементов в тюркских языках, то здесь концепции Пеллио и Лигети, очевидно, более правильны, чем мнение Рамстедта.

III. Древнетюркские заимствования в венгерском языке. Со времени урало-тюркской общности прошло несколько тысяч лет; у нас нет никаких языковых данных, свидетельствующих о том, что в то время тюрки жили в тесном контакте с предками венгров. Существуют теории, согласно которым уральские племена или часть их имели языковые контакты с тюрками; однако эти теории не были обоснованы убедительным образом. С некоторой долей достоверности можно говорить только о периоде после начала нашего летосчисления (во всяком случае вскоре после этого времени). Венгры жили в то время в средней или южной части Уральских гор, возможно, к востоку от этих районов. В первом — втором столетии на границе Европы и Азии появляется (видимо, тюркское) название реки Урал — *Дайыҷ*, которое затем на протяжении многих столетий вплоть до наших дней сохранилось в тюркских языках в регулярных соответствиях. В IV в. в этой области появляются гунны, которые по всей вероятности были тюркской народностью. Гуннские имена *Mundžuk*, *Ay-bars*, *Es-kam*, *Atakam*, *Ilek*, *Ir-nek* и *Dengiz-ik*, а также имя жены Аттилы *Arī(q)-Kan* были, очевидно, тюркского происхождения.

Венгерская историография со времени Арпадов вплоть до XIX в. высказывалась в пользу родства гуннов и венгров. Этот тезис не доказан ни с исторической или этнической, ни — еще того менее — с языковой точек зрения. Несомненно, что венгры в Восточной Европе имели дело с гуннами; однако мысль об их «родстве», пожалуй, появилась у хронистов на основе того факта, что венгры на Дунае занимали те же области, которыми некогда владели гунны. Вопросу о языке гуннов и гунно-венгерской проблеме особое внимание уделено в изданной мною совместно с нашими специали-

[7] Németh Gy., A törökség őskora, «Berzeviczy Albert Emlékkönyv», Budapest, 1934. Немецкий перевод—«Probleme der türkischen Urzeit» в «Bibl. Or. Hung.», V.

[8] См., например: Munkácsi B., Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben, I, Budapest, 1901.

[9] См. Németh Gy., A törökség őskora.

стами монографии «Аттила и его гунны» [10] (в 1962 г. работа переиздана на турецком языке в Анкаре).

Важнейшей проблемой венгерской тюркологии является вопрос о древних тюркских заимствованиях в венгерском языке, который привлекает внимание ученых Венгрии уже примерно 200 лет. В настоящее время в венгерском языке имеется более двухсот тюркских заимствований, которые проникли в язык не на современной родине венгров, а в эпоху их пребывания в Восточной Европе во второй половине первого тысячелетия по нашему летосчислению.

Разбираемые здесь заимствования имеют принципиальную важность не только для исследования исторической фонетики венгерского языка, но и для истории древневенгерской культуры. Не меньшую важность эта проблема имеет с точки зрения древней истории тюркских народов и языков, что обычно игнорируется тюркологами (если не считать ученых Финляндии); в международной тюркологии указанная проблема почти не играет никакой роли по той простой причине, что исследователь, который пожелал бы критически разобраться в проблеме, должен быть знаком с нелегкими вопросами истории венгерского языка.

Что касается истории постановки проблемы, то первым ученым, заложившим основы ее исследования путем исторического анализа материала, был также Й. Буденц [11]. Подготовительные работы, особенно собирание необходимого материала, сделали актуальным вопрос о происхождении венгерского языка. При решении этого вопроса были выдвинуты две противоположные концепции. Согласно первой из них, которая уже в течение нескольких столетий представлена работами многочисленных ученых, отстаивается восточное происхождение венгерского языка (венгерский сравнивали сначала с древнееврейским, а затем с различными восточными языками — турецким, персидским и т. д.; на основе сообщений венгерских средневековых хроник высказывалась также гипотеза о гуннском происхождении венгров). Другая концепция, которая с конца XVIII в. развивалась в различных специальных работах, хотя она и не пользовалась популярностью в Венгрии, постулирует финно-угорское происхождение венгерского языка. Научная полемика продолжалась сто лет, и лишь в последнее десятилетие XIX в. победу одержала истина — тезис о финно-угорском происхождении венгерского языка. Решающая фаза этой полемики приходится на 1870—1890 гг., причем на стороне финно-угорской концепции выступал Буденц, а на стороне тюркской теории — Вамбери.

В 1870 г. А. Вамбери опубликовал 740 венгерско-тюркских лексических сопоставлений, причем венгерские и тюркские слова сравниваются на основе более или менее очевидного звукового и семантического сходства и без необходимой критики [12]. Критическая проверка этого большого материала была предпринята Буденцем [13], в результате было установлено, что не все соответствия в словаре венгерского и тюркских языков восходят к венгерско-тюркскому родству. С одной стороны, имеются соответствия, которые являются реликтом урало-алтайской праэпохи; с другой стороны, в венгерском языке имеется большое количество заимствованных тюркских слов, которые проникли в язык в различные эпохи; здесь приходится большую часть сопоставлений Вамбери вовсе отбросить. Среди тюркских заимствований в венгерском языке имеются, во-первых, такие, которые проникли во времена турецкого завоевания (т. е. в XVI—XVII вв.), и, во-вторых, существует весьма значительный более древний слой заимствований, который в фонетическом отношении носит отпечаток чувашского (в свое время он был назван Буденцем древнечувашским слоем заимствований). Таким образом, проблема венгерско-тюркских языковых связей (несмотря на все позднейшие нападки со стороны последователей Вамбери) была решена: тезисы Буденца вплоть до наших дней являются незыблемой основой изучения истории венгерского языка.

Дальнейшие исследования проводились именно на этой основе. Б. Мункачи опубликовал многочисленные новые сопоставления — как приемлемые (около 40), так и неприемлемые. Широко используя результаты русских исследований волжско-булгарских памятников (работы Ашмарина), он подчеркивал связь между «древнечувашским» и «булгарским» с точки зрения разбираемых заимствований [14]. Б. Мункачи пытался также доказать наличие монгольских элементов среди этих заимствований [15].

Основываясь на тезисах Буденца, З. Гомбоц в начале XX в. осуществил обобщающее исследование проблемы булгарско-тюркских заимствований в

[10] «Attila és hunjai», szerkesztette Németh Gy., Budapest, 1940.

[11] См. Budenz J., указ. соч. (NyK, X.)

[12] Vámbéry A., указ. соч. (NyK, VIII.)

[13] Budenz J., указ. соч. (NyK, X.)

[14] См., например: Ethnographia, XIV, 261; KSz, VI, 185.

[15] Ср. Ligeti L., Mongolos jövevényszavaink kérdése, NyK, XLIX, 1935.

венгерском [16]. Именно эта работа заложила фундамент для нового методологически оправданного исследования вопроса. Основные результаты Гомбоца сводятся к следующему:

1. Тезисы Буденца остаются в силе Чувашский характер заимствований выделяется еще более явственно (в заголовке немецкого издания книги это особо подчеркнуто словом «булгарский»; венгерское же издание называлось «Наши тюркские заимствования до завоевания Дунайского края»). Отдельные этимологии, предложенные различными учеными начиная с XVII в., а также этимологии Вамбери, Буденца, Мункачи и других исследователей, Гомбоц подвергает критической проверке, причем в качестве приемлемых выделяются 227 сопоставлений.

2. Особое значение для исследований по древнетюркским языкам вообще и особенно в области исторической фонетики имеет тезис (он никогда не принимается во внимание большинством тюркологов), который формулируется Гомбоцем следующим образом: «Главнейшим результатом проведенного выше исследования следует считать выявление того факта, что источником чувашских заимствований в венгерском языке была чувашская языковая форма, носившая сугубо пратюркский характер. Следует также подчеркнуть, что эта языковая форма не дошла до нас непосредственно и заимствованные слова в венгерском языке являются ее единственным сохранившимся памятником». Таким образом, речь идет о том, что в те столетия, когда появились старейшие зафиксированные древнетюркские языковые памятники (орхонские надписи и т. д.), в западной части тюркской языковой области — в Европе — существовал тюркский язык, который мы на основе имеющихся 200—250 заимствований, сохранившихся в венгерском языке, в определенной степени можем реконструировать. Исследование этих заимствований, несомненно, даст возможность еще многое узнать в области истории тюркских языков. Мне хотелось бы теперь подчеркнуть тот именно факт, что система гласных того древнетюркского языка, к которому восходят указанные заимствования, идентична системе гласных языка орхонских надписей (*a*, *e*, *ė*, *ï*, *i*, *o*, *u*, *ö*, *ü*).

3. Все 227 слов З. Гомбоц считает булгарскими и придерживается того мнения, что эти слова восходят к волжско-булгарскому. Языковое влияние других тюркских народов, которые вплоть до XVI в. были связаны с венграми (авары, хазары, кавары, печенеги, огузы, татары, куманы), Гомбоц считает весьма незначительным.

4. В указанных заимствованиях отразилось то значительное культурное влияние, которое булгары оказывали на венгров. В большом количестве были заимствованы слова, относящиеся к земледелию, виноделию, животноводству, промышленности, домашней утвари, названию животных, рыб и растений, в том числе такие важные в культурно-историческом отношении слова, как *эрдем* «достоинство», *мун* «грех», *тöру* «закон», *сыр-* «писать», *битиг* «буква», *сам* «число».

Через два года после появления «Булгарско-тюркских заимствований» вышел первый выпуск издававшегося З. Гомбоцем и Я. Мелихом этимологического словаря венгерского языка; словарь был доведен лишь до слова *geburnus* [17]. В этой работе древнетюркские заимствования, приведенные в алфавитном порядке до слова *geburnus*, подвергаются новой обработке. Авторы исходят из концепции Гомбоца, причем участие в словаре Я. Мелиха обусловило бóльшую тщательность и более критический подход к материалу, а следовательно, и много новых удач в решении частных вопросов. Объем статей, посвященных древнетюркским заимствованиям, в этимологическом словаре в общем почти в три раза больше объема соответствующих статей в «Булгарско-тюркских заимствованиях».

С 1920 г. начинается новый период в исследовании рассматриваемого здесь вопроса, причем на основе тезисов Гомбоца были достигнуты значительные успехи. Первый большой шаг в этом направлении сделал И. Зичи, который в 1923 г. в своей работе «Праистория и культура венгров вплоть до периода завоевания Дунайского края» обосновал мнение, согласно которому местом древних венгерско-булгарских связей было не Булгарское царство на Волге, как это утверждал Гомбоц, а Юго-Восточная Европа (область к северу от Кавказа) [18]. На это указывают определенные названия животных и растений из числа древнетюркских заимствований, которые не встречаются в северных областях и по ту сторону Урала. Эта теория была признана и Гомбоцем в его лекциях, читанных в 1930 г. [19]. Та же концепция представлена

[16] Gombocz Z., Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink, MNy, III, 1907 [работа была издана на немецком языке под названием «Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache», Helsinki, 1912 (MSFOu, XXX)].

[17] Gombocz Z., Melich J., Magyar etymologiai szótár, 1—10 (*a* — *érdem*), Budapest, 1914—1930; 11—17 (*erdő* — *geburnus*), 1934—1944.

[18] Zichy I., A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig, в кн. «A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve», I, 5, Budapest, 1923.

[19] Эти лекции были изданы Л. Лигети, см.: Gombocz Z., Honfoglalás

и в моей работе, посвященной происхождению венгров IX в.[20], в которой я подчеркнул два важных обстоятельства: во-первых, что венгры были в тесной связи с хазарами и в течение определенного времени входили в хазарское царство; во-вторых, что булгары были составной частью хазарского царства, в которое входили различные народы; в областях, где находилось это царство, остались следы булгарского языка.

Таким образом, древнетюркские заимствования в венгерском языке не стоят в прямой связи с «древнечувашским» (соответственно волжско-булгарским) языком. Это было высказано уже Мункачи, однако в рамках праисторических теорий.

С меньшим успехом решался другой крупный вопрос, а именно вопрос о том, восходят ли изучаемые заимствования — в большей или меньшей степени — к единому булгарско-тюркскому языку. Гомбоц имел основания утверждать, что эти заимствования — булгарского происхождения, в то же время добавляя, что булгарское влияние на венгерский язык и хронологически и географически не является единым. Среди заимствований имеется, например, 19 случаев, когда пратюркское *z замещается посредством r, сохранение же z не представлено ни в одном примере.

Рассмотрим, например, слова, используемые в земледелии: *eke* < *ekeй* «плуг» — чуваш. *ака* < **ekeγ* (огуз.-кыпч. *эк-* «пахать»); *árpa* «ячмень» — чуваш. *урпа* < *арпа*; *búza* «пшеница» — тюрк. *боғдай*; *arat-* «жать» — чуваш. *выр-*; *sarló* «серп» — чуваш. *çурла*; *kepe* «скирда» — чуваш. *капан*; *tarló* «пашня» — чагат. *тарлағ*; *őr-* «молоть» — чуваш. *авăр-*; *szór* «веять (зерно)» — чуваш. *сăвăр-*; *dara* «крупа» — чуваш. *тырă* «зерно, хлеб»; *ocsú* «мякина» — хакас. *учух*; *gyümölcs* «фрукты» — турецк. *yemiş*; *alma* «яблоко» — чуваш. *улма*; *kört(v)él* «груша» — ногайск. *кертпе*; *borsó* «горох» — чуваш. *пăрça*; *bors* «перец» — чуваш. *пăрăç*; *szőllő* «виноград» — чуваш. *çырла* (< **śidleγ*) «ягода»; *bor* «вино» — уйг. *бор*; *szür-* «процеживать» — чуваш. *сĕр*; *seprő* «дрожжи» — чуваш. *çĕпре*; *kender* «конопля» — чуваш. *кантăр*; *tiló* «мялка (для конопли)» — чуваш. *тылă*; *csepű* «пакля» — казанско-татар. *чүбек*; *orsó* < **uršuγ* «веретено» — чагат. *урчуқ*; *komló* «хмель» — чуваш. *хăмла*.

С культурно-исторической точки зрения приведенные группы слов (а таких групп несколько) создают впечатление неразрывного единства; кроме булгар, нам неизвестен ни один тюркский народ, который систематически занимался бы земледелием (или для которого были бы характерны подобные занятия, типичные для более высоких ступеней оседлой жизни). Фонетические особенности этих заимствований также не стоят в противоречии с этим впечатлением. Дело обстояло бы, конечно, иначе, если бы в указанной группе заимствований можно было бы обнаружить слова с z. Следует, однако, отметить, что эти слова не заимствованы из какого-то одного булгарского диалекта, а отражают многовековое развитие булгарского языка на Кавказе.

Необходимо также признать, что слова, не имеющие типично булгарских признаков, как, например, *alma* «яблоко», *bor* «вино», в строго лингвистическом плане нельзя называть «булгарскими» или же «древнечувашскими», как это делает Гомбоц в своей основной работе, посвященной заимствованиям. Поворотным пунктом в этом отношении явился этимологический словарь Гомбоца и Мелиха: здесь *alma*, *bor* и другие подобные слова (несомненно, под влиянием Я. Мелиха) больше не обозначаются как «древнечувашские», а даются с пометой «тюркские заимствования». О том, что Гомбоц не отказался полностью от своей старой точки зрения, свидетельствует то обстоятельство, что в лекциях 1930 г. он повторяет свою прежнюю теорию, хотя в тех же лекциях говорит о «булгарской группе» древнетюркских заимствований в венгерском языке. Концепция Я. Мелиха нашла свое отражение в трудах Л. Лигети, особенно в его докладе «О слоях тюркских заимствований в венгерском языке», прочитанном при вступлении его в Венгерскую Академию наук в 1937 г. (доклад, к сожалению, не был опубликован). Лично я больше склоняюсь к старой концепции Гомбоца (с указанными выше ограничениями).

Основная заслуга З. Гомбоца состоит в том, что он, если можно так выразиться, кодифицировал основной фонд наших древнетюркских заимствований. После его работы мало что изменилось в этой области. Ученым удалось прийти к некоторым частным результатам, правомерность многих сопоставлений была поставлена под вопрос, было опубликовано несколько хороших этимологий и многочисленные неприемлемые этимологии. Многие слова подверглись Л. Лигети новой, исчерпывающей проверке и глубокой критике с привлечением новейшего тюркского материала, которого в результате изучения тюркских языков после 1912 г. в России и Советском Союзе, в Турции и в других странах накопилось так много, что в большинстве случаев данные Гомбоца в настоящее время

---

előtti bolgár-török jövevényszavaink, Budapest, 1960 («Nyelvtudományi Értekezések», 24).

[20] N é m e t h G y., A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930.

приходится заменять новыми. Работы Л. Лигети дали возможность по-новому оценить некоторые частные вопросы и в области нетюркских языков (в первую очередь в восточноазиатских, монгольских и тунгусских).

IV. Венгерские имена древнетюркского происхождения. Самой большой заслугой Я. Мелиха перед венгерской тюркологией является то, что он заложил основу научного исследования ономастики. Публиковавшиеся (чаще всего историками) объяснения имен собственных, которые были основаны на сходстве слов, не выдерживали критической проверки с лингвистической точки зрения; в связи с указанными ненаучными объяснениями появилась даже мысль о том, что древние имена собственные редко допускают научное объяснение. Я Мелих на венгерском материале доказал, что имена собственные являются таким же надежным объектом исследования, как и нарицательные; однако при такой работе исследователь должен строго исходить из исторических, филологических, фонетических и семасиологических фактов. На основе выдвинутых Мелихом принципов венгерские исследователи за последние пятьдесят лет доказали тюркское происхождение многочисленных древневенгерских имен собственных. Особенно выдающейся в этом отношении является работа З. Гомбоца «Наши тюркские личные имена арпадской эпохи»[21].

С исторической точки зрения особенно важны предложенные Мелихом булгарско-тюркские объяснения собственных имен. Он, в частности, доказал, что имена обеих дочерей князя Семиградья (Трансильвании) Gyula — *Sároltu* и *Karoldu* — имеют булгарско-тюркское происхождение (*шар* «белый», *ҡара* «черный», *alda* «соболь», *аг-алды* «горностай»); в имени *Gyula* < тюрк. *юла* начальное *y-* заменено посредством *d'* < *d'ž'*, как это имеет место во многих булгарских заимствованиях венгерского языка. Тем самым доказывается, что еще в X в. существовала булгарско-венгерская общность. Если учесть к тому же, что Дьюла принял христианство (в Византии, откуда и был приглашен епископ), становится понятно и то, что венг. *gyon-* «исповедоваться» — тюркского (вернее, булгарско-тюркского) происхождения. Что касается Шаролту, то она была матерью Святого Стефана, который обратил венгров в христианство[22]. В области Семиградья имеется название реки (*Kukülló* «Schlehfluss»), которое, по всей видимости, булгарско-тюркского происхождения. Таким образом, много булгар, очевидно, жило в области Семиградья.

В исторических источниках нет никаких указаний на древние булгарско-венгерские связи. В венгерских хрониках говорится о венгерско-гуннском родстве, и самый факт тесных связей гуннов с булгарами общепризнан, тем не менее на этой основе не установлено чего-либо определенного. Есть лишь одно обстоятельство, которое можно считать достоверным и проливающим свет на интересующий нас вопрос: в древности другие народы называли венгров «оногурскими [булгарами]» (греч. οὖγγροι, нем. *ungar-* и т. д.). Это обстоятельство нельзя не рассматривать как свидетельство тесной связи, существовавшей между обоими народами. Можно предполагать также, что в древности венгры входили в государство оногуров.

Судя по древним историческим источникам венгры носили еще два названия: это прежде всего — *turk*, кроме того, остатки тех венгерских племен, которые издавна жили на Среднем Кавказе, назывались также *savar*, венг.* *szuar-* (регулярная форма). Последнее из этих названий восходит к тюрк. *Сабыр* > *Савыр*. И эти имена едва ли можно объяснить иначе, как на основе того факта, что венгры в свое время входили в кок-тюркское и сабирское государственное объединение.

В одной из своих работ я пытался (главным образом на основе исследования ономастического материала) выяснить исторический фон венгерско-тюркских языковых связей до периода поселения венгров на территории современной Венгрии[23]. Выводы этой работы сводятся к следующему.

Определенную важность при исследовании этногенетических вопросов, касающихся тех эпох, о которых у нас нет никаких исторических свидетельств, имеют этнонимы. Корень этнонима венгров — *magyar* — обнаруживается в языке манси и хантов, близкородственном венгерскому языку.

До нас дошел относящийся к X в. список древневенгерских племен, который имеет большую историческую важность. Эти племенные имена записаны византийским императором Константином Порфирогеннетом; кроме того, они широко представлены — в формах имен поселений — в венгерских источниках. Все это в совокупности дает для их объяснения достоверные филологические обоснования. В связи с тем, что венгры после отделения от них финно-угорских родичей находились в тесном контакте с различными тюркскими народами, я исследовал вопрос, не являются ли

[21] Gombocz Z., Árpádkori török személyneveink, Budapest, 1915.

[22] См. об этом: Németh Gy., A magyar keresztyénség kezdete, «Budapesti Szemle», № 746, 1940.

[23] Németh Gy., A honfoglaló magyarság kialakulása.

древневенгерские племенные названия тюркскими по происхождению. С этой целью мне пришлось прежде всего подвергнуть анализу древнетюркские названия племен, а потом поставить вопрос, как сгруппированы эти названия в реестрах племен.

Оказалось, что названия тюркских народов и племен образуют определенные семантические группы (например, «народ», «племя», «три племени»). Сюда относятся такие названия, как *Қырық* «частица», *Кесек* «часть», «смесь» и т. д. Обозначения достоинства используются также как названия племен (например, *Тархан*). Имеются названия, выражающие смелость, умение, характерные для племени (*Түрк* «мощь, сила», *Эрдим* «достоинство», *Қарлуқ* «масса снега, сугроб», *Буслаҳ* «масса льда», *Боран* «гроза», *Баян* «богатый», *Маҳ* «похвала») и как семантическая противоположность словам такого рода — названия со значением «усталый», «бессильный». Кроме того, имеются многочисленные другие семантические группы, как, например, названия, связанные с географическими понятиями, с характерными внешними или духовными качествами, с деятельностью или образом жизни народа и т. д. В древнетюркскую эпоху, насколько это видно из имеющегося материала, личные имена не использовались в качестве названий племен.

Реестр племен, входивших в государство, не является произвольным, а составлен на основе строгих, но не везде одинаковых принципов. Реестр племен отражал структуру государства (вспомним, например, огузскую систему племен). При этом необходимо учитывать, что в составе союза племен по причинам политическим и хозяйственным происходили постоянные изменения; в этих условиях система родовых наименований не могла оставаться неизменной.

После распространения ислама, в монгольскую эпоху, в тюркских названиях племен (как и в истории тюркских народов) наступает большой перелом: многие старые способы наименования исчезают, причем все больше начинают преобладать монгольские названия племен, а также названия племен, построенные по арабскому образцу. Реестры племен уже не отражают, как прежде, политического строя государства.

Что касается древневенгерских названий племен, то они, имея частью венгерское, частью тюркское происхождение, образуют систему по образцу тюркских систем племенных наименований. Первыми в списке стоят названия «защитных» племен — *Kavar* и *Nyék*. Кавары представляли собой этническую группу, отделившуюся от хазар; при этом, как и у других народов с племенной организацией на тюркский лад, новое племя обычно выставлялось на передний край при столкновении с другими племенами. «Защитным» племенем было также *Nyék*, название которого на венгерском языке означает «ограда, вид защитного приспособления». После указанных двух «защитных» племен император Константин приводит название основного племени *Megyer* (~ *Magyar*). Название четвертого племени *Kurtu-Gyarmat* состоит из двух частей; с *Kurt(u)* я сопоставляю чуваш. *кёрт* (в огуз.-кыпч. *күрт*) «сугроб» (ср. приведенные выше тюркские названия племен с тем же значением). *Gyarmat* лишь гипотетически можно объяснить на основе сопоставления с тюркским. Название пятого племени *Tarján* является регулярным соответствием тюркского названия достоинства *Тархан*; обозначением достоинства является и название шестого племени *Jenő* (у императора Константина: Γεναχ следует читать *Jeneγ*; ср. тюрк. *ынаҳ* «доверенное лицо, министр», *ынан-* «верить; доверять», *ынал* — обозначение достоинства, ср. *Инел Қаган*). Название седьмого племени *Kér* можно сопоставить с именами тюркских родов *Ker*, *Kereš*, *Kırey* (*Gırey*, *Gıray*); ср. тюрк. *ker* «огромный, гигантский». Название восьмого племени *Keszi* ~ *Keszö* ~ *Kesz*, др.-венг. *Keszıγ* ~ *Keszeγ* ~ *Keszuγ* соответствует тюрк. *кесек* «часть, группа» из *кес-* «резать»; *Кесек*, *Кесир*, *Кесе* в тюркском представлены в многочисленных названиях родов. Таким образом, система венгерских племен имеет следующий вид: два «защитных» племени — основное племя — двойное племя — племена двух носителей достоинства — племя *Kér* — племя *Keszö*, являющееся осколком древнего племени и фигурирующее на последнем месте в списке. Соответствие венг.-γ ~ тюрк. *-к*, как уже указывалось, наблюдается во многих венгерских словах булгарско-тюркского происхождения.

Что касается языков древневенгерских племен в IX в., то с большой степенью вероятности можно утверждать, что, кроме финно-угорского языка этим племенам был еще известен тюркский язык типа огузского, а также булгарско-тюркский. Имелись также двуязычные этнические группировки. Третий сын Арпада носил имя *Jutocsa* = огуз. *Jutčı* «лакомка, гурман», а внук Арпада носил венгерское имя *Ezeleγ* с тем же значением. Выше мы приводили женские имена булгарского происхождения *Sároltu* «белый соболь», *Karoldu* «черный соболь». Названия подобного рода могли возникнуть лишь в таком языковом окружении, где были известны все упомянутые языки: здесь важно также свидетельство императора Константина, согласно которому венгры говорили не только на венгерском, но также и на «каварском» языке.

Помимо упомянутых выше, многие из

современных венгерских ученых и среди них — Л. Рашоньи, Д. Пайш, Э. Моор, М. Палло — занимаются вопросами древнетюркских заимствований и различных названий венгерского языка; их работы содержат много ценных наблюдений.

V. Древнетюркское письмо у венгров. В Семиградье, в юго-восточной части края, живет венгерское племя под названием *Секель*. Это одно из древних венгерских племен, по всей вероятности, тюркского происхождения. Сохранилось свидетельство средневековых венгерских хроник о том, что секели использовали особое письмо, которое наносилось не посредством пера, а вырезалось на дереве (точнее — на палках) ножом. Первые памятники этого письма относятся к XV в.

Как удалось установить венгерским исследователям, это письмо древнетюркского (хазарского) происхождения, и венгры переняли его в окрестностях Черного моря (следует отметить, что, кроме древнетюркских знаков, в систему этого письма вошли знаки для гласных *o* и *e*, воспринятые из глаголического алфавита, и знаки для согласных *x* и *f*, перенятые из греческого алфавита). Следы секельского (хазарского) письма найдены советскими исследователями за последнее время на территории Хазарского государства (хазарское письмо также признано разновидностью древнетюркского письма [24]).

VI. Венгерско-тюркские контакты на Дунае. После переселения венгров на их нынешнюю территорию на Дунае (около 896 г.) тюркско-венгерские контакты продолжались. Вместе с венграми на новую родину переселились значительные тюркоязычные группы, и не исключено, что венгры нашли на своей новой родине также некоторые тюркские племена, обитавшие на этой территории с давних пор. Особенно же важным представляется тот факт, что через пять веков после того, как венгры осели на своей теперешней территории, в Венгрию из Юго-Восточной Европы перекочевывали тюркские народности и этнические группы, отдельные племена и роды, которые беспорядочно следовали друг за другом в различные эпохи. В языковом отношении мы имеем здесь дело с конгломератом, трудно поддающимся анализу. Тюркоязычные кочевники не оставили собственных языковых памятников, а число заимствований, которые проникли к венгерский язык из их языков, весьма незначительно. Таким образом, мы стоим перед необходимостью установления определенных особенностей языков этих народов на основе единичных указаний и на основе собственных имен (при учете необходимых ограничений). Решение этой весьма сложной проблемы является важной задачей венгерской тюркологии. В настоящее время заложены основы исследования имен собственных в Венгрии в древне- и средневенгерскую эпохи. Исследование затруднено отсутствием исчерпывающей обработки материала (в частности, отсутствует словарь тюркских имен). В свете сказанного неудивительно, что до сих пор не более сотни венгерских имен тюркского происхождения получили убедительное объяснение.

Речь идет о следующих тюркских этнических группах [25]. Вместе с венграми пришли кавары, которых император Константин называл «первым племенем» венгров. Они говорили на тюркском языке, хотя нам и неизвестно, был ли это огузско-кыпчакский или булгарский диалект. Названия каварского происхождения неизвестны. Возможно также, что венгры на своей новой родине еще застали остатки аварских племен. З. Гомбоц исследовал язык европейских аваров, причем весьма скудные языковые реликты указывают на связь языка аваров с огузской группой языков [26].

Как уже говорилось, на новую родину, по всей вероятности, вместе с венграми пришли также тюркские булгары. Об этом, видимо, говорит то обстоятельство, что булгарско-тюркский язык был известен венграм Семиградья. Возможно, однако, что венгры на своей новой родине уже застали булгарско-тюркские этнические группировки, которые жили здесь до прихода венгров; об этом свидетельствует прежде всего то, что государство дунайских булгар простиралось на определенные области Венгрии; кроме того, есть указания, в частности языковые реликты, на то, что в Венгрии ко времени прихода венгерских племен жили также дунайские булгары. В середине X в. в Венгрию с волжско-булгарских территорий прибыла мусульманская знать с большой группой приближенных, которые и поселились здесь (в частности, в Пеште).

[24] Sebestyén Gy., A magyar rovásírás híteles emlékei, Budapest, 1915; J. Németh, Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós, Budapest — Leipzig, 1932, стр. 60 ff; L. Ligeti, A magyar rovásírás egy ismeretlen betűje, MNy, XXI, стр. 50.

[25] См. об этом Melich J., A honfoglaláskori Magyarország, Budapest, 1925—1929 («A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve», I, 6). См. также мою работу о тюрках в Венгрии в эпоху Арпадов: «Árpad-kori törökjeink», (NNy, III, 1931), ср. Kniezsa I., Magyarország népei a XI. században, «Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján», II, Budapest, 1938, стр. 367—472.

[26] Gombocz Z., A pannóniai avarok nyelvéről, MNy, XII, 1916.

В Венгрии представлено значительное количество имен собственных, своим происхождением обязанных тем многочисленным печенегам, которые некогда переселились в Венгрию. В 1922 г. я опубликовал объяснение печенежских названий племен и других печенежских имен собственных [27]. Печенежский был самостоятельным кыпчакским диалектом с характерными фонетическими переходами [28]. Мне кажется, что я также доказал, что определенные надписи, найденные в кладе из Надь-Сент-Миклоша, являются печенежскими. Вслед за печенегами в Восточную Европу последовали узы (*ūz* < *oguz*, в русских источниках — *торки*). Достигли ли племена узов Венгрии, вряд ли можно утверждать с достоверностью.

Наиболее значительным тюркским этническим элементом, с которым венгры вошли в контакт на своей Дунайской родине в период монгольского нашествия (1239 г.), являются куманы-половцы (сорок тысяч семей). У нас есть множество документов и других памятников, содержащих куманские имена и слова. Эти имена привлекли особое внимание Л. Рашоньи [29]. До наших дней сохранился также самобытный куманский языковой памятник «куманский „Отче наш“» который в течение столетий передается в устной и письменной формах [ребенком я слышал на своей родине в окрестностях г. Карцаг (<*Қарсақ*) куманскую «молитву»: *теңгери — теңгери, амен*].

Как показывают документы и топонимические названия, в Венгрии имелись также «татары», которые в действительности представляли собой тюрков-кыпчаков из Золотой Орды; это были «татары», напавшие на Венгрию в 1285 г. и взятые в плен при отступлении. Вместе с куманами и татарами часто упоминаются «neugari» (венг. *nyőgér*). Этот народ, собственно, не представляет собой особой этнической группы: мы имеем здесь дело с куманами (по-куман-ски *nöger* «товарищ»), которые находились при дворе и в охране короля Ласло IV Куманского (1272—1290 гг.), как это было обычно во времена монгольского феодализма [30].

Следующей группировкой, говорившей на тюркском языке, были в Венгрии χαλιστοι = венг. *káliz* (русск. *Халиси*) [31] и частично также *böszörmény* (<*büsürmen* <*musülman*) [32], как называли здесь исмаилитов.

Перечисленные тюркские языки в Венгрии впоследствии вымерли. После периода турецкого завоевания, т. е. к концу XVII в., в Венгрии не оставалось уже больше этнических элементов, говорящих на тюркских языках.

В XVI в. в Венгрию пришла новая тюркская волна, на этот раз не с севера, как это было ранее, а с юга и не в форме мирного переселения: в 1541 г. османы завоевали город Буду и в течение полутора столетий владели южной и средней частью страны; большая часть страны превратилась в составную часть Османской империи. Завоевание сопровождалось широким, но весьма поверхностным языковым влиянием. В болгарском и албанском языках обычно насчитывают по 7000 турецких заимствований; число турецких заимствований велико также в сербском, греческом и румынском. В Венгрии, где турецкое завоевание длилось полтора столетия, но где не было турецких поселений и не был распространен ислам, турецкое языковое влияние проявлялось в несколько ином виде. В языке образованной части венгров в 1600 г. было едва ли больше 800 турецких слов, из которых до настоящего времени сохранилось не более ста. Безусловно, здесь нельзя говорить ни о каком двуязычии в собственном смысле этого понятия; турецких грамматических элементов в венгерском языке нет вообще. К тому же было даже ясно доказано, что большая часть из числа этих 800 заимствований проникла в венгерский язык через южнославянское, а в некоторых случаях итальянское и немецкое посредство. Возможно также, что некоторые из этих слов проникли в венгерский прежде из какого-то кыпчакского языка. Легко понять, что историю заимствований этого типа можно проследить лишь с большим трудом; в большинстве случаев историю этих слов установить вообще невозможно. В прежних исследованиях не придавалось большого

[27] J. Németh, Zur Kenntnis der Petschnegen, KCsA, J, 1922; J. Németh, Die petschenegischen Stammesnamen, UJb, X, 1930; названия печенежского происхождения в Венгрии разбираются также в работе Г. Дьерффи «Печенеги и венгры» (Gyórffy Gy., Besenyők és magyarok, KCsA, Ergänzungs-Bd., 1939).

[28] J. Németh, Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós.

[29] См. L. Rásonyi, Les noms toponymiques comans du Kiskunság, «Acta linguistica Hung.», VII, 1—2, Budapest, 1957; см. также введение к моей работе «Eine Wörterliste der Jassen, der ungarländischen Alanen» в «Abhandl. der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprache, Literatur und Kunst, Jg. 1958.

[30] J. Németh, Wanderungen des mongolischen Wortes *nökür* «Genosse», «Acta orient. Hung»., III, 1—2, 1953.

[31] См. M. Gyóni, Kalizok, kazárok, kabarok, magyarok, MNy, XXXIV, 1938.

[32] См. статью на слово *böszörmény* в этимологическом словаре З. Гомбоца и Я. Мелиха (Gombocz Z., Melich J., указ. соч.).

значения истории турецких слов: турецкие формы приводились на основе литературных источников, а особенности старых турецких диалектов, как и история слов внутри самого турецкого языка почти полностью упускались из виду [33]. Венгерские ученые в многочисленных небольших по объему работах исследовали соответствующие слова [34].

Весьма ценной для венгерской ономастики и для истории обозначения звуков турецкого языка является работа Д. Кальди-Надя о турецких сборах подати, в которой венгерские имена, написанные арабским шрифтом, транскрибируются латинским шрифтом по новому методу [35].

Ю. Немет

Перевел с немецкого *М. М. Маковский*

[33] См. Németh J., Osmanlı-türk dili tarihi araştırmalarının yeni yolları, «VIII Türk Dil Kurultayında okunan bilimsel bildiriler», 1957 («Türk Dil Kurumu Yayınlarından», № 179, Ankara, 1960).

[34] См. указатели лингвистических журналов NyK, MNy, Nyr. См. также Gombocz Z., Melich J., указ. соч.; Bárczi G., Magyar Szófejtő Szótár, Budapest, 1941; Kniezsa I., A magyar nyelv szláv jövevényszavai, Budapest, 1955; Bárczi G., A magyar szókincs eredete, Budapest, 1958, стр. 60 и сл. Недавно эта тема разработана в широко задуманной, но пока еще не оконченной монографии Ж. Какук, отдельные части которой уже вышли в свет.

[35] Káldy-Nagy Gy., Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai, Budapest, 1960.

ОБ ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЯПОНИИ

Для послевоенного языковедения в Японии характерно большое внимание к проблеме так называемого «языкового существования» [1] (гэнго-сэйкацу), т. е. к практике языковой действительности. Работа по изучению и осмыслению явлений языковой действительности ведется в Японии широким фронтом. К ней привлечены крупные научные силы, пресса, радио, телевидение, некоторые коммерческие предприятия. По сведениям, опубликованным в ежегодном отчете японского Государственного исследовательского института родного языка, в 1960 г. выпущено 27 отдельных изданий по вопросам техники речи, не считая 12 работ о языковом воздействии так называемых «массовых коммуникаций»— газет, радио, телевидения, рекламы. За тот же период в общественно-политических, литературных журналах и периодических изданиях научно-исследовательских учреждений помещено 22 работы по «языковому существованию» и 69 работ о массовой коммуникации. В крупнейших центральных японских газетах — «Асахи», «Майнити», «Йомиури», «Токио-симбун» и др., в провинциальной газете «Тюбу-Нихон», в «Библиотечной газете» («Тосё-симбун»), «Читательской газете» («Нихон gокусё-симбун»), в «Известиях газетной ассоциации» («Симбун-кёкай-хо») и ряде других за тот же год помещено 116 статей и заметок о «языковом существовании» и 87 — о массовой коммуникации [2].

Изучение языковой практики — одна из основных задач Государственного исследовательского института родного языка [3], созданного в соответствии с правительственным декретом (декабрь 1948 г.). Проф. Минору Нисио формулирует эти задачи следующим образом: «1) проведение научных исследований по языковому существованию и культуре языка на современном этапе, 2) проведение научных исследований в области исторического развития родного языка в свете концепции „языкового существования", 3) проведение научных исследований по преподаванию родного языка, 4) проведение научных исследований в области словоупотребления прессы и радио» [4]. В противоположность традиционному довоенному изучению родного языка преимущественно в историческом плане «...на Государственный исследовательский институт родного языка с самого начала была возложена задача проведения основополагающих исследований в области улучшения языкового существования нации и рационализации языка...» [5]. В отличие от традиционных индивидуальных исследований в университетских лабораториях в Институте родного языка ведутся коллективные исследования и исследования при участии большого числа людей, при этом используется методика точных наук, в частности статистика; широкое применение нашла новейшая отечественная и заграничная аппаратура.

[1] См. Н. И. Конрад, О «языковом существовании», «Японский лингвистический сборник», М., 1959.

[2] «Кокурицу-кокугокэнкюдзё-нэмпо», 12 («Ежегодный отчет Гос. исслед. ин-та родного языка»), Токио, 1961, стр. 121—125.

[3] См. Н. И. Фельдман, О работе Государственного исследовательского института родного языка в Токио, ВЯ, 1956, 3.

[4] Журн. «Гэнго-сэйкацу» («Языковое существование»), 1959, 6 (93), стр. 59.

[5] Там же, стр. 63.

В 1961 г. помимо 33 штатных и 20 нештатных научных сотрудников Института к изучению техники речи, «языкового существования нации» были привлечены 20 ученых — лингвистов, литературоведов, историков, в том числе такие ведущие лингвисты, как акад. Кёскэ Киндаити, д-р Сиро Хаттори, д-р Мотоки Токиэда, ряд писателей, юристов, деловых людей, которые вошли в состав Консультативного совета института; возглавлял Консультативный совет в 1961 г. известный писатель и критик д-р Дзэммаро Токи.

С 1949 г. Институт выпускает ежегодные отчеты, где реферируются исследования по разным вопросам, проведенные Институтом за год. Важнейшие из этих исследований издаются в серии «Докладов государственного исследовательского института родного языка»[6]. С 1951 г. издается специальный ежемесячный журнал «Гэнго-сэйкацу» («Языковое существование»), популяризующий новое направление в изучении языка. С 1954 г. Институтом регулярно выпускаются лингвистические ежегодники («Кокуго-нэнкан»), в которых дается обзор научной жизни в области лингвистики в Японии за год по разделам: устная речь, письменная речь, диалекты, общее языкознание, изучение родного языка, языковая политика, преподавание родного языка (в начальной, средней и высшей школе), язык объявлений и рекламы, японская литература (до 1957 г. имелись еще и разделы: радиовещание, газеты, театр, издательское дело, деловая документация). Кроме того, в ежегоднике дается перечень всех опубликованных за год (в виде отдельных изданий, а также на страницах журналов, газет и т. д.) работ по языковой практике и связанным с нею вопросам, по истории японского языка, фонетике, фонологии, письменности, грамматике, лексике, лексикологии, диалектам, массовым коммуникациям и т. д. Печатаются также отчеты о работе центральных и местных научных обществ, деятельность которых связана с изучением языковой практики. Из опубликованных к настоящему времени трудов Института следует упомянуть также четыре сборника, в которых суммированы материалы исследований, проводимых коллективом Института, и библиография, а также юбилейный сборник «Исследование речи»[7].

Лингвистический ежегодник 1962 г. называет 29 центральных научных обществ, деятельность которых связана с изучением языковой практики. В их числе — учрежденное в 1958 г. при парламенте «Общество обсуждения языковой политики» («Гэнго-сэйсаку-о ханасиаукай», его членами являются депутаты парламента и ученые); «Научное общество языка нового времени» («Киндайгогакукай», 1959 г.), целью которого является координация деятельности исследователей, изучающих историю развития современного японского языка с момента начала его сложения (XV—XVI вв.), а также «Общество устной речи» («Ханасикотоба-но кай», май 1962 г.), задача которого, как сказано в его уставе, «показать значение устной речи в языке, исследовать и научно освещать речевой акт в устной речи». Следует сказать, что в каждой префектуре при университетах или самостоятельно существует по нескольку обществ — «Общество родного языка и литературы», «Общество по исследованию преподавания родного языка» и др., которые в своей работе уделяют значительное место вопросам языковой практики. Таких обществ и организаций «Лингвистический ежегодник» 1961 г. насчитывает 230. Государственный исследовательский институт родного языка поддерживает постоянную связь с этими обществами, назначая ежегодно во все крупные города своих уполномоченных из числа местных специалистов. Через посредство созданного здесь своего языковедческого актива Институт получает информацию о языковедческой работе на местах, собирает и систематизирует все опубликованные на местах материалы и издания.

Много внимания уделяет вопросам языковой практики радио, а в последнее время и телевидение. Наиболее крупное радиообъединение «Японская радиовещательная ассоциация» («Нихон-хосокёкай», или NHK), помимо передач «Класс родного языка» для школьников младших и средних классов (6 раз в не-

[6] «Кокурицу-кокуго кэнкюдзё-хококу» (Токио). К 1962 г. таких докладов вышло 21. Их перечень см. в «Проспекте Гос. исслед. ин-та родного языка» (Токио, 1962); среди докладов, изданных в последнее время, назовем следующие выполненные коллективом 1-го и 3-го отделов института работы: «Исследование лексики современного языка,— словарь толстых журналов, часть 1 и 2» («Гэндайго-но гои-тёса; сого-дзасси-но ёго, дзэмпэн, кохэн», 1957), «Словоупотребление газет начального периода Мэйдзи» («Мэйдзи-сёки-но симбун-но ёго», 1959), «Обзор лексики и иероглифики современных журналов 90 различных видов» («Гэндай-дзасси кюдзюсю-но ёго, ёдаи», 1962), «Структура предложения в устной речи — исследование на материале диалога» («Ханасикотоба-но бункэй, тайва-сирё-ни ёру кэнкю», 1961), «Формы вежливости и их осознание» («Кэйго то кэйго-исики», 1957), «Описательное исследование диалектов Японии («Нихон-хогэн-но кидзюцутэки кэнкю», 1960), «Исследование омонимов» («Доонго-но кэнкю», 1961) и др.

[7] «Котоба-но кэнкю», Токио, 1961.

делю по 15 минут), а также для школьников старших классов и учащихся заочного обучения (4 раза в неделю по 25 минут), в течение ряда лет проводила два цикла передач по языковой практике, предназначенных для массового слушателя. Это — «Уголок изучения речи» («Котоба-но кэнкюсицу», 1947—1959 гг.) и «Лекции по родному языку» («Кокуго кодза», 1955—1960 гг.). В передачах первого цикла освещались те из вопросов «языкового существования», которые особенно остро ставятся повседневной жизнью; второй цикл передач имел целью развитие культуры речи. Авторами передач были такие лингвисты, как д-р Харухико Киндаити, д-р Сиро Хаттори, д-р Минору Умэгаки, д-р Минору Нисио, д-р Даэммаро Токи, диалектолог и этнограф акад. Кунио Янагита, лексикологи Эйтаро Хирота, Такэси Сибата, Тадатоси Окубо и другие авторитетные ученые [8].

Из других периодически проводившихся передач радиовещания можно упомянуть, например, цикл «Зарисовки японского языка» («Нихонго-но сукэтти»), осуществлявшийся в 1956 г. по воскресеньям: это записанные на пленку живые сценки, отражающие «языковое существование» различных слоев населения и представителей различных профессий [9].

С апреля 1960 г. Японской радиовещательной ассоциацией начат новый цикл воскресных передач «Форум речи» («Котоба-но хироба») по вопросам современного состояния и перспектив развития японского языка. В ноябре 1962 г. открыта серия передач «Рождение речи» («Котоба-но тандзё»), в которых прослеживается развитие «языкового существования» у детей до 5 лет.

С осени 1959 г. в разделе общеобразовательных передач телевидения Японской радиовещательной ассоциации начат цикл передач «Уголок изучения родного языка» («Кокуго-кэнкюсицу», NHK-по кёику-тэрэби), посвященных вопросам фонетики, лексики, истории японского языка, языковой практики и учения о языковом акте. В качестве лекторов привлечены психолог д-р Кандзи Хатано, лингвисты д-р Харухико Киндаити, Такэси Сибата, Акира Мацумура, Хидэо Кобаяси и др.

В системе Японской радиовещательной ассоциации имеется Комиссия по лексике радиопередач (Хосо-ёго тёса-иинкай), в обязанности которой входит руководство языковым оформлением радиопередач, и Научно-исследовательский институт культуры радиовещания (NHK Хосо-бунка-кэнкюдзё), задачей которого является исследование в области языка радиопередач, в частности обследование доступности языка радиопередач для различных категорий слушателей. В работе этого Института принимают участие крупные ученые: акад. Кёска Киндаити и др. Институт выпускает журнал «Культура радиовещания NHK» («NHK хосо-бунка»), а также «Ежемесячный бюллетень» («NHK бункю-гэппо»), «Доклады о научно-исследовательской работе института» («Хосо-бунка-кэнкюдзё тёса-кэнкю-хококу») и отдельные издания, в которых публикуются результаты проведенных здесь исследований [10]. Ведется работа в области

[8] Оба цикла изданы двумя отдельными сериями. Серия «Уголок изучения речи» включает выпуски: «Особенности японского языка» («Нихонго-но токусёку»), «Языковое существование японцев» («Нихондзин-но гэнго-сэйкацу»), «Истоки речи» («Котоба-но юрай»), «Правильное выражение» («Тадасий хёгэн»), «Японский язык завтра» («Асу-но нихонго»). Серия «Лекции по родному языку» включает следующие книги: «Использование слов» («Котоба-но цукаиката»), «Ведение разговора» («Ханаси-но сусумэката»), «Артикуляция и произношение» («Хассэй то хацуон»), часть 1 и 2, «Тенденции современного языка» («Гэндайго-но кэйко»), «Наше языковое существование» («Ватакуситати-но гэнго сэйкацу»), «Что такое предложение» («Бунсё то ва нани ка»), «Путешествие диалектов» («Хогэн-но таби»), «Как развиваются диалекты» («Хогэн-но сюдзюсо»), «Диалекты и культура» («Хогэн то бунка»), «Что нужно знать о японском языке» («Нихонго-но дзёсики»), «Как слушать и как говорить» («Кикиката то ханасиката»), «Психология речи» («Котоба-но синри»).

[9] Среди передач, проводившихся в течение 1956 г., назовем такие, как: «Язык борцов сумо» («Сумо-но котоба»), «На ипподроме» («Кэйба-но котоба»), «Трамвай и автобус» («Басу то дэнся»), «Выборы и речь» («Сэнкё то котоба»), «Народ и полиция» («Минсю то кэйсацу»), «Язык торговцев» («Уримоно-но коэ»), «Язык золотой молодежи» («Тайёдзоку-но котоба»), «В приемной» («Укэцукэ»), «Ловцы жемчуга» («Ама»), «Железнодорожный этикет» («Тэцудо-но этикэтто»), «В туристском автобусе» («Канко басу»), «Язык деревни» («Носон-но котоба»). «На овощном рынке» («Сэйка-сидзё») и др.

[10] Среди них такие работы, как: «Исследование синтаксиса текстов радиопередач» («Хосо-бунсё-но кэнкю»), «Лексика, письменные знаки и тексты в телевидении» («Тэрэби-но ёдзи, ёго то какиката»), «Словарь терминов спортивных радиопередач» («Супопуёго-дзитэн»), «Словарь произношения японских географических названий» («Нихон-тимэй хацуон дзитэн»), «Материалы по языковому существованию нации» («Кокуминсэйкацу-дзикан-сирё-хэн») и др. (см. «Лингвистический ежегодник», 1959 стр. 41—42; там же, 1963, стр. 3).

речеведения и японскими частными радиовещательными компаниями; здесь необходимо прежде всего назвать созданное в ноябре 1955 г. «Общество изучения лексики радиопередач Лиги частного радиовещания» (Минкан-косо-рэммэй хосо-ёго кэнкюкай).

Такова далеко не полная картина исследований и работ, ведущихся в Японии в области языковой практики. Возникает вопрос, в чем причина большого интереса, проявляемого в Японии к этому направлению лингвистических исследований? По мнению Н. И. Конрада, «эти причины коренятся в условиях настоящего исторического момента, конкретно— в огромном развитии публичной речи и в небывалом по широте охвата распространении того, что принято называть „массовой коммуникацией“» [11]. Средства так называемой массовой коммуникации достигли в Японии необычайного развития. Японские газеты расходятся ежедневно общим тиражом в 35 миллионов экземпляров при общем числе населения менее 100 миллионов человек. (Правда, если учесть, что по данным обследований, проведенных в городах Сиракава и Цуруока, крестьянин, например, тратит на чтение газет приблизительно 1 минуту в день, а ремесленник — 15 минут [12], то значение этих цифр, по-видимому, не следует преувеличивать.) Бурно развивается радиовещание и телевидение. По данным абонентского учета Японской радиовещательной ассоциации к началу 1961 г. радиоприемники имелись у 70%, а телевизоры — у 32% (к ноябрю 1962 г.— у 58,6%) японских семей. Вместе с тем подъем политической активности масс в послевоенной Японии способствовал тому, что публичная речь стала массовым явлением.

Таким образом, сама создавшаяся в Японии в послевоенные годы атмосфера интенсивнейшего «языкового существования», атмосфера всеобщего интереса к языковой практике вызвала к жизни в японском языкознании именно это направление, которое отражает подход к языку как к средству общения, как к общественному явлению. В то же время успехи современной вычислительной техники и статистики позволяют ученым подвергать обработке огромный эмпирический материал языковой практики, с которым прежними методами справиться было невозможно.

Можно предполагать и другие причины, которые в указанных выше условиях стимулировали активное изучение вопросов практики языковой действительности. Речь идет о лингвистических учениях, под влиянием которых складывались взгляды японских ученых в последние десятилетия. Основным среди таких учений японские ученые признают современный структурализм, разделяя его в целом на структурализм европейский и американский. Признавая структурализм основным течением в японском языкознании, Юкио Уэмура, например, в то же время подчеркивает, что в Японии структурализм «это совсем не то же самое, что различные направления его в Европе и Америке. И, если в Японии под влиянием той же американской науки становятся на позиции отрицания так называемого ментализма, что дает высокую объективность и позитивность в исследованиях, а фонетику, например, поднимает на необычайно высокий научный уровень и т. д., то к механистическому (а в действительности идеалистическому) применению объективизма американской дескриптивной лингвистики у нас относятся в известной мере с опаской...» [13]. В американском структурализме японские лингвисты критически относятся также к «тенденции ограничения задач лингвистики только отношениями в системе языка, игнорирования изучения значения и общественной функции языка, равно как и к неясной роли, которая отводится историческим исследованиям» [14]; при этом указывается, что эти тенденции чреваты опасностью игнорирования исследования языка как формы культуры определенного общества, опасностью скатиться к ошибочным идеалистическим позициям.

Что же касается европейского структурализма, то «оставившими наибольший след в развитии структуралистических взглядов на язык и оказавшими самое большое влияние на языкознание» в Японии признаются, «во-первых, Ф. де Соссюр и швейцарская школа и, во-вторых, Н. С. Трубецкой и пражская школа»; влияние же течения, возглавляемого Л. Ельмслевом, «еще не велико» [15]. Однако учения Ф. де Соссюра и Н. С. Трубецкого воспринимаются в Японии не безусловно; показательно, например, признание, что «теория языкового процесса д-ра Токиэда Мотоки и фонология д-ра Арисака Хидэё возникли под влиянием взглядов Ф. де Соссюра и Н. С. Трубецкого, но в качестве их антитезы» [16]. Не соглашаясь с тем, что языковая система это система «чистых отношений», и не принимая обусловленный этим отрыв языка от мышления, крупнейший японский лингвист д-р Сиро Хаттори «...находит ключ к объ-

[11] Н. И. Конрад, указ. соч., стр. 12.

[12] Там же, стр. 15.

[13] «Лингвистический ежегодник», 1956, стр. 18.

[14] «Лингвистический ежегодник», 1955, стр. 102.

[15] Там же, стр. 95, 96.

[16] Там же, 1956, стр. 18.

яснению явлений языка в учении об условных рефлексах Павлова»[17].

Все это наводит на мысль, что нынешнее стремление японских ученых к изучению в больших масштабах явлений практики языка является также своеобразной реакцией на современный западноевропейский и американский структурализм, сосредоточивший главное внимание на исследовании языка прежде всего как системы, на изучении синхронного состояния языка, т. е. тех его сторон, которые не затрагивают явлений «языкового существования» — речи. В противовес американским и европейским структуралистам японские лингвисты признают, что «изучение языка с точки зрения его роли в жизни общества, изучение связи между языком и реальной жизнью общества — вопрос большой и охватывающий многие области. Сюда относятся и семантика в широком смысле и социология языка. До сего времени на эту сторону изучения лингвисты не обращали особого внимания, и даже в настоящее время дело доходит до того, что это изучение объявляют лежащим за пределами лингвистики, но не подлежит никакому сомнению, что именно эта сторона изучения языка является особо важной как объект специального изучения языковедов»[18].

Работы японских лингвистов, исследующих так называемое «языковое существование» и уже сделавших ряд ценных наблюдений и выводов, несомненно, заслуживают внимания советских языковедов.

С. В. Неверов

[17] Там же, 1961, стр. 22.

[18] Там же, 1955, стр. 100.

РЕЦЕНЗИИ

«Problémy marxistické jazykovědy». — Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962. 452 стр.

Рецензируемый сборник содержит материалы конференции об актуальных вопросах марксистского языкознания, организованной в декабре 1960 г. Институтом чешского языка Чехословацкой Академии наук.

Сборник освещает три основных круга проблем: I. Методологические проблемы марксистского языкознания (стр 9—137), II. Отношение языка и мышления (стр. 141—281), III. Развитие языка и развитие общества (стр. 285—384). К проблематике третьего круга примыкают вопросы, имеющие более специальное значение, которым посвящен последний раздел сборника: IV. Актуальные вопросы взаимоотношений между чешским и словацким языками (стр. 387—422).

Теоретическим введением к сборнику служит статья акад. Б. Гавранка «Очередные методологические проблемы марксистского языкознания» (стр. 9—19), содержащая обзор пути, пройденного чехословацкой лингвистикой за период 1950—1960 гг., и намечающая перспективы дальнейшего развития марксистского языкознания. В статье сформулированы основные диалектические противоречия, которые характеризуют предмет лингвистики — язык. В связи с тем, что эти противоречия существуют в самом языке как в объективном общественном явлении, единственным адекватным методом познания языковой действительности является марксистская диалектика. Новым по сравнению с предшествующим периодом является выдвижение на первый план синхронного исследования, обоснованное теоретической необходимостью познания системы языка, а также практическими нуждами современного общества. (О примате синхронии над диахронией, вытекающем из необходимости системного воззрения на язык, говорится также в статье проф К. Горалка «К применению новых методов в марксистском языкознании».)

В статье «Философские проблемы структуры и системы», посвященной некоторым общим вопросам методологии марксистской науки (стр. 24—35), философ К. Косик на основе анализа метода К. Маркса в «Капитале» показывает, что понятие системы является одним из основных понятий марксистской научной методологии. Отмечая, что целый ряд наук характеризуется в начале XX в. стихийным стремлением к диалектике[1], автор в то же время показывает, что категория «целостности» (которая является важнейшим понятием ряда наук, в том числе и лингвистики) в идеалистической философии становится понятием недиалектическим.

В статьях, посвященных использованию новых методов в марксистском языкознании, весьма положительно оценивается значение математического и логического подхода к решению линг-

[1] Любопытно упомянуть в этой связи об «огромном впечатлении», которое произвело на Л. Блумфилда при изучении «Капитала» «сходство подхода Маркса к социальному поведению» с аналогичным подходом, установившимся в лингвистической науке в 20—30-е годы (см. Z. S. Harris, [рец на кн.:] Selected writings by Edward Sapir in language, culture and personality, «Language», XXVII, 3, стр. 297).

вистических проблем. Математические методы необходимы для решения целого ряда актуальных задач кибернетики и автоматизации, в котором принимает участие языкознание (машинный перевод, проблемы передачи и обработки информации и т. п.) см статью П. Сгала и П. Новака «Математические методы и марксистское языкознание» (стр. 41—50), в которой авторы, исходя из опыта работы по машинному переводу, дают в то же время общую оценку математических методов с точки зрения марксистской научной теории и методологии. Вместе с тем подчеркивается, что применение математических методов важно не только для решения практических задач, но также и для научного познания языка. Уточнение квантитативных методов анализа способствует более глубокому пониманию квалитативных сторон языковой системы и языковых отношений (Л. Долежел, Значение теории информации для марксистской лингвистики, стр. 66). Теория информации подтверждает основное положение марксистского языкознания о диалектическом характере языковых отношений (Й. Земан, Информация и материальное единство мира, стр. 73). Полностью оправдано с точки зрения теории информации принципиальное разграничение языка как системы условных средств (норм) и конкретных языковых проявлений (т. е. «langue» и «parole»), а также разграничение синхронии и диахронии (К. Горалек, Применение новых методов в марксистском языкознании, стр. 37). [Следует отметить, что о правомерности последнего разграничения говорится и в докладе философа Б. Валеграха «Формы отражения действительности и понятие языкового знака», подчеркнувшего, что «споры о преимуществах синхронных методов над диахронными или наоборот являются с диалектической точки зрения недоразумением. И тот и другой метод диалектически связаны и определяются характером п р е д м е т а исследования» (стр. 143—144) [2]].

Ряд статей сборника посвящен критическому анализу некоторых современных лингвистических направлений. В докладе И. Польдауфа «Структурализм и американский дескриптивизм» (стр. 79—104) дается обстоятельный обзор американского дескриптивизма с преимущественным вниманием к тому крайнему течению, которое характеризуется стремлением исключить из научного исследования значение. Представляет интерес общая характеристика структурализма, определение соотношения между разными структуральными школами. Можно согласиться с тем, что дескриптивизм занимает в некоторых отношениях промежуточное положение между пражской и копенгагенской школами (стр. 83 и сл.), однако следует иметь в виду, что определенные черты, напротив, сближают эти две последние школы, противопоставляя их вместе дескриптивизму (что дает основание американцам говорить о «европейском структурализме»). Можно указать, в частности, на отношение к семиологической функции, которая для пражских и датских структуралистов представляется внутренней функцией языка, а для американцев — внешней функцией, в связи с чем некоторые дескриптивисты и стремятся ограничить ее роль в описании лингвистических фактов, а иногда вообще хотят ее элиминировать — не только из фонологии, но и из морфологии. Поэтому кажется не вполне удачным замечание о том, что «дескриптивисты вначале не исключали значение в о т л и ч и е о т г л о с с е м а т и к о в» (стр. 86; разрядка моя.— *Т. Б.*), так как для последних характерно внимание к «плану содержания» на всех уровнях анализа (сами датские лингвисты именно на этом основании противополагают глоссематику вместе с пражской школой американскому структурализму[3])

Статья Э. Скалы «Критика лингвистического учения Л. Вайсгербера» (стр. 111—123) рассматривает лингвистическую теорию западногерманского ученого, вскрывая ее философские корни и общественно-политический смысл. Некоторые специальные вопросы концепции Вайсгербера затронуты в интересной статье О. Лешки «К системному и функциональному воззрению на язык» (стр. 129—132).

В статье «О лондонской лингвистической школе» (стр. 126—128) Й. Вахек (ранее посвятивший этой школе более подробный анализ) [4] дает краткую характеристику этому малоизвестному у нас лингвистическому направлению.

Основное место в докладах второго раздела сборника, посвященного отношению языка и мышления, занимает один из центральных вопросов данной проблематики, а именно отношение языковой

[2] Нам представляется, что в подобных случаях точнее говорить о ц е л и исследования, определяющей адекватный метод, ср. подобное понимание различия между методами «аналитического сравнения» и сравнительно-исторической грамматики в пражской школе (B. T r n k a, Méthode de comparaison analytique et grammaire comparée historique, TCLP, I, 1929, стр. 35—36).

[3] Ср., например, E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, Remarques sur les principes de l'analyse phonémique, TCLC, V, Copenhague, 1949.

[4] См. J. V a c h e k, The London group of linguistics, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», VIII. Řada jazykovědná, 7, 1959.

структуры и ее элементов к формам мышления и познания, а также тесно связанный с ним вопрос о знаковой природе языка. В философском аспекте проблема соотношения языка и мышления рассматривается в докладе Б. Валеграха «Формы отражения действительности и понятие языкового знака» (стр. 141—153), в котором разграничены часто смешиваемые познавательные формы отражения действительности в человеческом сознании и «субъектные» его формы (элементарные ощущения, представления индивидуальной и коллективной фантазии, чувства, внимание и воля). Автор доказывает, что ошибочно связывать язык с мышлением лишь в узком нормативно-логическом смысле, так как язык, являясь общественным средством сообщения сознания, «материальным мостом от сознания к сознанию» (стр. 146), есть средство коммуникации в с е х форм отражения действительности — как познавательных, объектных, так и качественно отличных отражений второго рода. В подтверждение связанного с этим положением и убедительно аргументированного вывода о том, что не все языковые единицы выражают значение, соотносительное с понятием, приводятся — наряду с междометиями — не вполне бесспорные примеры прилагательных (*červený*, *sladký*) и глаголов (*voňat'*, *boliet'*), а также предложения типа *Jaj*, *či to bolí! Aká krásna červeň*, относительно которых автор выражает сомнение в их соответствии суждениям и в том, что они «вообще содержат какое бы то ни было понятие» (стр. 150, 152; ср. статью В. Будовичовой «К методологии семантического исследования», стр. 271, где эти соображения получают поддержку и со стороны лингвистики).

Об ошибочности отождествления языковых явлений и форм мышления, а также постулирования прямого соответствия основных языковых и основных (традиционно-) логических категорий (слово — понятие, предложение — суждение) говорится и в других статьях данного раздела: статье П. Троста «О влиянии языка на мышление» (стр. 156—159), в которой автор высказывает интересные соображения в пользу признания определенного воздействия, оказываемого языком на мышление (об известном влиянии языка на мышление говорится также в статье М. Докулила и Я. Кухаржа «Отношение между языком и мышлением в структуре наименования», стр. 240), К. Берки «О значении современной формальной логики для языкознания» (стр. 160—174), выступающего за использование в лингвистике методов и результатов современной формальной (математической) логики, а также в статьях, решающих конкретные проблемы отношения языка и мышления — в области синтаксиса [Й. Ружичка, Что выражается синтаксическими единицами? (стр. 208—216), Я. Бауэр, Развитие синтаксиса и развитие мышления (стр. 218—220)] и лексики (Г. Горак, Взаимоотношение элементов языка и мышления в области словарного запаса, стр. 228—232; названные выше статьи М. Докулила и Я. Кухаржа, В. Будовичовой; Й. Филипец, К вопросу о слове и значении, стр. 275—277). Вводная статья акад. Фр. Травничка «Синтаксические и лексические значения и средства» (стр. 185—196) касается взаимоотношения между синтаксическими и лексическими значениями и средствами их выражения.

Достоинством статьи Й. Ружички «Что выражается синтаксическими единицами?» является четкая постановка ряда важных вопросов, связанных с отношением синтаксических единиц к единицам мышления, хотя предлагаемые решения представляются в ряде случаев дискуссионными. Не вызывает сомнения правомерность выделения двух основных единиц синтаксиса: элементарной — синтагмы и высшей — предложения, что находит соответствие и в морфологическом плане, внутри которого чешские лингвисты устанавливают также наличие двух — элементарной и высшей — единиц (морфема и слово) (ср. стр. 255, выступление П. Троста). Плодотворным представляется и разграничение предложения, являющегося единицей языковой системы, и «высказывания» (výpoved'), являющегося единицей коммуникации (jazykového prejavu), если его понимать в духе предложенного еще В. Матезиусом различения предложения как абстрактной модели (область «langue») и предложения как конкретного высказывания, выступающего в акте речи (область «parole») [5] (в сборнике получила отражение и иная интерпретация соответствующих понятий; см. стр. 222—225 и особенно замечания К. Гаузенбласа — стр. 223—224). Что касается решения вопроса, который стоит в заглавии статьи Ружички [сюда относится тезис о том, что «высказывание» (а не предложение) является языковым коррелятом «мысли», подобно тому, как языковым коррелятом понятия яв-

[5] См., например, V. M a t h e s i u s, On the systematic analysis of grammar, TCLP, VI, 1936. Разграничение предложения как абстрактной модели и как конкретного высказывания параллельно, по Матезиусу, разграничению слова в «его концептуальном значении» (сфера языка) и слова, относящегося к конкретной действительности (сфера речи) — V. M a t h e s i u s, указ. соч., стр. 106; сходные идеи развивает в сборнике Й. Филипец: см. его статью, стр. 275, где говорится о «лексикальной абстракции» (слово в системе) и «номинативной (pojmenovací) единице» в индивидуальном употреблении (слово в речи).

ляется не слово, а «наименование»], то оно отнюдь не кажется окончательным — прежде всего из-за полной неопределенности (в психологии, или в гносеологии, или в логике) понятия «мысль» (myšlenka), которое, как указывает Ф. Данеш, не может фигурировать в определении предложения или высказывания, так как в этом случае одно неизвестное определялось бы через другое «еще более неизвестное» (стр. 222) [6].

В статье «Отношение между языком и мышлением в структуре наименования» (стр. 235—244) М. Докулил и Я. Кухарж развивают — под соответствующим углом зрения — некоторые идеи «теории лингвистической номинации» («ономатологии») Матезиуса [7]. Для обозначения разных типов структур, определяющих понятийное содержание наименованных явлений и являющихся базой различных номинативных способов данного языка, авторы предлагают термин «ономасиологические категории» [8].

Ономасиологическими структурами (примерно соответствующими традиционному понятию «внутренней формы») авторы называют только такие мыслительные структуры, которые реализуются при помощи категориальных (морфологических и синтаксических) языковых средств (немотивированные, или, в терминологии авторов, знаковые, наименования не обладают ономасиологической структурой). На примерах различных форм словообразования в чешском языке авторы показывают нетождественность ономасиологических структур структурам гносеологическо-логическим.

Более специальные вопросы проблемы отношения мышления и способов номинации рассматриваются в интересной статье К. Гаузенбласа «К вопросу о характерных чертах специальной терминологии» (стр. 248—258).

Кажется справедливым полемически заостренное положение автора о том, что мотивированность, «прозрачность» не относится к основным признакам термина, единственно необходимыми функциями которого являются идентифицирующая функция (по отношению к означаемому явлению) и дистинктивная функция (по отношению к другим терминам). Точное функционирование термина лучше, чем мотивированность, обеспечивает целесообразно организованная структура терминологии (т. е. «системная мотивированность» термина).

Останавливаясь на вопросе о необязательности соответствия единиц наименования понятию, Г. Горак в статье «Взаимоотношение элементов языка и мышления в области словарного запаса» (стр. 232) высказывает мнение, что языковым коррелятом понятия могут быть два слова или даже целое предложение, а с другой стороны — единицы меньшие, чем слово: морфема и фонема (в случае этих низших единиц речь идет не о значении, а о функции). Последнее неожиданное соответствие (так же, как, впрочем, и соотзетствие: предложение — понятие) не аргументировано в статье достаточно ясно.

Вопреки мнению Б. Валеграха (кроме цитированной выше статьи, см. также «Замечания о знаковой теории», стр. 263—267), Г. Горак считает возможным приписывать знаковый характер только материальной (звуковой) стороне лексических единиц, относя значение к психическим явлениям; последние же, будучи отражением объективной действительности в сознании, не могут быть знаками.

Эта мысль Г. Горака не разделяется другими авторами, участвующими в сборнике. Так, В. Будовичова в упомянутой выше статье (стр. 268 и сл.), касающейся некоторых новейших методов исследования лексики и семантики, которые могут помочь решению проблемы языка и мышления, исходит из того понимания, согласно которому языковыми знаками являются все языковые единицы (лексические, морфологические и синтаксические), имеющие значение. Эти единицы характеризуются фиксированной формой и фиксированным значением, которое является, таким образом, неотъемлемым элементом знака. Подобным образом Л. Долежел отмечает, что мнение о том, будто знаком является лишь материальное явление, форма, не согласуется с общей теорией знака (стр. 278), Я. Бауэр же считает споры об унилатеральности или билатеральности языкового знака терминологическим недоразумением, поскольку тот факт, что «каждое языковое средство имеет две стороны», представляется ему очевидным (стр. 279).

Статьи третьего раздела сборника показали, что и проблематика сложных и многосторонних связей языка и общества содержит еще много неясного. Вл. Скаличка справедливо подчеркивает в своей статье «Проблема связи развития

---

[6] Ср. аналогичные соображения А. А. Реформатского («Введение в языкознание», М., 1960, стр. 271).

[7] См. «Тезисы» пражского лингвистического кружка в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II, М., 1960, стр. 73—74; V. Mathesius, On the systematic analysis of grammar, стр. 97—98; особенно его же, Příspěvek k strukturálnímu rozboru zásoby slovní, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947.

[8] Это понятие анализирует специальная глава в книге М. Докулила, посвященной словообразованию: M. Dokulil, Teorie odvozování slov, Praha, 1962 (см. рецензию П. Г. Нещименко в ВЯ, 1962, 5).

языка и общества» (стр. 285—291) мысль о различной степени зависимости развития языка от развития общества в так называемой «внешней» и «внутренней» истории языков.

Во внешней истории, т. е. в истории использования языка в обществе и развития одних языков за счет других, диалектной дифференциации либо, наоборот, стирания диалектов и языковой интеграции и т. п., очевидна непосредственная зависимость языка от общества. Во внутренней истории языка эта зависимость проявляется неодинаково в словаре, в синтаксисе и в остальных планах. Это, в общем известное положение В. Скаличка сопровождает некоторыми любопытными соображениями относительно отражения в языке определенных особенностей развития общества — например, беспризнаковость категории мужского рода автор связывает с ведущим положением, которое долгое время занимал в обществе мужчина (стр. 290).

Специфически характер носят связи между развитием общества и развитием литературного языка. Этим связям посвящена общая статья А. Едлички «Отношение развития литературного языка к развитию общества» (стр. 292—301), в которой убедительно доказывается, что литературный язык является общественно обусловленной величиной с самого своего возникновения (сам выбор диалектной основы определяется экономическими, политическими и культурными факторами), а также более специальные статьи М. Елинка «Влияние развития общества на развитие чешского литературного языка в эпоху национального возрождения» (стр. 305—316), Ф. Данеша «Развитие чешского языка в период социализма» (стр. 319—328) и В. Барнета «О тенденциях к дифференциации и интеграции в развитии литературного языка» (стр. 335—337). Положения статей в значительной мере опираются на теорию литературного языка Пражского лингвистического кружка, связанную прежде всего с глубокими исследованиями Б. Гавранка. В соответствии с традициями пражской школы теоретическое исследование закономерностей развития литературного языка связывается в статьях с практическими задачами его кодификации.

Ряд статей третьего раздела посвящен проблемам развития диалектов в отношении к развитию общества. В статье Э. Паулини «Развитие говоров по отношению к развитию общества» (стр. 349—359) устанавливается наличие в языке двух противоречивых тенденций: тенденции к стабилизации, с одной стороны, и тенденции к адекватному удовлетворению изменяющихся потребностей развивающегося общества — с другой. Дифференциация диалектов является результатом отсутствия экономического, политического и культурного единства определенной территории, напротив — конвергентное развитие говоров связано с социальной конвергенцией.

Статьи С. Утешеного, А. Габовштяка, П. Ондруса, С. Кралика, Й. Скулины рассматривают — с точки зрения исследуемой проблемы — некоторые конкретные вопросы чешской и словацкой диалектологии.

Четвертый раздел сборника содержит статьи, посвященные актуальным для Чехословацкой республики вопросам взаимного отношения между чешским и словацким языками. В связи со специальным характером этой проблемы (и из-за недостатка места) в этой рецензии мы не будем на них останавливаться.

Сборник «Problémy marxistické jazykovědy» дает представление о современном состоянии языковедческих исследований в Чехословакии, которая в прошлом оказала существеннейшее влияние на развитие мировой лингвистики. Нет никакого сомнения, что он вызовет большой интерес среди широких кругов лингвистов [9].

Т. В. Булыгина

[9] Со времени окончания второй мировой войны этот сборник дает, пожалуй, наиболее полный ответ на вопрос, который ставит А. Мартине в первом томе журнала «Lingua»: «Que font les Tchèques?» (A. Martinet, Où en est la phonologie, «Lingua», I, 1, стр. 34).

«Proceedings of the Fourth international congress of phonetic sciences held at the University of Helsinki 4—9 September 1961», ed. by A. Sovijärvi and P. Aalto. — Mouton and Co, The Hague, 1962. 828 стр. («Janua linguarum», X).

В последнее время фонетика стала подлинно экспериментальной наукой [1], что связано, в первую очередь, с разработкой методов автоматического анализа (распознавания) и искусственного синтеза звуков человеческой речи [2]. Именно этой проблематики, прямо или косвенно, касаются наиболее интересные из докладов, представленные в рецензируемом сборнике (специально использованию син-

[1] В этой связи полезно напомнить, что в свое время Э. Зиверс и О. Есперсен выступали против термина «экспериментальная фонетика», поскольку фонетист не изменяет в опыте свой объект, и предлагали заменить термин «экспериментальная» термином «инструментальная» (см. L. Roudet, Eléments de phonétique générale, Paris, 1910, стр. 11 и сл.).

[2] Ср. значение машинного перевода для развития общей теории порождающих и аналитических грамматик.

тезаторов речи было посвящено сообщение Ф. Купера, автоматическому распознаванию — сообщение Д. Б. Фрая, а взаимосвязи обоих аспектов — сообщения Я. Мартони, К. Цедерлунда, И. Лилиенкранц и Б. Линдблума). Основной вопрос, обсуждающийся в докладах сборника, имеет исключительно большой общелингвистический интерес. Речь идет о том, существуют ли однозначные критерии соотнесения физических (в особенности спектральных) и физиологических свойств звуков с фонологическими (или, если угодно, интуитивно выделяемыми человеком) единицами. Как подчеркнул в своем выступлении Дж. Л. М. Трим, большинство выступавших склоняется к той точке зрения, что этот вопрос гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Правда, достигнуты значительные успехи в понимании природы формант (соответствующих резонаторам произносительного аппарата) и в построении адекватных математических моделей процесса звукообразования, что привело к значительному упрощению техники выделения формант как пиков огибающей кривой на спектрограмме (этому вопросу посвящены доклады Г. Фанта и в особенности Б. Линдблума; очень важна также дискуссия между Б. Линдблумом и Э. Фишер-Йоргенсен, состоявшаяся после доклада Б. Линдблума). Такое упрощение делает в свою очередь возможным выяснение формантной структуры и дальнейшего определения качества звука с помощью электронно-вычислительных машин, что значительно облегчает труд фонетиста-экспериментатора (доклад о принципах использования таких устройств в фонетических исследованиях был сделан П. Денесом). Тем не менее остаются существенные трудности, причем многие из них выявляются именно в связи с усовершенствованием методов исследования.

Прежде всего спектральные данные не дают достаточных критериев для сегментации речи. Как подчеркнул в своем докладе Г. Фант, на спектрограмме отчетливо выделяются некоторые сегменты [3] (точнее некоторые сегментные границы), но эти границы не совпадают с границами фонологических единиц. Отдельные признаки одной фонологической единицы, например способа и места образования, выступают не одновременно, а проявляются иногда в сегментах, приписываемых другой единице [4]. Это значительно осложняет процедуру исследования. Методам анализа сочетаний «согласный плюс гласный» посвящено выступление П. Делаттра, известного своими исследованиями «локуса» согласных, т. е. влияния качества согласного на движение формант следующего гласного. Еще больше трудностей связано с сочетаниями «согласный плюс согласный» и «гласный плюс гласный». Значительный интерес для решения проблем сегментации представляет комбинация акустического исследования с кинорентгенографическим, что было показано в специальном сообщении Х. М. Труби [5] и затрагивалось в ряде других сообщений, например о применении этого метода к анализу финских дифтонгов говорил А. Совиярви.

Трудности более принципиального характера, возникшие при изучении звуков в потоке речи, связаны с тем, что, как показано в очень важном сообщении Шерма и Холмса, формантные характеристики гласных в потоке речи оказываются — по сравнению с изолированными гласными — сильно смещенными в сторону нейтрального гласного, причем наблюдается даже пересечение формантных областей разных гласных. Тем самым формантная характеристика оказывается недостаточной для автоматического распознавания гласного. Одна из возможных гипотез состоит в том, что необходимо учитывать такие дополнительные факторы, как, например, интенсивность отдельных составляющих спектра, длительность, переходные процессы и т. п. Как показал, однако, в своем докладе Х. Мол, необходимо учитывать активную роль высшей нервной системы при распознавании звуков речи. На основании некоторых исходных данных (например, распределения формант) мозг строит определенные гипотезы о качестве звука [6], исходя из знаний о структуре языка. Показательно, что в опытах по автоматическому распознаванию речи, о которых рассказывается в выступлении Д. В. Фрая, удалось существенно улучшить результаты, снабдив

[3] Этот тезис, содержавшийся уже в работе Фанта (G. Fant, Acoustic theory of speech production, Stockholm, 1958, стр. 17), был неточно истолкован в некоторых фонологических работах (ср., например, И. И. Ревзин, Об одном подходе к моделям дистрибутивного фонологического анализа, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 81; С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 30).

[4] Необходимо отметить, что одновременно сходные идеи были выдвинуты и экспериментально обоснованы Л. А. Чистович (ср. Л. А. Чистович, Текущее распознавание речи человеком, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1961, 6—7).

[5] См. также H. M. Truby, Acoustico-cineradiographic analysis considerations with especial reference to certain consonantal complexes, Stockholm, 1959.

[6] Вновь стоит обратить внимание на сходные идеи Л. А. Чистович, развиваемые в указанной выше работе.

распознающее устройство памятью, в которую включены сведения лишь о вероятностях двухфонемных сочетаний в соответствующем (английском) языке. Ясно, что учет ограничений, действующих в пределах больших речевых отрезков, может сильно улучшить результаты предсказания. Интересно, что такая модель вполне согласуется с общей идеей моделирования фонологии, изложенной в докладе Халле.

Общее смещение интереса от анализа изолированных звуков и слогов к анализу связной речи проявилось и в обращении к акустическому исследованию «пограничных сигналов» в понимании Трубецкого (доклад И. Лехисте, посвященный границам морфем в эстонском и английском языках), и в возобновлении интереса к физической природе слога (из многих докладов, посвященных этой проблеме, наиболее важен доклад П. Лейдфоджда, критикующий глоточную теорию образования слога и показывающий отсутствие прямых коррелятов между слогом как фонологической единицей и его физической характеристикой).

Ломка экспериментально-фонетических понятий (мы имеем в виду, в частности, эфемерность «естественной сегментации» на синтагматической оси и неполную выраженность всех признаков на парадигматической оси) повышает роль фонологической теории, причем теория эта должна исходить из картины фонетической реальности, раскрываемой сейчас экспериментальной фонетикой.

В связи с этим мы в данной рецензии остановимся лишь на тех фонологических докладах, которые непосредственно связаны с данной проблематикой (это ограничение заставляет нас опустить такие, вообще говоря, интересные, но уводящие далеко в сторону вопросы, как, например, вопросы анализа просодических систем, затронутых в докладах Б. Мальмберга, Б. Хала, Е. Цвирнера, Ж. Фора, К. Горалка и ряда других).

В фонологии образовалось два направления исследований: с одной стороны, это требование тесной взаимосвязи фонологии и фонетики, в особенности подчеркивающееся в выступлении Э. Хэмпа, требование операционной адекватности фонологических понятий данным эксперимента (Г. Фант и многие другие) и, с другой стороны, направление, требующее пока «только» внутренней логической непротиворечивости фонологической теории, удовлетворения этой теории всем требованиям эпистемологического и логического анализа, что дало бы возможность затем проверять ее соответствующими экспериментами и, в случае удовлетворительности, описывать с ее помощью самые разные эксперименты на самой различной аппаратуре (доклад Г. Петерсона и Ч. Филлмора); отметим, что хотя теория С. К. Шаумяна и демонстрируется на дифференциальных фонологических признаках, она может также свободно описывать фонемы и другие акустические элементы, независимо от той аппаратуры, на которой они были получены). Вполне понятна необходимость как того, так и другого аспекта исследований в фонологии. Каждое конкретное описание языка в полевых или в лабораторных условиях ставит вопрос о соотношении фонетики и фонологии. Демонстрируя взаимозависимость последних на примере фонологических систем языков Балканского союза, Э. Хэмп показывает на интуитивном уровне, как артикуляция звуков ограничивает тип системы и восприятия, восприятие звуков — их произнесение и тип системы, а сам тип системы — артикуляцию и восприятие звуков.

Что должно описываться в фонологии? Этот старый вопрос снова был поднят на конгрессе, и решение его, предложенное У. Хаасом, серьезно помогает фонологии в обоих направлениях, рассмотренных выше. Обычно фонология выбирает и описывает единицы, различающие план содержания языка. Правда, к этому уже Н. С. Трубецкой добавил пограничные сигналы (Grenzsignale) — элементы, функция которых состоит исключительно в указании на границы морфологических классов. Но могут быть элементы (не только просодические, но и звуковые), которые указывают на различные грамматические категории (например, интонационный тип в англ. *apply* и др., где различительная сила ничтожно мала), «фонэстетические», по Дж. Ферфу (английское начальное *sl* — в *slide*, *slick*, *slim* и т. д.) и, наконец, так называемый слоговой контур (тип фонологической последовательности классов фонем, который дает возможность различать эти фонемы, но сам в различении не участвует). Итак, каждый из этих элементов указывает на единицу более высокого ранга, классифицирует их. В отличие от различительных элементов, которые выбираются, различающие элементы определяют область выбора (пусть они называются детерминантами). Каждый различающий элемент (дистинктор) по некоторым функциям может рассматриваться как детерминант (например, *p* детерминирует *t*), но обратное неверно. Например, функция «быть однослоговым» очень важна, но не несет никакой различительной функции. Два вида фонологических единиц находятся в дополнительном отношении друг к другу.

Введение детерминантов не только ценно в теоретическом плане, где это поможет более четкому представлению структуры языка, выявлению взаимозависимостей его уровней, но и в практическом, фонетическом плане, так как

уничтожит разрыв между дистинкторами и их «странное» распределение друг относительно друга в эксперименте.

Вопрос фонологических единиц неразрывно связан с вопросом процедуры их выделения. В результате анализа пока можно удовлетворительно получить только дифференциальный фонологический признак (см. доклад Г. Фанта). Слог (обзорный доклад А. Росетти) ни фонологически, ни фонетически пока получить не удается. М. Халле выдвинул предложение о принципиальной несегментируемости потока речи во всем ее объеме. Это обосновывается тем, что произнесение речи предполагает наличие правил артикуляции и «расписания» действия их во времени. Вследствие инерции речевых органов, в особенности при быстром темпе речи, отдельные правила опускаются и тогда из речевого потока выпадают отдельные единицы и целые последовательности.

Поэтому характерно обращение от анализа к синтезу и далее к анализу через посредство синтеза. Синтезирующие процедуры (порождающие грамматики) уже завоевали себе «ядерное» положение в синтаксисе, теперь они начинают с успехом применяться и в фонологии. М. Халле строит три модели восприятия текста на фонологическом уровне, когда сплошной поток речи сразу, без предварительного сегментирования на слоги «переписывается» в виде дискретных единиц — фонем. Выходными единицами являются фонемы или их составляющие дифференциальные признаки, исходными — акустические сигналы.

Первая модель имеет словарь, контроль и устройство, сравнивающие входной сигнал со словарем, который после контроля выдает фонемное представление. Скорость выдачи фонемного представления прямо пропорциональна объему словаря. Для нормального говорящего объем словаря должен быть так велик, что говорящий перестал бы распознавать входящие сигналы. Поэтому эта модель заменяется М. Халле другой, в которой место словаря занимают «порождающие правила». Это дает возможность резко сократить объем словаря и увеличить скорость распознавания, но еще не достигает заданной области. В третьей модели вводится «предварительный анализ», который посылает в сравнивающее устройство только те последовательности, которые еще не идентифицированы [7]. Эта модель удовлетворяет требованиям, предъявляемым к человеку. Набор порождающих правил образует, таким образом, не только «сердцевину» модели порождения, но и ядро модели распознавания. Как в основе анализа, так и в основе синтеза лежит одна и та же структура языка.

Однако возможно, что эллиптическая установка речи не будет таким неодолимым препятствием для сегментации речи на фонологическом уровне. Такой повод дает доклад Х. Карлгрена, посвященный соотношению скорости речи и теории информации. При различной скорости речи наблюдаются различные «отклонения» от фонологически полной формы: сокращения, искажения и т. д. (скорость речи определяется Х. Карлгреном через отношение времени и числа морфем). Если сообщение понято, то может быть определено число морфем и реконструирован их фонологический вид. Затем ставятся вопросы: 1) в каких именно точках фонологической последовательности происходят редукции, 2) какова их амплитуда, 3) какого рода трансформации имеют место (ассимиляция, пропуск, свободное варьирование и т. д.). В принципе можно будет построить правила фонетической (и фонологической) редукции [8], которые помогут и в сегментации текстов. Предполагается возможным сформулировать общие ответы на первые два вопроса в терминах теории информации и объяснить само явление эллиптической речи повышением эффективности кодирования (увеличение пропускной способности канала при заданных условиях вероятности для декодирования). Интересно, что верхняя граница скорости речи определяется не органами речи, а передаваемой информацией. В минимальных последовательностях скорость речи резко колеблется, в то время как на достаточно длинные (на полминуты) сообщения время тратится приблизительно одинаковое (даже на разных языках). Если предполагаемое соотношение трансформаций при заданной скорости речи и статистической структуры языка будет доказано, то, по словам Х. Карлгрена, будет возможным предсказывать фонетическую реализацию слов из данных статистической структуры, в том числе и для мертвых языков.

Статистика, не говоря уже о теории информации, занимает в современной фонологии качественно иное место, чем во времена создания «Основ фонологии» Н. С. Трубецкого.

---

[7] Ср. аналогичный метод независимого анализа русского языка на морфологическом уровне, сформулированный Т. М. Николаевой («Алгоритм независимого математического анализа русского языка» в кн. «Материалы конференции по математической обработке информации», М., 1962).

[8] См. аналогичные процедуры в синтаксисе (Ю. К. Лекомцев, К принципу классификации простых предложений во вьетнамском языке, ВЯ, 1960, 1; L. Nebesky, O jedné formalizaci větného rozboru, SaS, XXIII, 2, 1962, стр. 104).

Давний спор Трубецкого и Цвирнера разрешился, по-видимому, «примирением» сторон на основе современной статистики, теории информации и комбинаторики. Старое представление о том, что язык лежит «вне меры и числа» заменено представлением о статистическом распределении фонем, которое слагается (или распадается) из энтропии фонологической системы и «лингвистического распределения» фонем. Г. Хердан вывел соотношение этих понятий, приняв за исходную теорему о полиномах.

Среди вопросов, находившихся по существу на периферии интересов съезда, однако все более утверждающихся в лингвистике последнего времени, отметим такие, решение которых принадлежит взаимной компетенции психологии, психофизиологии и лингвистики. Это — психология усвоения родного языка ребенком (доклад Дж. Франческато), характерные фонологические дефекты детской речи (доклад А. Аврама), речевые расстройства, связанные с билингвизмом, в раннем детстве (доклад Дж. Ван Таля). В докладе Дж. Франческато намечаются основные проблемы усвоения фонологической системы родного языка, начиная с доязыкового периода развития ребенка. Современная постановка вопроса о психологической реальности фонемы отнюдь не является анахронизмом и свидетельствует скорее о зрелости фонологии, испытывающей необходимость поставить в соответствие основным своим, достаточно развитым понятиям, некоторые психологические корреляты и уяснить психологическое содержание различных сторон речевой деятельности.

Сообщенные А. Аврамом наблюдения над детской речью представляют аналог некоторых данных из области афазиологии [9]. В обоих случаях мы имеем дело либо с ущербным инвентарем фонологических единиц (ребенок в начальный период обучения языку и больной с грубым нарушением речи вынуждены пользоваться неполным инвентарем единиц, который, однако, непрерывно пополняется по мере развития ребенка и в процессе восстановления речи больного, выравнивая и дифференцируя парадигматические отношения между единицами), либо — при полном инвентаре — с утраченной способностью поддерживать фонологические противопоставления на синтагматическом уровне. В этом последнем случае оказывается полноценным (уже развившийся у ребенка и сохраненный у больного) функциональный фонологический механизм, способный обеспечить необходимое число различений фонологических единиц, но в звуковой (у афатиков обычно и графической) реализации речи смещающий отдельные звенья. Так, ребенок замещает *duku* через *gutu* (рум. язык), воспроизводя полностью набор различительных признаков, приходящихся на слово в целом, но искажая порядок их следования в цепи. Такого рода речевые дефекты, обычные и при афазии определенного типа, вновь отправляют нас к вопросу о предельных независимых единицах речевого потока и их психофизиологических механизмах.

Сообщение Дж. Ван Таля, посвященное выяснению социально-лингвистических причин речевых расстройств, возникающих в раннем детстве в условиях билингвизма, акцентирует социальную и психологическую сторону дела, хотя и исключает билингвизм из числа самых неизбежных и непосредственных причин таких расстройств. Это сообщение примыкает к докладам, трактующим сугубо лингвистические вопросы интерференции языковых систем в билингвистической ситуации или при обучении иностранному языку (доклады Дж. Рудницкого и Н. Денисона).

В целом рецензируемый сборник свидетельствует о значительном оживлении фонологических работ, укреплении связи теоретической лингвистики с лингвистикой экспериментальной (со все расширяющейся сферой контактов с экспериментальными науками) и о все более заметном стремлении к уточнению основных фонологических понятий.

М. И. Лекомцева, И. И. Ревзин, С. М. Шур

[9] О зеркальности процессов овладения речью в детстве и разрешения ее при различных поражениях мозга писал Р. О. Якобсон, в частности в «Two aspects of language and two types of aphasic disturbances» (в кн.: R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956).

«A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan». II. Mondattan. — Budapest, Akadémiai kiadó, 1962. 580 стр.

Через год после издания первого тома академической научной грамматики современного венгерского языка появился ее второй том — «Синтаксис», составленный авторским коллективом, в основном сотрудниками Института языкознания Венгерской Академии наук.

Второй том состоит из шести глав: I. Введение (стр. 7—22) — автор Й. Томпа, II. Разряды предложений (стр. 23—64) — автор Ш. Карой, III. Словосочетания (стр. 64—94) — автор Й. Томпа, IV. Простое предложение и его члены (стр. 95—329) — коллектив авторов, V. Сложное предложение (стр. 330—457) — коллектив авторов, VI. Ударение, порядок слов, мелодика (стр. 458—522) — автор Л. Деме.

Большую научную ценность представляет «Введение», посвященное вопросам общей теории синтаксиса. Рассматривая отношение предложения к суждению и мышлению, Й. Томпа в основном придерживается мнения, распространенного также и в советском языкознании. Особенно подчеркивается роль предикации, динамичность предложения в отличие от словосочетания и слова (стр. 8,9). Приводится весьма обстоятельное определение предложения, причем в качестве критериев указывается на относительную законченность предложения по грамматической структуре и интонации, а также на выражение отношения говорящего к действительности. Утверждая, что в создании предложения и определении его характера основными факторами являются говорящий, слушающий и действительность, Й. Томпа приходит к заключению, что в результате комбинации этих факторов получается пять разрядов предложений (изъявительные, восклицательные, желательные, побудительные, вопросительные); при этом, добавляет Ш. Карой во II главе, разграниченность этих разрядов проявляется и в их грамматических особенностях (стр. 26), среди которых особое значение придается форме наклонения глагола, интонационным оттенкам, лексическим средствам (использованию местоимений, частиц, междометий) и порядку слов (стр. 41). Наряду с основным приводятся также другие способы классификации: так, по «своеобразному качеству логического значения» предложения разделяются на утвердительные и отрицательные (стр. 48); по выраженности или невыраженности главных членов предложения — на неполные («точно дополняемые неполные»), односоставные («точно не расчленяемые») и слова-предложения (стр. 56). Удачно оспариваются некоторые взгляды, ставшие почти традиционными в венгерских грамматиках. Так, автор «Введения» правильно возражает против терминов «неполноценные предложения» или «предложения-заменители», отмечая, что неполные и односоставные предложения полноценны как по своим функциям, так и по грамматическим (например интонационным) качествам (стр. 57).

Учению о словосочетании в томе «Синтаксис» отводится сравнительно небольшое место, что вполне мотивировано взглядами авторов на соотношение словосочетаний и предложений: указывается, что «не словосочетание, а предложение является самой важной и значительной единицей грамматического исследования» (стр. 67). Словосочетания разделяются на: а) предикативные, б) подчинительные и в) сочинительные (стр. 68) и определяются как «грамматически оформленное единство не менее двух знаменательных слов, выражающее известное общее отношение и имеющее обычно более частное применение, чем слово» (стр. 66). Любопытно, что в «Синтаксисе» глагольная приставка считается — по нашему мнению, правильно — лишь компонентом сложного слова, а не отдельным членом словосочетания (стр. 76), в то время как в первом томе глагольная приставка рассматривалась как принадлежащая к самостоятельному разряду наречий.

Глава о простом предложении и его членах составляет почти половину всего «Синтаксиса», удачно дополняя главу о словосочетаниях, поскольку члены предложения рассматриваются не изолированно, а в составе словосочетаний — как в связи с подчиняющим, так и в связи с подчиненным словом. Авторами этой главы собрано огромное количество разнообразных и интересных примеров, которыми иллюстрируется сложная многогранность структурных типов предложений, равно как и взаимоотношения членов предложения. Так, весьма остроумно показана проблематика разграничения подлежащего и сказуемого в предложениях типа *A farkasok — ők...* «Волки — они...» (стр. 125), на богатом материале рассматриваются типы согласования (в лице и числе) сказуемого с подлежащим (стр. 138—145), правильно отмечены степени перехода прямого дополнения в обстоятельства (стр. 149, 153) и т. д. Обстоятельства разделяются на пять групп [1) пространственные обстоятельства, 2) члены предложения типа обстоятельства времени, 3) члены предложения типа обстоятельства образа действия, 4) члены предложения типа обстоятельства состояния, 5) управляемые обстоятельства]; в каждую группу входит несколько видов обстоятельств. Так, к группе, объединяющей члены предложения «типа обстоятельств образа действия», отнесены обстоятельства орудия, меры и степени, причины и цели (стр. 173). Выявляются частные и переходные типы обстоятельств. Определения распределяются по трем группам [1) определения качества и количества, 2) притяжательные определения, 3) приложения]. Глава о строе простого предложения кончается небольшим разделом, посвященным однородным членам предложения.

Сложные предложения традиционно разделяются на сложноподчиненные и сложносочиненные. Придаточные предложения в составе сложноподчиненного рассматриваются как развернутые члены предложения и классифицируются подобно членам предложения. По другому принципу придаточные предложения разделяются на относительные и неотносительные. Сложносочиненные предложения по традиции прежних грамматик венгерского языка делятся на следующие разряды: 1) соединительные, 2) противительные, 3) разделительные, 4) следственные (выражающие причинную

связь), 5) объяснительные (с союзами типа русских слов *ведь*, *то есть* и т. д.). В особых разделах рассматриваются многочленные сложные предложения и порядок следования предложений.

Вопросы ударения, порядка слов, мелодики и паузы не случайно собраны в одной главе: в венгерском языке они связаны чрезвычайно тесно. Автору этой главы удалось изложить рассматриваемые явления стройно, интересно и часто весьма оригинально. Особенно ценны некоторые правила порядка слов, впервые четко сформулированные: они имеют большое практическое значение для иностранцев, изучающих венгерский язык.

Естественно, что не все положения, выдвинутые в «Синтаксисе», не все методы, применяемые его авторами, являются бесспорными, а некоторые взгляды, традиционные в венгерском языкознании, советским грамматистам могут показаться необычными. Так, во «Введении» к словам-предложениям отнесено любое междометие, а также обращение (например: ***De***, ***jaj***, *nem tudok így maradni* — «Но увы, я таким не могу остаться», *Meggondoltam*, *Sándor* «Я передумал, Шандор»), независимо от того, включены ли эти слова интонационно в предложение или нет (стр. 63, 64); в большинстве примеров, приведенных здесь, они не являются отдельными предложениями, и поэтому от других членов предложения отделены лишь запятой. По нашему мнению, не оправдано перечисление неполных и односоставных предложений в рамках одного классификационного ряда (стр. 56): здесь оказались смешаны разные принципы классификации (неполным предложениям должны противопоставляться полные, односоставным — двусоставные). Переоценка смысловых моментов и недооценка грамматических особенностей предложений привели к тому, что предложения типа *Éjnye de házsártos* ***vagy*** «До чего ты сварлив», *No csak azért* ***gondoltam*** «Ну, я только поэтому подумал» (стр. 112) отнесены к полным предложениям только на том основании, что субъект выражен в глаголе личным окончанием. При этом забывается о том, что в подобных предложениях нет подлежащего, которое передавалось бы отдельным словом, а этот структурный момент немаловажен для характеристики предложений. Для рецензируемого «Синтаксиса», как и для большинства грамматик венгерского языка, характерно очень узкое понимание сказуемого и в связи с этим — слишком широкое понимание подлежащего. Так, в предложениях типа ***Nem sikerült*** *megtalálnom a kulcsot* «Мне не удалось найти ключа», *Felül* ***kell*** *vizsgálni a... kapcsolatokat...* «Нужно проверить связи...» в качестве сказуемых рассматриваются только *sikerült* «удалось», *kell* «нужно», а инфинитивы *megtalálnom* «найти», *vizsgálni* «проверить» считаются подлежащими (стр. 121). Некоторые грамматические понятия определяются на основе лишь лексико-семантических критериев без учета грамматических. Особенно заметно это проявляется при определении прямого дополнения (стр. 147), хотя последнее в венгерском языке имеет достаточно грамматических признаков, даже чисто формальных (специальный суффикс винительного падежа, возможность использования форм объектного спряжения при управляющем глаголе). Нельзя не согласиться с авторами «Синтаксиса» в том, что в венгерском языке нет специального члена предложения, соответствующего русскому «косвенному дополнению». Однако в то же время не оправдано отнесение обстоятельств цели и причины (например, *Szaladj el fiam vizért* «Беги, сынок, за водой», *Enni sem tudtak a sok színes tervtől* «Они даже есть не могли из-за множества пестрых планов») к обстоятельствам образа действия; обстоятельство условия (*Megbízatása esetén elvállalalja* «в случае получения поручения он не откажет») никакого отношения не имеет к обстоятельствам времени, а «притяжательное обстоятельство» (*részeshatározó*), соответствующее русскому косвенному дополнению в форме дат. падежа, не имеет ничего общего с «обстоятельством состояния» (стр. 173). Не всегда последовательны авторы в подаче материала. В большинстве случаев новое грамматическое понятие вводится при помощи определения, в других случаях перечисляются признаки самого явления, характеризуется его семантика и т. д. (как это, например, представлено на стр. 329 в вводной части о сложных предложениях). На стр. 120 утверждается, что некоторые типы сказуемого, обозначающие непереходное действие, не могут иметь грамматического прямого дополнения, и в качестве примера приводится глагол *lakni* «жить, проживать». На самом деле *lakni*, как и многие другие «интранзитивные» глаголы, может иметь прямое дополнение, грамматичность которого проявляется в обычных формальных признаках: в окончании вин. падежа при дополнении и окончании объектного спряжения при глаголе-сказуемом; например, *Ezt a házat munkások lakják* «В этом доме живут рабочие» (ср. также стр. 149, где имя в форме вин. падежа, управляемое глаголом *lakni*, правильно отнесено к прямым дополнениям, хотя и отмечается его семантическая близость к обстоятельству места).

Спорные положения, некоторые неточности не снижают достоинства «Синтаксиса» в целом. Его ценность состоит прежде всего в теоретическом осмыслении всех основных грамматических явлений венгерского языка на высоком уровне современных учений о проблемах опи-

сательного синтаксиса не только в Венгрии, но и за ее пределами, в том числе и в Советском Союзе. Достаточно взглянуть на списки использованной литературы, приложенные к каждому разделу, чтобы получить понятие о широких интересах авторского коллектива и тщательности предварительной подготовки к составлению тома.

Другое неоспоримое достоинство «Синтаксиса» состоит в подробности разработки вопросов, богатом фактическом материале, который в виде примеров собран из произведений самых различных жанров. Том снабжен многочисленными наглядными схемами, таблицами, рисунками, к нему приложен богатый предметный указатель, обслуживающий не только второй, но и первый том.

Изданием «Синтаксиса» завершен большой труд коллектива Института языкознания Венгерской Академии наук. Закончена первая подробная научная двухтомная грамматика венгерского языка, рассчитанная на удовлетворение потребностей венгров — педагогов, студентов, работников печати и любого культурного человека, интересующегося вопросами грамматики в теоретическом и практическом (нормативном) плане.

К. Е. Майтинская

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ *

I

Однотомный «Словарь туркменского языка» общим объемом свыше ста пятидесяти авторских листов содержит около 40 000 слов. Словник «Словаря туркменского языка» отличается большой полнотой, в нем отражены различные слои национальной лексики и терминологии, употребляющейся в периодической печати, в многочисленных произведениях общественно-политической и художественной литературы, издававшихся за все годы в Советском Туркменистане.

Знакомство со словарем позволяет положительно оценить принятую в словаре структуру словарной статьи, которая разработана авторами с учетом последних достижений лексикографии. Заглавное слово словарной статьи выделено крупным прямым шрифтом, затем идут краткие толкования разных значений слов, которые отделяются арабскими цифрами; после толкования каждого значения слова приводится курсивом иллюстративный и фразеологический материал (из письменного и разговорного языка), который в тех случаях, когда он взят из художественной литературы, имеет соответствующие ссылки на источник. В словаре широко представлена идиоматика, а также пословицы, поговорки и пр. Чрезвычайно ценным в научном отношении приемом подачи материала в данном словаре является транскрибирование слов с долгими гласными.

Словарь рассчитан на широкий круг читателей, он может служить филологическим справочником для писателей, научных работников, учителей, аспирантов, студентов, а также пособием, объясняющим значения слов для каждого интересующегося живым словом родного туркменского языка.

Составители и редактор словаря ставили своей целью одновременно дать читателю нормативный словарь, т. е. установить нормы правильного употребления туркменских слов и очистить лексику от излишних диалектизмов и просторечья. Следует отметить, что эта задача также довольно успешно выполнена в рецензируемом словаре. Составители достигли цели путем критического подбора слов, входящих в данный словник, характеристикой значений слов и их оттенков, указывающей на правильность и нормативность употребления, путем различного рода стилистических помет, характеризующих терминологическое значение слов, на просторечное, разговорное и прочее их употребление, отмечая таким образом стилистическую ограниченность в использовании некоторых слов, включенных в словник словаря. Нормативность слова мотивируется в словаре цитатами из художественных произведений туркменских писателей.

Тем не менее, анализируя словарь с точки зрения качества словника, необходимо отметить, что наряду с довольно тщательным отбором общеупотребительной лексики и широко используемой терминологии в словарь проникли и некоторые неоправданные диалектизмы и просторечные слова; ср. *деслапкы* вместо *илки* «начальный», *хеҗрам* вместо *дөвүр* «период, эпоха», *телбе* вместо *дэли* «безумный, умалишенный» и др.

В меру представлены в словаре общественно-политические и научные термины, профессиональная лексика, заимствованная из диалектов, а также некоторые устаревшие, связанные с дореволюционным бытом, «этнографические» слова, встречающиеся часто и в современной художественной литературе, отражающей страницы прошлого. Однако следовало бы несколько сократить специальную научную и техническую терминологию,

* «Түркмен дилиниң сөзлүги», М. Н. Хамзаевиң умумы редакциясы билен, Ашгабад, 1962, 866 стр.; «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», жалпы редакциясын басқарған С. К. Кенесбаев, I — Алматы, 1959, 337 стр.; II — Алматы, 1961, 535 стр.

редко встречающуюся в практике и в прессе, например, такие термины, как *автоклав*, *пикнометр*, *плашкоут* и некоторые другие. И вообще значительный процент иностранной терминологии, заимствованной туркменским языком через русский язык, следовало бы поместить в специальный словарь иностранных слов, с тем чтобы в данном словаре более широко представить национальную специфическую лексику и терминологию.

Не совсем последовательно соблюдаются принятые в словаре критерии определения омонимов. Встречается в словаре немотивированное расчленение многозначного слова, ср., например, *пломба* I и *пломба* II; *универсал* I и *универсал* II; *чапгыр* I и *чапгыр* II и др.

Наряду с использованием для раскрытия значений слов толкований и определений составители словаря часто пользовались также приведением синонимов. Такой способ истолкования слов не всегда достигает должной цели, например, к слову *мертебе* дается толкование синонимами: 1) *абрай* «авторитет», *хатыра* «честь», *дереже* «достоинство»; 2) *жайың гаты*, *этаж* «этаж»; 3) *гезек* «раз, очередь», *ёла* «раз», *сапар* «раз» — в результате чего точное значение и оттенки значения этого слова затемняются.

Довольно слабо представлены в словаре указательные местоимения. Даны только их исходные основы *бу* «этот», *шу* «этот самый», причем если толкование местоимения *шу* «этот самый» дано вполне точно, то при толковании местоимения *бу* вместо точного толкования дана лишь грамматическая помета и перевод (не точный): «этот самый». Производные формы указанных местоимений отсутствуют в словаре. В словаре достаточно полно даны различные устойчивые фразеологические словосочетания, идиоматические выражения, крылатые слова, пословицы и поговорки, эвфемистические обороты и пр. Почти все слова сопровождаются грамматическими пометами, характеризующими грамматическое значение.

Обобщая все сказанное выше, следует констатировать, что данный словарь представляет собой крупное достижение туркменских лингвистов, имея большую ценность как первое издание большого национального словаря туркменского языка, лексикографические труды по которому до настоящего времени были незначительны. Тюркологи СССР и зарубежные специалисты по тюркским и алтайским языкам могут быть благодарны за выпуск этого труда — результат многолетней работы большого коллектива.

Н. А. Баскаков

II

В 1959 г. сотрудники Института языкознания АН Казахской ССР к 40-летию республики издали первый том толкового словаря казахского языка, а в 1962 г. Издательство АН Казахской ССР выпустило в свет второй, последний том этого словаря. Казахские лексикографы имеют значительный опыт в области составления двуязычных и терминологических словарей, но составление толкового словаря — это совершенно новая область для них. Однако внимательное ознакомление со словарем показывает, что составители со всей серьезностью отнеслись к этому важному делу. Два тома словаря охватывают только около 20 000 заглавных слов, не претендуя на полный охват всей общеупотребительной лексики казахского языка.

Изданию словаря предшествовала большая подготовительная работа с учетом опыта составления толковых словарей русского и других языков. Был создан большой картотечный фонд, составлен первоначальный словник, который позже несколько раз пополнялся. Была разработана инструкция для составления толкового словаря, изданная после обсуждения отдельной брошюрой [1].

Словарь начинается с вводной статьи главного редактора словаря С. К. Кенесбаева, где кратко изложены цели и задачи словаря, даются сведения о принципах отбора слов, о грамматических и стилистических пометах, а также об обогащении лексики казахского языка в советский период. Со своей основной задачей — правильного истолкования, объяснения реестровых слов — составители хорошо справились. Краткие определения, сопровождающие каждое заглавное слово, в большинстве случаев безупречны. При объяснении слов составители широко использовали описательный способ, синонимы и антонимы.

Принципы отбора реестровых слов не вызывают возражений. Особенно нужно считать удачным принцип подбора производных слов. Например, не все прилагательные на формы *-дай* | *-дей*, *-тай* | *-тей* выделяются в отдельные словарные статьи. Выделяются те формы, корни которых без вышеуказанного аффикса самостоятельно неупотребительны, а в отрицательной форме приводятся те глаголы и их образования, которые не употребляются в положительной форме.

Словарь достаточно полно отражает те изменения в словарном составе языка, которые произошли за годы советской власти. Здесь помещены новые слова и словосочетания типа *көрсеткіш* «показатель», *еңбеккүн* «трудодень», *бастама* «почин», *оқулық* «учебник», *екпінді* «ударник», *жеңіл өндіріс* «легкая промышленность», *қызыл бұрыш* «красный уголок», возникшие на базе родного языка. Фиксируются такие явления, как переосмысление и расширение значений слов.

[1] Қазіргі қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінін инструкциясы, Алматы, 1953.

Значительную часть заглавных слов составляют заимствования из русского языка, в чем отразился самый факт пополнения лексики литературного языка за счет заимствований из русского языка. Составители выделили те заимствования, которые часто употребляются и имеют широкую сферу распространения. Значения этих слов разъяснены правильно; отметим, однако, что значительная часть заимствований из русского не иллюстрируется примерами.

Составители правильно сделали, открыв широкий доступ в словарь профессиональным словам, причем даже тем диалектно-профессиональным словам, которые имеют узкую сферу употребления и которым нет эквивалентов в литературном языке. Это чаще всего слова, связанные с бахчеводством, хлопководством, рыболовством и т. д. Введение таких слов в толковые словари, безусловно, обогащает литературный язык.

В словаре удачно раскрыта многозначность слов, их переносные значения. В этом можно убедиться, просмотрев словарные статьи на заглавные слова *қол* «рука», *қара* «черный», *көз* «глаза», *ауыз* «рот», *бас* «голова», *бір* «один», *бет* «лицо», *сөз* «слово» и др. Однако встречаются и слишком общие определения, которые требуют еще конкретизации и дополнения. Так, недостаточными являются толкования: *калач* «разновидность хлеба», *клеенка* «непромокаемая вещь», *көжек* «вид хлопка» и т. д.

В казахском языке ряд слов выступает в дублетных формах, как, например: *мәселен* | *мысалы* «например», *ишарат* | *ишара* «намек», *разы*|*риза*|*ырза* «довольство, удовольствие», *ғажап* |*ғажайып* «великолепно, прекрасно», *дәнеме*|*дәнеңе* «ничего» и др., каждая из которых в равной степени употребляется в литературном языке. Включение в словарь подобных вариантов правомерно, и отсылка одного варианта к другому в таких случаях оправдана. Но в словарь попали и такие дублетные формы, из которых одна прочно закрепилась в литературном языке, а другая осталась за пределами литературного языка и, следовательно, не подлежит введению в толковый словарь. Это касается вторых форм в таких парах, как, например, *ешкім*|*hешкім* «никто», *еден*|*иден* «пол», *таға*|*даға* «подкова». Существуют и так называемые «диалектно-литературные» дублетные формы и варианты, употребление которых связано с определенными территориальными границами, например: *инағаш*|*суағаш*|*мойынағаш*|*ықағаш* «коромысло»; *шөгір*|*шөңге* «колючка»; *күнбағар*|*күнбағыс* «подсолнух» и многие другие. Все они в равной степени употребляются в литературном языке, и очень трудно дать предпочтение одному из этих вариантов хотя бы уже потому, что вопрос о диалектной основе казахского литературного языка является спорным. Составители поступили правильно, включив в словарь многие «диалектно-литературные» варианты. Однако здесь же желательно было бы указать и место их употребления путем подачи иллюстративных примеров.

В некоторых случаях необходимо было проявить осторожность в отношении тех диалектных слов, которые весьма далеки от норм литературной лексики. Это касается таких слов, как *көйкі* вместо *қайқы* «выпуклый, торчащий», *келдек* вместо *масақ* «колос», *керең құлақ* вместо *саңырау құлақ* «грибы», *кигіз* вместо *киіз* «войлок», *бөдірен* вместо *қияр* «огурцы», *балау* вместо *палау* «плов» и пр. Такие слова должны включаться не в толковые, а в диалектные словари.

Иллюстративный материал в толковом словаре заимствуется из оригинальной художественной литературы, широко используются и фольклорные источники. Составители правильно поступили, отказавшись от частого использования примеров из переводных произведений, которые встречаются в словаре сравнительно редко. При объяснении же политических, философских и научно-технических терминов наряду с оригинальной литературой используются цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма и из переводной научно-технической литературы, хотя многие интернациональные термины и русские слова не подкреплены соответствующими иллюстрациями.

Как первый опыт толковый словарь имеет и некоторые недостатки. В первую очередь хочется отметить в этом отношении непоследовательность отнесения тех или иных слов к различным частям речи; так, например, одна группа подражательных слов квалифицируется как существительные (*күрт-күрт*, *бұлт*, *бұлаң-бұлаң*), другая группа — как прилагательные (*сылқ-сылқ*, *далба-дұлба*), третья — как междометия (*бұрқ-бұрқ*), четвертая группа — как наречия (*дүрк жыртақ-жыртақ*, *опыр-топыр* и др.), пятая группа — как подражательные слова (*зу-гу*, *ду*, *дүр-дүр*). Нет последовательности также в отношении различных помет. По существующим правилам орфографии все заимствования из русского (за исключением 15—20 слов) пишутся так, как это принято в русском языке; тем не менее в словаре встречаются написания *көпес* вместо *купец*, *бент* вместо *винт*, *белет* вместо *билет* и др. Некоторые омонимы почему-то оказались включенными в одну словарную статью. Например, *кілт* «ключ» и *кілт* «быстро, моментально». И, наоборот, каждое из значений таких многозначных слов, как *кесел* «болезнь, недостаток, вред»· *көрініс* «вид»; *күйік* «ожог, несчастье», *жабылу* «закрываться, накрываться», и их переносные употребления подаются как омонимы. Не всегда учитывается много-

значность междометий. В некоторых словарных статьях наблюдаются излишества примеров.

Отмеченные недостатки, однако, нисколько не снижают общей ценности этого словаря. Рецензируемый словарь, являясь одним из значительных трудов по казахскому языкознанию, вышедших за последнее время, сыграет положительную роль в деле дальнейшей нормализации казахского литературного языка, в деле повышения культуры речи.

Ш. Ш. Сарыбаев

Г. А. Шелюто. Русское ударение, ч. 1.— Ужгород, 1962. 272 стр.

В рецензируемой работе описывается ударение существительных, местоимений и прилагательных в современном русском языке. Книга начинается теоретической главой «Особенности русского ударения». Здесь автор выясняет, как в русском языке выделяется ударяемый слог, каковы акустические свойства русского ударения, определяет ударение в составе слова, фразы, сообщает сведения о безударных и слабоударяемых словах, о словах с побочным ударением, о разноместности и подвижности ударения.

Наряду с правильными положениями в главе содержатся неудачные формулировки, с которыми нельзя согласиться. Автор находит возможным определить русское словесное ударение как динамическое, экспираторное (стр. 5). Таким образом, объединяются взаимно исключающие определения. Определение ударения как экспираторного предполагает, что ударяемый слог отличается от безударного большим количеством выдыхаемого воздуха. Р. И. Аванесов считает такую трактовку ударения неверной и утверждает, что ударяемый слог отличается от безударного прежде всего большей напряженностью артикуляции, в особенности гласного [1]. Поэтому невозможно ставить знак равенства между указанными определениями, как это делает Г. А. Шелюто.

Внутренне противоречиво в рецензируемой книге определение отношения фразового ударения и интонации к словесному ударению. С одной стороны, интонация и фразовое ударение определяется как разновидность словесного ударения, не имеющая самостоятельного значения в русском языке, с другой стороны, утверждается, что фразовая интонация и ударение характеризует не отдельные слова, а фразы в целом: «Обычно усиление голоса,— пишет Г. А. Шелюто (стр. 6),— сопровождается в той или иной степени изменениями тона, зависящего от структуры и типа фразы, и наоборот (? — *В. Р.*). В русском ударении тональные элементы подчинены смысловым, лишены самостоятельности, не могут служить средством различения слов и грамматических форм. Они сопутствуют силовому ударению (? — *В. Р.*), составляя в своей совокупности отличительную особенность не отдельных слов, а фраз в целом (? — *В. Р.*)».

Таким образом, сначала объединяются фразовая интонация и словесное ударение, а затем отрицается связь между ними. Если интонация является отличительной особенностью фраз в целом (а с этим нельзя не согласиться), значит она имеет самостоятельное значение. Если интонация не может служить средством различения слов, значит тональные элементы не подчинены силовым, служащим для различения слов. Следовательно, интонация фразы и словесное ударение — разные лингвистические единицы. Заметим, что противоречия в рассуждении автора вытекают из определения ударения слова как экспираторного, так как основываются на посылке, что «...усиление голоса сопровождается в той или иной степени изменениями тона...». Нечеткость в различении фразового ударения и силового ударения слова порождает неправомерное сопоставление русской фразовой интонации с литовской и сербскохорватской интонацией слога (стр. 7—8). Для сопоставления необходимо, чтобы сравниваемые явления имели что-нибудь общее, а в рассматриваемом случае нет никакого основания для сравнения. Если бы русская фразовая интонация «...сопутствовала силовому ударению слова...», была его производным, тогда можно было бы их сравнивать. Но между русской и литовской или сербскохорватской интонацией нет ничего общего.

В следующих главах автор пытается дать классификацию ударения в пределах рассматриваемой части речи. Автор намечает акцентологические классы, группы и подгруппы слов с однотипным ударением и перечисляет слова, которые нельзя включить в установленную классификацию. Приводится большое число примеров из художественных произведений XIX—XX вв. и диалектов русского языка. Принципы, на которых строится исследование материала, и результаты исследования автора нуждаются в некоторых замечаниях. Автор не считает возможным объяснить ударение многих слов отношениями внутри существующей теперь системы ударения. Ударение слов, входящих в рассматриваемые в книге грамматические категории, складывалось, по мнению автора, под

[1] См. Р. И. Аванесов, Ударение в современном русском литературном языке, 2-е изд., М., 1958, стр. 11.

влиянием различных внешних факторов: украинского и белорусского влияния, а также в результате воздействия русских диалектов (стр. 4). Автору чужд подход к русскому ударению, как к имманентной системе. Наличие в диалектах русского языка (а также в украинском и в белорусском) акцентологических параллелей к явлениям, трактуемым Г. А. Шелюто как исключения, является для автора достаточным основанием, чтобы считать рассматриваемое акцентологическое явление заимствованием.

Так, автор утверждает, что «...северное подвижное ударение, вошедшее через посредство говора Москвы в русский литературный язык, отражено в многочисленных диалектологических записях...» (стр. 30), и приводит из севернорусских говоров примеры вин. падежа ед. числа: *бо́рону, гбру, зе́млю* и др. Но ведь подвижное ударение в этих словах не является исключительной принадлежностью севернорусских говоров. Ударение на корне в вин. падеже ед. числа при подвижности ударения встречается и в южнорусских говорах [2] и отражает в приведенных словах праславянскую подвижность ударения, ср. чакав. *glāvȁ, glāvu, glāve*, словен. *glȃva, glavǫ̑* < * *glāvǫ̑*. и др. Поэтому неправомерно возводить подвижность ударения в этих и других примерах, отражающих праславянское состояние, к севернорусским говорам. Недостаточна и документация примеров. Автор не указывает всех форм, необходимых для установления акцентологического типа. Приводится, например, вин. падеж ед. числа *со́сну* (Арханг. обл.) и не указывается им. падеж ед. числа (стр. 31). А между тем в архангельских говорах отмечается неподвижное ударение на корне: *сосна, сосны* и т. д. Следовательно, неправильно определяется акцентологический тип.

Ударение на окончании, развившееся в вин. падеже ед. числа в словах *блоха́ — блоху́, борозда́ — борозду́, зола́ — золу́, губа́ — губу́* и др., характеризуется автором как факт южнорусского влияния (стр. 32). Старыми диалектными влияниями объясняется двойственность ударения в словах *по́лосу* и *полосу́, ре́ку* и *реку́* (стр. 34). Однако более обоснованным представляется предположение, что возникновение ударения на окончании в вин. падеже ед. числа — результат перестройки ударения подвижного типа, сохранившегося в слове *гора*, и что возникший таким путем тип *волна́, волну́*, мн. число — *во́лны, волна́м* распространяется в современном русском литературном языке на другие слова, ср. *слобода́, сло́боду* и *слободу́*, мн. число — *сло́боды, слобо́д, слобода́м* [3]. В необоснованности предположения о диалектном влиянии убеждает нас сходный процесс в сербскохорватском языке, ср. приводимые Даничичем формы ед. числа с обобщенным ударением во всех падежах: *ви́ла, гу́ја, ку́ла, је́ла, му́ња, о́вца* и др. [4]. Неубедительно поэтому стремление рассматривать праславянские явления как севернорусские (подвижность ударения в словах *гора, земля, борона*), а новообразования как южнорусские или украинские и белорусские влияния.

Несмотря на убедительное истолкование разноместного неподвижного ударения в производных словах как проявление зависимости от ударения производящих слов в работах Р. И. Аванесова и Ю. Р. Куриловича [5], автор объясняет разноместность ударения в производных словах диалектными влияниями и аналогией: «Вследствие диалектных влияний и аналогии, действующей в литературном языке, разноместное неподвижное ударение на основе получили имена с непродуктивными суффиксами *-л-о, -в-о* (*-ев-о, -ив-о, -ов-о*), *-ищ-е, -овщ-е, -лищ-е, -бищ-е*, представляющие главным образом названия предметов» (стр. 166).

Никаких доказательств наличия диалектных влияний в названной суффиксальной группе автор не приводит. Для слова *кладби́ще*: *кла́дбище* Г. А. Шелюто предполагает севернорусское влияние (*кладби́ще*) и южнорусское влияние (*кла́дбище*). В качестве доказательства приводятся примеры из текстов XIX в. с ударением *кладби́ще*, а с ударением *кла́дбище* из более поздних текстов (стр. 169—170). Но эти примеры доказывают только изменение ударения в слове *кладбище*, а не диалектные влияния. Таких недостаточно обоснованных предположений о диалектных и иноязычных влияниях в книге очень много (стр. 25—26, 30—32, 34, 36—37, 39, 48, 59, 60 и др.). Даже ударение полных прилагательных дается в отрыве от ударения производящих слов (стр. 262 и сл.), хотя зависимость места ударения в полных прилагательных дериватах от ударения производящих слов доказана для многих суффиксальных типов [6].

---

[2] Ср. С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, I, сб. ОРЯС АН СССР, т. С, 3, Л., 1927, стр. 275.

[3] Ср. Chr. S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957, стр. 67.

[4] Ђ. Даничић, Српски акценати, Београд — Земун, 1925, стр. 4, 5.

[5] См. Р. И. Аванесов, Ударение в современном русском литературном языке, стр. 33 и сл.; Ю. Р. Курилович, Система русского ударения, «Наук. зап. Львівськ. держ. ун-ту», III — Серія філологічна, 2, 1946, стр. 80 и сл.

[6] Ср.: Ю. Р. Курилович, указ. соч.; H. Hartmann, Studien über die Betonung der Adjektiva im Russischen, Leipzig, 1936.

Объясняя возникновение подвижности ударения в праславянском языке переносом ударения с циркумфлексовых слогов на следующий акутовый (стр. 29), автор не учитывает критику закона де Соссюра в применении к славянским языкам, содержащуюся в новейших исследованиях по славянской акцентологии, в частности, утверждение Хр. Станга о том, что с внутреннего циркумфлекса ударение всегда оттягивалось на предшествующий слог[7] и закон де Соссюра не действовал в славянских языках[8].

Книга Г. А. Шелюто представляет известный интерес благодаря большому числу примеров из художественной литературы XIX в. и из диалектов русского языка, но в теоретическом отношении нуждается в серьезной переработке.

В. А. Редькин

[7] Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 13.
[8] Там же, стр. 179.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Вопросы языкознания» (1962, 4) опубликована статья Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндера «Фонетическая характеристика различных типов синтаксических сочетаний в нивхском языке». Авторами статьи было предпринято исследование с целью выяснить, «существует ли особый вид связи слов в предложении, который при положительном решении этого вопроса принято именовать инкорпорированием»; при этом авторы исходили из того, что «между более свободной и более тесной синтаксическими связями обнаружатся различия и в фонетическом плане»[1].

Для специалистов по нивхскому языку является бесспорным, что сочетания определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого тех типов, которые исследовались Л. Р. Зиндером и Л. В. Бондарко, представляют собой тесные фонетические единства: об этом свидетельствуют фонетические явления типа сандхи на границе определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого, что и подтверждено теперь экспериментально Л. Р. Зиндером и Л. В. Бондарко. Однако проведенные ими исследования ни в коей мере не доказывают, как это полагают Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко, что определение и определяемое, прямое дополнение и сказуемое образуют инкорпорированные комплексы, или словокомплексы в понимании Е. А. Крейновича. Хотя проблема инкорпорирования уже в течение длительного промежутка времени является предметом дискуссии, однако, по-видимому, до настоящего времени нет достаточно ясного представления о тех основных вопросах, в зависимости от различного решения которых происходит размежевание точек зрения. По нашему мнению, эта проблема расчленяется на два основных вопроса, которые применительно к разным языкам могут получить неоднозначное решение. Это: 1) являются ли знаменательные компоненты так называемого инкорпорированного комплекса словами или основами, а весь инкорпорированный комплекс соответственно словосочетанием или же с формальной стороны — словом, подобным сложному слову[2]; 2) каков тот грамматический прием, который используется для выражения синтаксических[3] отношений знаменательных компонентов инкорпорированного комплекса?

Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко не ставят этих вопросов и сводят всю проблему инкорпорирования к вопросу о том, насколько тесной является синтаксическая связь определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого в нивхском языке. Тот факт, что в нивхском языке между определением и определяемым, прямым дополнением и сказуемым имеют место более тесные и несомненно иного типа синтаксические связи, чем между подлежащим и сказуемым[4], по-видимому, не может считать-

[1] Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндер, указ. соч., стр. 84.

[2] В последнее время П. Я. Скорик выдвинул точку зрения, согласно которой инкорпорированный комплекс в чукотском языке является особой языковой единицей, промежуточной между словом и словосочетанием. См. П. Я. Скорик, Грамматика чукотского языка. Ч. I, М.— Л., 1961, стр. 97—98. Анализ этой точки зрения дается в нашей статье «Об определении понятия слова» (сб. «Морфологическая структура слова», М.—Л., 1963).

[3] П. Я. Скорик в последних своих работах рассматривает эти отношения как подобные, но не тождественные синтаксическим.

[4] Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко подвергли сопоставительному изучению, во-первых, сочетания подлежащего и сказуемого типа *ан χад'?* «Кто стрелял?» и сочетания прямого дополнения и сказуемого типа *ан q'ад'?* «в кого стрелял?» (примеры даются в нашей транскрипции, так как в указанной статье Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндера наблюдается разнобой в написании одних и тех же слов) и, во-вторых, определительные сочетания типа *к'эq виф* «лисий след» (которые, по мнению Е. А. Крейновича, также образуют инкорпорированные комплексы), с одной стороны, и, с другой, их компоненты в отдельности [так как, по мнению авторов, здесь невозможно «подобрать для анализа такие же пары, как в глагольных словосочетаниях» — указ. соч.,

ся специфической особенностью нивхского языка и свойствен всем языкам (различие между атрибутивной и объектной синтаксической связью, с одной стороны, и предикативной — точнее, сказуемостной — синтаксической связью, с другой стороны). Но если следовать логике авторов, то на основании этого, самого по себе бесспорного, факта можно прийти к выводу, что и в других языках определение и определяемое, прямое дополнение и сказуемое также образуют словокомплексы, или инкорпорированные комплексы,— вывод, с которым, конечно, не согласятся Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко. Очевидно, что в связи с поставленной Л. Р. Зиндером и Л. В. Бондарко задачей гораздо большее, хотя и не решающее, значение имело бы фонетическое исследование в сопоставительном плане, с одной стороны, сочетаний «определение + определяемое», «прямое дополнение + сказуемое», которые представляют собой фонетические единства и рассматриваются Е. А. Крейновичем как инкорпорированные комплексы, а с другой стороны, таких случаев, когда, например, сказуемое имеет при себе два или более прямых дополнений, и «инкорпорированным» в состав сказуемого может считаться только непосредственно примыкающее к нему прямое дополнение (см., например, *q'отрко лиγско к'уд'* «медведей и волков убивать»).

Сводя проблему инкорпорирования к вопросу о том, насколько тесна синтаксическая связь определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого, и соглашаясь с Е. А. Крейновичем в том, что эти сочетания представляют собой инкорпорированные комплексы, Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко полностью игнорируют то обстоятельство, что, с точки зрения Е. А. Крейновича, инкорпорированный комплекс является не словосочетанием, а словом, подобным сложному слову, что он состоит из основ, а не слов [5]; сами же Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко говорят об инкорпорировании как особом виде связи слов в предложении (стр. 84), о словах как компонентах словокомплексов (стр. 84), о «сочетаниях глагольного сказуемого с дополнением» (стр. 85) и т. д.

Самое же существенное, однако, заключается в том, что, по нашему мнению, при анализе вопросов, составляющих суть проблемы инкорпорирования, фонетическая сторона соответствующих явлений в принципе не может иметь решающего значения, так как слово не есть единица фонетического (или фонематического) уровня. Невозможность выделения какого-либо отрезка речи в линейном ряду по каким-либо фонетическим признакам еще не свидетельствует о том, что этот отрезок речи не является словом, и, наоборот, возможность выделения того или иного отрезка речи в линейном ряду по этим же признакам еще не является достаточным основанием для того, чтобы считать его словом. Расхождение между результатами выделения слова по признакам, свойственным тому уровню, к которому оно принадлежит, и по фонетическим признакам не только возможно, но и закономерно, как является закономерным несовпадение морфемы и слога.

Как нам уже приходилось отмечать, в отличие от морфемы (или компонента сложного слова) знаменательное слово, исключая междометия и собственные имена, как лексико-грамматическая языковая единица характеризуется: 1) относительно самостоятельным значением и способностью выразить понятие в линейном ряду (а в отличие от свободного словосочетания — семантической цельностью); 2) способностью вступать в синтаксические связи с другими словами в составе предложения и выступать членом предложения и 3) функционированием в качестве члена своего собственного парадигматического ряда.

По нашему мнению, каждый из знаменательных компонентов так называемого инкорпорированного комплекса в нивхском языке обладает этими признаками слова, а весь «инкорпорированный комплекс» — признаками словосочетания, в силу чего фонетическая цельность «инкорпорированного комплекса» в нивхском языке не может служить доказательством того, что он не является словосочетанием. Поскольку же в пределах соответствующих словосочетаний, а именно определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого зависимые члены словосочетаний (именно определение и прямое дополнение) не получают никаких морфологических показателей для выражения своей зависимости от ведущих членов этих словосочетаний и, следовательно, их зависимость выражается лишь порядком слов, отсюда с неизбежностью следует вывод о том, что эти словосочетания построены на примыкании. Таким образом, лишь не признавая, что лексические компоненты «инкорпорированного комплекса» в нивхском языке обладают всеми существенными признаками слова, и учитывая только фонетические признаки, которые, с нашей точки зрения, не могут при этом иметь решающего значения, не будучи релевантными, можно прийти к выводу, к которому приходят Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко.

В. З. Панфилов

стр. 85. Ср., однако, предложение *тыд н'ивх* (*н'ивγда*) «это — человек», где слово *н'ивх* — предикат и отделено от первого слова паузой; это предложение — пара к определительному словосочетанию *тыд' н'ивх* «этого (селения) человек»].

[5] См. Е. А. Крейнович, Об инкорпорировании в нивхском языке, ВЯ, 1958, 6, стр. 21—22, 24, 27, 32, 33.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

К ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФОНОЛОГИИ

Примерно с 30-х годов XX в. в изучении звуковой стороны языка произошли глубокие сдвиги, приведшие к выработке новой теоретической науки, в основных своих положениях базировавшейся на материале, добытом в классический период развития экспериментальной и инструментальной фонетики, описательного и исторического языкознания, теоретической и прикладной акустики. Эти сдвиги явились результатом совершенствования техники связи, возникновения и все ускоряющегося процесса развития теоретической кибернетики в ее технических приложениях и достижений ряда смежных наук (психологии, физиологии высшей нервной деятельности и т. д.).

Наиболее характерным в изучении фонологии на новом этапе ее развития является:

1. Перемещение сферы теоретических интересов от элементарных фонологических сущностей (дифференциальные элементы, фонемы и системы их организации) к элементам более высокого ранга (слог, слово, синтагма и т. д.).

2. Перенос центра внимания с описания элементов фонологической системы и отдельных аспектов отношений между ними на описание систем и подсистем фонологических единиц и отношений, рассматриваемых как глобальное целое (ср. рост исследований, посвященных грамматике просодических компонентов языка, пограничных сигналов и т. д.).

3. Переход от статического описания механизмов речи вне их функционирования к характеристике фонологических сущностей как динамически связанных компонентов потенциальных состояний фонологических блоков абстрактных кибернетических машин, моделирующих механизмы речи. В связи с этой задачей большое значение приобретают вопросы морфонологии и построения фонологических функциональных моделей анализа и синтеза, составляющих неотъемлемую часть грамматических порождающих и распознающих моделей.

4. Включение в число актуальнейших тем исследования роли фонологических средств языка в системе «индивид — внешняя среда», подразумевающего единое описание имманентных характеристик фонологических механизмов речи в процессе распознавания и порождения. К числу связанных с этой проблемой вопросов относится построение фонологических моделей как устройств кодирования с обнаружением и исправлением ошибок.

Изменились не только объекты фонологии, но и пути и методы решения важнейших ее задач. Эти перемены можно суммировать следующим образом:

1. Построение моделей, отвечающих современным требованиям методологии и логики науки. В связи с этим большое значение приобретают вопросы создания мета-языка для описания системы диакритиков и разработки формальных методов описания, обеспечивающих полную, непротиворечивую, простую и адекватную по своей объяснительной силе интерпретацию фонологических систем.

2. Выявление существенных переменных, в наименьшей степени подверженных изменениям на разных уровнях фонологического описания: для элементарных, дифференциальных признаков и более сложных элементов — фонем, слогов, слов и т. д. Проблема инвариантности тесно смыкается с проблемой тождеств и различий, так же как и с задачей установления иерархии фонологических единиц, т. е. однозначной функциональной зависимости между существенными и несущественными признаками. В связи с этим особое значение приобретает установление законов импликации.

3. Спецификация фонологической системы на основе установления правил допустимых последовательностей фонологических и просодических компонентов языка,— тем самым, описание ограничений, накладываемых на возможные типы фонологических состояний. Этим по существу определяется подход к описанию фонологической системы с точки зрения правил регуляции и тех условий, при которых возможна реализация потенциальных состояний.

4. Единообразие (более точно — изоморфизм) описаний процессов порож-

дения и анализа на уровне грамматики и фонологии. При такой постановке вопроса крайне важно для его успешного решения использование в фонологических изысканиях основных понятий и методик, разработанных в таких математических дисциплинах, как топология и теория подобия и размерностей.

5. Выявление правил корреспонденции между наблюдаемыми фонетическими явлениями с их свойствами, данными нам в их отношениях, и той системой теоретических конструктов, которые носят семиотический, функциональный характер и постулируются исследователем для объяснения наблюдаемых явлений.

6. Характеристика способов организации информации о звуках и их сочетаниях, ее хранения и переработки в процессе речевой деятельности на всех участках центральной нервной системы, связанных с построением речевых цепей.

Большинство этих вопросов было затронуто на конференции по структурной лингвистике, посвященной базисным проблемам фонологии, которая состоялась 21—25 мая 1963 г. в Институте русского языка АН СССР.

Поиск универсальных законов, определяющих единообразие наблюдаемых фактов речи для разных языков, независимых от характерного для них субстанционального выражения, представляет собой отыскание инвариантных характеристик лингвистических сущностей данного уровня наблюдения. Понятие инвариантности состоит в том, что при любых последовательных изменениях некоторых объектов ряд их характеристик остается неизменным. Множество этих характеристик и составляет инвариант описываемых объектов относительно заданной группы преобразований.

Определяя специфику двухступенчатой теории фонологии, С. К. Шаумян (Москва) в докладе «Принцип гетероинвариантности в двухступенчатой теории фонологии» показал, что поскольку наблюдаемые звуки речи являются объектом изучения, с одной стороны, системы диакритических знаков, а с другой — системы физических средств, служащих для воплощения диакритиков, и поскольку это определяет специфику операторов на каждом из уровней анализа, понятие инвариантности следует также рассматривать в двух планах: инвариантность на уровне семиотическом, уровне конструктов, и инвариантность на уровне наблюдения реляционно-физических объектов — звуков языка,— а абстрактные фонемы и фонемоиды как инварианты по отношению к индивидуальным фонемам и фонемоидам. Очевидно, что в этом случае следует говорить о гетероинвариантности, а не об инвариантности, а двухступенчатую теорию фонологии рассматривать как гетероинвариантную теорию.

Инвариантность по определению предполагает многообразие и вариативность. В связи с этим гетероинвариантная теория должна предусматривать не только выявление таких правил, которые предсказывали бы факты, но также и таких процедур, которые позволяли бы переходить от описания объектов субстанционального, фенотипического уровня, данных во всем разнообразии их проявлений, к описанию объектов функциональной семиотической природы, принадлежащей генотипическому уровню. В посвященном этой проблеме докладе Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Еще раз о фонематической интерпретации фонетических данных» предложена процедура такого перехода, включающая задание конструктивным способом метаязыка описания, алгоритма фонематического описания и проверки его объяснительной силы (вероятностная оценка по лингвистическим и экстралингвистическим критериям).

Неэффективность реляционно-физической фонологической теории для объяснения нейтрализации как утраты фонологически значимого признака в одномерных оппозициях показана Л. И. Бораз (Москва) в докладе «О понятиях „нейтрализация" и „архифонема" в свете двухступенчатой теории фонологии». Ею было предложено следующее определение нейтрализации, позволяющее разграничивать случаи нейтрализации и аномальной дистрибуции: «Нейтрализация оппозиции двух фонем — это уменьшение числа дифференторов каждой из них на один, а именно на тот, который составляет критерий их сравнения. Таким образом, две различные фонемы становятся тождественными друг другу и образуют новую фонологическую единицу — архифонему».

Общим вопросам иерархии фонологических единиц и методике моделирования фонологической системы были посвящены доклады А. А. Реформатского, В. А. Васильева и П. С. Кузнецова. В докладе А. А. Реформатского (Москва) подчеркивается, что проблема соотношения фонетики и фонологии должна быть постоянно в центре внимания. Если для выделения и идентификации фонологических единиц и необходима сегментация речевого потока, тем не менее надо помнить, что сегментация эта может быть двоякого рода — непосредственной и опосредствованной, причем последняя связывается уже с нелинейными характеристиками. Осуществление сегментации на этическом уровне предполагает операцию верификации полученных результатов на эмическом уровне, с учетом парадигматического анализа оппозиций и позиций. В связи с этим встает вопрос о характере фонемы (фонема — сегмент или не сегмент?); в данном вопросе докладчик, в соответствии

с позицией московской фонологической школы, выдвигает положение о том, что фонема не является элементом линейной сегментации и что говорить о ней как о сегменте можно лишь в морфологическом смысле, т. е. имея в виду конститутивную функцию фонемы в составе морфемы. Необходимо, считает А. А. Реформатский, четко разграничить уровни исследования и на этой основе определить и исчислить фонологические единицы, условия их функционирования и возникающие при этом явления вариативности, аллоэмии и изоэмии.

Доклад В. А. Васильева (Москва) был посвящен вопросу о составе, функциях, иерархии и изоморфизме фонологических единиц.

В докладе П. С. Кузнецова (Москва) «Проблема дифференциальных признаков в фонологии и разграничение различных их типов» было показано, что определение фонем и просодем как производных от множества дифференциальных признаков наталкивается на серьезные трудности, вызываемые разграничением и выделением набора дифференциальных и дополнительных признаков в процессе анализа минимальных пар и случаев нейтрализации. В противовес мнению основателей пражской фонологической школы и их последователей утверждается, что разграничить ингерентные и просодические признаки, рассматриваемые как универсальные, подчас не удается, так как один и тот же акустико-артикуляционный признак в одних случаях по семиотической природе является ингерентным, а в других случаях — просодическим. Докладчик подчеркивает, что выделение просодических компонентов на основе определения слога логически неудовлетворительно, ибо слог нельзя выделить, не указав предварительно существенные по отношению к нему просодические компоненты. С теоретической точки зрения это неудовлетворительно также и потому, что просодия характеризуется отношением слогов в пределах значимых единиц, что предполагает: 1) знание и 2) умение анализировать соотношение слогов.

Основу современных фонологических описаний составляет фиксация отношений между объектами и отношений между отношениями указанного типа. Первое предполагает на начальной стадии работы выделение множества однородных (по некоторому произвольному параметру) объектов. Второе предполагает не только классификационное описание, но — и это самое главное — задание таких абстрактных структур, которые могли бы стать адекватными моделям описываемых объектов.

Т. В. Гамкрелидзе (Тбилиси) при решении этой проблемы (в докладе «К построению дистрибутивной фонологической модели») исходит из того, что: 1) в качестве объекта анализа исследователю задано множество сегментов звуковой цепи, характеризующихся рядом физических свойств, 2) фонетика, изучая физические свойства звуков, оперирует одноместными пропозиционными функциями; 3) фонология, изучая отношения между физическими звуками, а затем корреляции фонем как отношения между этими отношениями, оперирует двухместными пропозиционными функциями, аргументы которых — факты, устанавливаемые фонетикой.

Т. С. Глушак (Оренбург) в докладе «К проблеме фонологической интерпретации дифтонгов» дала тщательный критический анализ воззрений на фонологическую природу дифтонгов и пришла к мысли, что попытка дать универсальную теорию дифтонгов не способствует решению этой проблемы, которое должно определяться в каждом случае спецификой конкретной фонологической системы.

Говорим ли мы о проблеме дифтонгов или об иерархии фонологических единиц, мы — эксплицитно или имплицитно — неизбежно исходим из различия двух планов языка — парадигматики и синтагматики, впервые декларированного Соссюром. Характерным для современной структурной лингвистики можно признать постепенный переход к более глубокому освещению взаимоотношений элементов языка в парадигматическом и синтагматическом плане, все чаще выдвигается тезис о первоочередном значении для описания языка именно синтагматического (собственно функционального) аспекта, что идет еще от традиций пражцев. Представляется возможным, задавая наборы элементов и операторов первого и второго порядка, определять грамматику синтагматики и уже на этой основе выводить определение грамматики парадигматики. В практической работе фоно-типологического характера лингвист нередко сталкивается с трудностями, обусловленными как раз преимущественным парадигматическим подходом. Это было со всей ясностью показано в докладе В. В. Шевороткина (Москва) «О соотношении звуковых и фонемных цепей». Исследуя сочетания согласных и гласных в различных языках, докладчик выясняет, что структура звуковых цепей регулируется весьма строгими закономерностями и организована прежде всего в соответствии с принципом «произносительного удобства», в результате чего наиболее устойчивыми сегментами цепей оказываются те, для которых характерна монотонность звуковой структуры.

О месте лингвистического эксперимента в методике дескриптивного фонологического описания говорилось в докладе А. А. Леонтьева (Москва) «О префонологических тождествах». Докладчик настаивает на необходимости экспери-

мента, что позволило бы максимально объективизировать систему приемов фонологического анализа и что связано с введением в методику дескриптивного анализа «прелингвистических тождеств». Под последними понимается некоторое априорное допущение о сходстве тех или иных отрезков анализируемого текста: звуковое сходство (тождество) для аллофонов, семантическое тождество для алломорфов.

Вопросам фонологических уровней и собственно морфонологии были посвящены доклады С. М. Шур и Г. П. Торсуева. Доклад С. М. Шур (Москва) «Об уровнях фонологического различения» содержит схему фонологического анализа, учитывающего три уровня конструктивных единиц: аллофонический, фонемный и морфонемный. В качестве иерархического принципа выдвигается принцип последовательного включения единиц предшествующего уровня в качестве аллоединиц в последующий уровень (ср. принцип последовательного сцепления ярусов А. А. Реформатского). Одним из недостатков фонологии Якобсона — Халле является отсутствие четкого определения критерия релевантности, что обусловило, в частности, двусмысленность нуля в матрицах идентификации. В докладе С. М. Шур вводятся строгие критерии релевантности признака для каждого из отмеченных уровней. Парадигматика морфонем задается графом (деревом); набор морфонем включает фонемы и архифонемы, причем последним в матрице дистрибуции соответствуют знаки (—). Отсюда делается вывод, что лишь на морфонемном уровне можно говорить о фонологической нейтрализации. Характерной особенностью описанной схемы трех уровней является смещение парадигматического и синтагматического аспектов: если парадигматика целиком остается в пределах данного уровня, то синтагматика смещается в последующий уровень. Таким образом, «синтагматика морфонем есть объект той части морфонологии, которая не включается в фонологию» и тем самым обеспечивается непосредственная двухсторонняя связь фонологии и грамматики как двух ярусов языковой структуры.

В докладе Г. П. Торсуева (Москва) «Фонематическая и морфонематическая группировка звуков» вскрывается различие между двоякого рода классификациями звуков речи, обусловленное двумя различными подходами к изучению фонетического состава языка — артикуляционным (акустическим) и функциональным. Функциональный подход, по мнению докладчика, знаменует собственно лингвистический анализ и должен быть постоянно в центре внимания. С этой точки зрения можно различать звуки функционально противопоставленные и функционально не противопоставленные. Последние объединяются в звуковые типы на основе артикуляционно-акустической общности, образуя противопоставления звуковых типов друг другу. С другой стороны, функционально не противопоставленные звуки группируются по морфологическим критериям, на основе тождества морфем, в ряды, которые также образуют систему противопоставлений. Существенно при этом подчеркнуть, что ряды и звуковые типы вовсе не обязательно совпадают, и между ними поэтому существует отношение взаимной детерминированности, отражающее взаимопроникновение фонологии и грамматики.

Логическим и статистическим критериям в фонологии посвятил свой доклад (под таким же названием) И. И. Ревзин (Москва). Исходя из анализа проблем сегментации последовательностей звуков и установления принадлежности аллофонов к одной фонеме (имеется в виду реляционно-физическая точка зрения), докладчик приходит к выводу о необходимости заменить понятие «фонема» понятием «свойство быть фонемным», которое при приписывании тому или иному отрезку звуковой цепи должно быть охарактеризовано некоторой вероятностью. По мнению докладчика, такая точка зрения более удобна для перехода от синхронного описания к диахроническому, нежели чисто логические критерии, представляющиеся автору доклада искусственными. Предлагаемая И. И. Ревзиным процедура синтагматической идентификации сводится к следующему. Сочетание AB признается одной фонемой, если оно удовлетворяет следующим двум требованиям: 1) AB является статистически связанной конфигурацией звуков, т. е. условные вероятности распределения A примерно такие же, как и условные вероятности появления гласных после AB; 2) большинство дифференциальных признаков AB совпадает, а несовпадающие можно сгруппировать так, чтобы получились новые значения для уже имеющихся признаков.

Знаменательное для современной лингвистики обращение к строгим статистическим исследованиям должно сыграть свою роль и в решении ряда сложных и актуальных проблем фонологии. Такова была основная идея доклада В. А. Никонова (Москва) «Фоностатистика как средство определения языкового родства». Доклад содержит интересные данные о количественном соотношении гласных и согласных в различных языках, причем доказывается, что для каждой ветви языков этот показатель ограничен жесткими рамками. Близкородственные языки характеризуются сходным фонетическим спектром речи.

Построение фонологической парадигматики конкретного языка основывается на изучении дистрибуционных и мор-

фосемантических характеристик функционирования ее элементов в линейных последовательностях, что позволяет вскрыть систему оппозиций, являющуюся фундаментом всякой фонологической системы. Можно, однако, идти иным путем, используя статистический критерий для построения системы фонологических противопоставлений. Это было показано в докладе О. С. Широкова (Черновцы) «О соотношении фонологической системы и частотности фонем». Место фонемы в системе определяется ее частотностью. При этом различаются немаркированные (более частотные) фонемы и маркированные (менее частотные) фонемы, производные от немаркированных (дериваты),— ср. закон Крушевского — Куриловича о соотношении сферы употребления знака и богатстве его содержания.

В докладе Т. П. Ломтева (Москва) «О конструктивном методе в фонологии» было предложено нахождение способов конструирования объектов и изучения их свойств с помощью заданных операций. В качестве первичных (не конструктивных) объектов постулируются дифференциальные элементы (ДЭ); над ними осуществляется операция последовательной выборки, описывающая генератор, порождающий конструктивные объекты — фонемы, каждая из которых есть множество, членами которого являются элементы, селектируемые из первичных заданных множеств ДЭ.

Попытка применить принцип экономии и теорию колебаний для интерпретации фонологических явлений содержится в докладе М. И. Трофимова (Москва) «Теория колебаний и чередование гласных в уйгурском языке».

Описание языка как функциональной системы предполагает построение распознающих и порождающих моделей, существенные элементы которых — фонологические модели. Специфика инвариантных преобразований в процессе перехода от кодирования в грамматических терминах к кодированию в элементах системы диакритиков и в символах воплощающих их звуков речи определяется операторами, по отношению к которым фонемы и фонемоиды являются инвариантными характеристиками. Множество таких операторов рассматривается в докладе Е. Л. Гинзбурга (Москва) «К изучению кульминаторов с точки зрения двухступенчатой теории фонологии» в качестве просодических элементов языка (кульминаторов), являющихся эксплицатами силлабического, словесного, синтагматического и фразового ударения. К числу подобных операторов принадлежат различные правила перевода, объединения и противопоставления символов и последовательностей символов.

Вопрос о соотношении просодического и фонемного уровней обсуждается в докладе В. А. Виноградова (Москва) «О синтезе гармонизированных фонологических последовательностей моделью с конечным числом состояний». Порождение осуществляется в два этапа, с помощью блоков конечных автоматов Мура с периодически фиксированным входом (так называемые автономные автоматы). В докладе подчеркивается необходимость различать в любой порождающей модели (в том числе и в конечном автомате) две ступени — генотипическую и фенотипическую, в соответствии с моделью С. К. Шаумяна.

Мысль о несамостоятельном, подчиненном характере линейных элементов фонологических цепей нашла яркое выражение в докладе М. В. Гординой (Ленинград) «О различных функциональных звуковых единицах языка». Докладчик различает две функции фонологических средств: дифференциальную и кульминативную, при этом первая подразумевает последнюю, а обратное не имеет места. По мнению автора, это необходимо приводит к пересмотру учения о фонологических оппозициях.

Актуальные вопросы были подняты в докладе О. С. Ахмановой, Э. А. Афонова и М. Д. Давыдова (Москва) «О сущности и мета-языке синтаксической фонетики». Авторы подвергли анализу проблему выделения элементарных просодических составляющих звуковых цепей как на этическом, так и на эмическом уровне описания и вопрос о характере правил корреспонденции между единицами этих уровней. В связи с этим особое внимание было уделено средствам фиксации просодических элементов и их составляющих при построении фонологического описания.

В. А. Артемов (Москва) в докладе «Об интонеме» рассматривает интонацию (интонемы) как лингвистические сущности того же плана, что и фонемы, исходя из реляционно-физического понимания интонемы как языкового инварианта звучащей речи, служащего для различения коммуникативных и синтаксических типов предложений.

Система диакритиков и система знаков — составляющие языка как семиотического объекта — неразрывно связаны. Поэтому ни один анализ фонологических средств не может быть полон без освещения связи этих систем. А. А. Зализняк (Москва) в докладе «К вопросу об использовании операционных понятий при описании просодических элементов» на примере словесного ударения в русском языке охарактеризовал один из возможных механизмов приписывания места ударения словоформам имени существительного.

В. В. Сенкевич-Гудкова (Петрозаводск) выступила с докладом «Закон контрастной корреляции количества и

его влияние на систему фонем нотозерского диалекта саамского языка».

Вопросы диахронической фонологии были подняты в четырех докладах. Содержанием диахронической фонологии является моделирование фонологических процессов в историческом плане. Как и в синхронном моделировании, которое предполагает построение распознающих и порождающих моделей, так и в диахронии необходимо не только вскрывать состав и динамику системы на разных синхронных срезах, но и моделировать порождение в перспективном историческом плане,— порождение новых элементов системы из имеющихся и порождение всей системы в целом из заданной на некотором синхронном срезе (диахроническом уровне), рассматриваемом как «вход» абстрактной кибернетической машины, именуемой «время». Не только диахроническая констатация, но и диахроническое (ретроспективное и проспективное) предсказание — таков основополагающий тезис доклада В. К. Журавлева (Минск) «Двухступенчатая теория фонологии и методика моделирования фонологических процессов». Предсказание может базироваться на анализе устойчивости, однородности и полноты системы (принцип экономии Поливанова — Мартине). Большое внимание уделено в докладе явлению трансфонологизации, все случаи которой сводятся к двум видам: трансфонологизация фонем и трансфонологизация ДЭ.

Доклад В. И. Постоваловой (Ростов-на-Дону) «К вопросу о фонологической системе согласных в современном русском языке» основывался на понимании развития языка как сложного процесса взаимодействия системы и антисистемы, под которой понимается совокупность потенциальных членов системы.

Попытка выяснить общие закономерности развития тюркского вокализма была дана в докладе М. А. Черкасского (Алма-Ата) «О реконструкции фонологической системы тюркского вокализма».

Доклады В. А. Квятковского (Ленинград) «Фонологические проблемы „великого сдвига гласных" в английском языке» и Ю. Я. Глазова (Москва) «Передвижение послестыковых согласных в каннада» были посвящены частным вопросам диахронической фонологии конкретных языков.

Характерной чертой конференции была типологическая ориентированность многих докладов. Кроме уже упоминавшихся докладов В. В. Шеворошкина, В. А. Никонова и О. С. Широкова, которые в той или иной степени затрагивали типологическую проблематику, на конференции была представлена серия докладов, специально посвященных фонологической типологии.

Г. П. Мельников (Москва) в докладе «Морфологический строй языка и способы словоразграничения» рассматривает словоразличительную функцию элементов языка в типологическом аспекте, в связи с чем предлагает схему идеальных морфологических типов языков (изолирующие, аморфные, агглютинирующие, инкорпорирующие флективные), на основе которой выясняется тип конкретного языка.

Второй доклад Г. П. Мельникова «Некоторые общие черты вокализма урало-алтайских языков» оказался своеобразным комментарием к известной в языкознании урало-алтайской гипотезе. Констатируя значительную типологическую близость между языками указанных семей, докладчик представил геометрическую модель систем вокализма, отмечая связь последних с морфологическим строем языка.

Коллективный доклад М. И. Лекомцевой, Д. М. Сегала, Т. М. Судник, С. М. Шур (Москва) «О фонологических проблемах типологии» предлагает типологию фонологических структур, исходящую из понятия лингвистического пространства, в котором располагаются фонологические модели сопоставляемых языков, при этом оно определяется как теоретико-множественная сумма всех моделей. Ориентация языков в лингвистическом пространстве осуществляется благодаря принятию в качестве точки отсчета инвариантной ядерной модели, определяемой как теоретико-множественное произведение, которое является результатом наложения моделей друг на друга.

Вопросам типологии, смежным с вопросами диахронической фонологии, посвятил свой доклад «Общая теория аккомодации и типология языков» В. В. Мартынов (Минск).

В докладе В. В. Шеворошкина, С. С. Белокриницкой, И. В. Альтман (Москва) «К вопросу о некоторых фонетических и фонологических явлениях в процессе языковой интерференции» поднимается ряд общих проблем, связанных с языковым контактированием. Сравнительному и описательному языкознанию известно немало примеров, когда явления, плохо объяснимые из системы данного языка, получают глубокое освещение по привлечении фактов соседних языков. Взаимодействие языков проявляется на всех уровнях, но особенно на низших уровнях плана выражения, в связи с чем особый интерес представила бы попытка проследить путь от интерференции на фонетическом уровне к интерференции на фонологическом уровне (например, соотношение ассимиляции и нейтрализации). Очевидно также, что в новом аспекте может быть поставлен вопрос о различных языковых стилях, выдвинутый еще Щербой.

Конференция показала, что проблематика, связанная с процессами управления при языковой коммуникации, становится ведущей и для экспериментальной фонологии.

Большой интерес у участников конференции вызвал доклад Л. А. Чистовича и Л. В. Бондарко (Ленинград) «Об управлении артикуляционными органами в процессе речи». Изучая нарушения речи при задержке обратного акустического сигнала, авторы приходят к выводу, что сущность многократного смыкания и размыкания артикуляционных органов (заикание) определяется не вызовом повторных движений, но задержкой перехода от одной микроструктуры артикуляционных движений, описываемых непрерывной функцией и соответствующих в лингвистической терминологии открытому слогу типа *СГ*, к другой микроструктуре. Период повторений отдельных слогов и даже частей фраз не зависит от величины задержки акустического сигнала, но обусловлен собственной активностью центров простейших смыкательно-размыкательных движений, на вход которых подаются проприоцептивные сигналы. На этом основании предлагается модель фонологического послогового синтеза. В качестве программы произнесения фразы (сохраняющейся до конца произнесения) рассматривается последовательность предписаний о переходах от одной артикуляционной структуры (или их последовательностей) к другой. Развертка структуры не зависит от морфологических характеристик фразы, но определяется внутренними правилами, описывающими эту структуру, и осуществляется при сигнале об окончании развертки предыдущей структуры. Кроме того, программа содержит дополнительные правила, обеспечивающие редукцию некоторых развернутых структур до одного символа согласного.

Л. В. Златоустова (Казань) в докладе «О фонологических функциях фразовых акцентов» показала, что фразовое ударение — организующее начало интонационного оформления речевого потока, которое подчиняет словесные акценты, реализующиеся через слоговые. Основными носителями информации о фразовых акцентах являются первый предударный, ударный и заударный гласный абсолютного исхода слова; гласные в слабых неударных позициях обладают функцией лишь слогообразования. Дифференциация частных целей и стилистических градаций высказываний осуществляется с помощью логического и эмфатического ударений.

Отправное положение теории, развиваемой В. И. Григорьевым (Москва) в докладе «Различающие параметры и дифференциальные признаки фонем», заключается в том, что речевой сигнал — это совокупность звуковых колебаний, и она является непрерывно изменяющейся функцией, аргументами которой могут быть как временные, так и другие различающие параметры, полученные в результате функциональных преобразований. Критерий эффективности набора переменных и каждого параметра отдельно — разборчивость синтезируемых или компрессируемых сегментов звучащей речи, описанных с помощью совокупности параметров; мощность разборчивости = $2\ FT$, где F — верхняя граничная частота, а T — интервал определения функции. Это и является фактором, определяющим лингвистическую значимость параметров физической природы или производных от них. Теория разборчивости и теория статистического обнаружения позволяет доказать, что: 1) существует такой минимальный набор параметров, каждый из которых различает пару фонем, 2) этими параметрами может быть либо один из различающих параметров, либо функция от их подмножества.

Н. И. Жинкин (Москва) в докладе «О дифференциальных признаках и об одном способе машинного распознавания звуков речи» доказывает, что фонема как пучок дифференциальных признаков является лишь наименьшей единицей различения, слог же — наименьшая произносительная единица. Дифференциальные признаки не могут быть отделены друг от друга в составе целого, которое они составляют, и не могут быть выделены и рассматриваться вне его. Дальнейший успех в изучении звучащей речи во многом будет определяться успехом в построении способных к самообучению кибернетических устройств, моделирующих деятельность механизмов речи при распознавании и порождении. Изучение преобразований, которым подвергается первоначальная программа самообучения, позволит исследователю подойти к более адекватному описанию фонетической структуры. Это направление в развитии экспериментальной фонологии и предложенный Н. И. Жинкиным способ технической реализации идеи о «фонологических персептронах» нашли живой отклик и поддержку у участников конференции.

В. А. Виноградов, Е. Л. Гинзбург
(Москва)

С 20 по 25 мая 1963 г. в г. Будышино (Баутцен — ГДР) проходило третье рабочее совещание Международной терминологической комиссии (МТК) при Международном комитете славистов, посвященное подготовке терминологического словаря одиннадцати славянских языков с включением немецких и английских эквивалентов. В основу намечаемого словаря был положен обширный словник лингвистических терминов, разработанный Чехословацкой терминологической комиссией. Проф. А. Едличка объяснил в своем докладе принципы, легшие в основу чехословацкого словника. Совещанию были представлены эквиваленты на русском, украинском, сербскохорватском, словенском, македонском, болгарском и сербо-лужицком языках. В работах Комиссии приняли участие: член-корр. Л. Андрейчин (София), канд. филол. наук А. И. Багмут (Киев), д-р В. Вильске (Потсдам), доц. К. Гаузенблас (Прага), доц. Я. Горецки (Братислава), проф. А. Едличка (Прага), д-р Р. Енч (Будышин), д-р Г. Енч (Будышин), проф. П. Ивич (Новый Сад), проф. А. В. Исаченко (Берлин; председатель), проф. Т. Логар (Любляна), д-р Ф. Михалк (Будышин), доц. Я. Ружичка (Братислава), проф. Р. Ружичка (Лейпциг), В. Стракова (Прага), проф. А. Б. Шапиро (Москва), д-р А. Тейнор (Прага), проф. Г. Якобсон (Гётеборг); присутствовал проф. Й. Кноблох (Бонн).

Были прочитаны доклады: проф. А. Б. Шапиро «Проблематика обособления и связанная с ней терминология», д-р Р. Енч «Влияние двуязычия на развитие терминологии», доц. Вильске «Терминология, связанная с преподаванием русского языка», проф. Й. Кноблох «Словарь лингвистической терминологии», д-р Ф. Михалк «Изменения в грамматическом роде при заимствовании немецких слов сербо-лужицким», д-р Г. Енч «Нижнелужицкая лингвистическая терминология».

Комиссия с удовлетворением отметила выход в свет первого тома сборника «Славянска лингвистична терминология», содержащего свыше двадцати теоретических статей и сообщений, и высказала глубокую благодарность Болгарской академии наук за осуществление названного издания, а также члену-корр. Л. Андрейчину за выполненную им ответственную редакционную работу.

На пленуме МТК было заслушано сообщение председателя о ее реорганизации. Начиная с 1963 г., МТК стала подчиняться непосредственно Международному комитету славистов в качестве одной из самостоятельных международных комиссий.

Пленум МТК принял постановления:

1. Одобрить представленный председателем МТК отчет о ее деятельности за истекшее пятилетие. Отчет будет представлен V международному съезду славистов в Софии в сентябре 1963 г. Одновременно будут предложены первые образцы предварительной редакции славянского терминологического словаря.

2. Предложить V международному съезду славистов рабочую программу комиссии на пять лет. В эту программу входит: составление славянского словаря лингвистических терминов на 11 славянских языках с включением немецких и английских эквивалентов. Словарь основной лингвистической терминологии будет содержать от 2 до 3 тысяч словарных статей, содержащих эквивалентные термины. Словарь будет разбит по отделам в целях сопоставления понятийных систем отдельных лингвистических традиций; он будет носить координационный и нормативный характер. Одновременно словарь должен служить информационным пособием для славянских и неславянских научных и школьных работников. Редакционная работа по словарю поручается редакционной коллегии в таком составе: чл.-корр. Л. Андрейчин, проф. А. Едличка, проф. П. Ивич, проф. А. В. Исаченко, доц. Я. Ружичка, проф. А. Б. Шапиро, д-р А. Тейнор (ученый секретарь редакционной коллегии).

3. Включить в указанный словарь основную терминологию новейших лингвистических направлений.

4. Провести теоретическое обследование материала по славянской лингвистической терминологии в сопоставительном и историческом аспектах.

5. Продолжить работу по собиранию терминологической библиографии.

6. Обследовать в рамках национальных комиссий национальные лингвистические терминологии.

7. Результаты теоретической работы по славянской лингвистической терминологии опубликовать во втором томе сборника «Славянская лингвистическая терминология».

Пленум МТК постановил ежегодно собираться в мае месяце для оперативного обсуждения отдельных этапов намеченной работы. Пленум рекомендует созвать четвертое совещание МТК в 1964 г. в Югославии, пятое — в Братиславе (ЧССР), шестое — в Киеве или во Львове (УССР). Председателю было поручено обратиться в соответствующие организации с просьбой содействовать проведению намечаемых трех совещаний.

Пленум МТК рекомендовал Международному комитету славистов ввести в состав постоянных членов МТК, кроме председателей национальных терминологических комиссий по отдельным государствам, также председателей терминологических комиссий отдельных славянских наций. Рекомендуется ввести в состав МТК председателей Белорусской, Македонской, Словацкой, Словенской и Украинской терминологических комиссий.

А. В. Исаченко (Берлин)

С 27 по 30 мая 1963 г. в г. Фрунзе состоялось IV региональное совещание по диалектологии тюркских языков, организованное Институтом языка и литературы АН КиргССР и Институтом языкознания АН СССР. На совещание собрались диалектологи Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Татарской, Чувашской, Каракалпакской, Тувинской, Якутской, Кабардино-Балкарской автономных республик, Карачаево-Черкесской, Хакасской и Горно-Алтайской автономных областей, диалектологи сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР (Москва). В работе совещания принял активное участие член-корр. АН СССР проф. В. М. Жирмунский. Работа совещания была разнообразной по тематике и очень насыщенной: было прослушано 20 докладов и около 20 сообщений.

Совещание открылось вступительным словом президента АН КиргССР акад. К. К. Каракеева. В соответствии с решением III регионального совещания работа данного совещания была посвящена следующим основным вопросам: 1) изучение диалектов тюркских языков методами лингвистической географии, 2) составление диалектологических словарей, 3) формирование диалектных систем тюркских языков, 4) обсуждение работы по коллективной теме «Диалекты тюркских языков», в которой участвуют диалектологи многих тюркоязычных республик и областей СССР.

По первому вопросу с ведущим докладом «О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза» выступил член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский. Докладчик указал на то, что на современном этапе развития тюркской диалектологии настоятельной научной необходимостью является создание по тюркским языкам и наречиям Советского Союза общего лингвистического атласа, составленного на основе диалектологической анкеты силами Института языкознания АН СССР и лингвистических институтов в национальных и автономных республиках. В таком атласе каждый отдельный диалектный признак может быть прослежен по всей территории распространения тюркских языков, и группировки по диалектам выступят с полной объективной отчетливостью. Созданию общетюркского диалектологического атласа будет предшествовать составление диалектологических атласов отдельных тюркских языков по согласованным анкетам, отражающим не только специфические для каждого языка диалектные различия, но и важнейшие общетюркские диалектные явления.

Работе над диалектологическими атласами конкретных тюркских языков были посвящены доклады акад. АН АзербССР М. Ш. Ширалиева «Интерпретация некоторых изоглосс диалектологического атласа восточной группы диалектов и говоров азербайджанского языка», канд. филол. наук Г. Б. Бакиновой «О принципах составления атласа киргизских говоров», кандидатов филол. наук Х. Даниярова и Р. Кунгурова «Некоторые вопросы лингвистической географии в Узбекистане».

По первому вопросу повестки совещания, особенно по докладу В. М. Жирмунского, развернулись оживленные прения. Диалектолог-славист канд. филол. наук А. Е. Супрун, приветствуя идею создания общетюркского диалектологического атласа, высказал пожелание, чтобы в программу по составлению атласа были включены вопросы тюрко-славянского языкового взаимодействия. Большинство выступавших (канд. филол. наук Дж. Доскараев, канд. филол. наук Э. Р. Тенишев, доктор филол. наук В. В. Решетов и др.) высказалось за сочетание метода лингвистической географии и метода монографического описания при изучении диалектов тюркских языков. Аспирант Л. П. Сергеев доложил об опыте составления диалектологического атласа чувашского языка.

Доктор филол. наук Е. И. Убрятова в своем выступлении подчеркнула, что диалектологическая работа по тюркским языкам ведется в особых условиях, так как тюркологам-лингвистам приходится заниматься всеми аспектами языка ввиду малочисленности кадров и большого объема работы. Изучение тюркских диалектов начиналось всегда с практической целью — выделить опорный диалект для создания письменного литературного языка. После завершения обобщающей коллективной работы по диалектам тюркских языков можно будет перейти к более сложной работе — повсеместному изучению диалектов тюркских языков методом лингвистической географии.

По второму вопросу участники совещания прослушали два доклада: доктора филол. наук Ф. А. Абдуллаева «Опыт составления диалектологического словаря узбекского языка (по материалам узбекских говоров Хорезма)» и канд. филол. наук А. Ш. Афлетунова «О словаре диалектной синонимики татарского языка». С подробным анализом диалектологического словаря, составленного Ф. А. Абдуллаевым, выступил канд. филол. наук Р. А. Рустамов. Выступление канд. филол. наук Ш. Ш. Сарыбаева касалось вопроса о лексических дублетах диалектов и литературного казахского языка, а также составления диалектологического словаря казахского языка. По этому вопросу выступил также канд. филол. наук К. М. Мусаев.

В ряде докладов освещались вопросы

формирования диалектных систем тюркских языков. Так, В. В. Решетов в своем докладе «Вопросы формирования фонетических систем узбекских городских говоров» рассмотрел процессы, связанные с историческим воздействием таджикских говоров на городские говоры узбекского языка. Узбекско-таджикским языковым связям было посвящено и выступление канд. филол. наук Х. Гулямова. Акад. Кирг. АН Б. М. Юнусалиев сделал доклад «К изучению истории фонетических особенностей киргизских диалектов», в котором уделил основное внимание историческому развитию губных дифтонгов в южных диалектах киргизского языка и появлению в них гласного переднего ряда *э*. Изучение тюркских диалектов структуральными методами было представлено интересным докладом канд. филол. наук А. А. Ахундова «Опыт структурального анализа формирования диалектных систем азербайджанского языка».

Следующая серия докладов касалась вопросов взаимодействия тюркских языков и диалектов. К ним относятся доклады канд. филол. наук Д. Г. Тумашевой «Проблема изучения диалектов, расположенных на стыке родственных языков (на материале языка западносибирских татар)», канд. филол. наук А. А. Юлдашева «Северо-западный диалект башкирского языка в его отношении к литературному языку», канд. филол. наук Р. И. Цаплиной «Особенности чувашских говоров на территории Татарии и Куйбышевской области», канд. филол. наук А. Г. Велиева «О некоторых закономерных явлениях на границах смежных диалектных групп (на материалах переходных говоров азербайджанского языка)». Большой интерес вызвал доклад канд. филол. наук Э. Р. Тенишева «О языке кыргызов уезда Фу Юй (КНР)», устанавливающий связи языка фуюйских кыргызов с другими тюркскими языками (хакасским, шорским, чулымским, сарыгюгурским и киргизским). Докладчик К. Н. Назаров поделился опытом сопоставительного изучения грамматического строя узбекских говоров. Дж. Болатов посвятил свой доклад топонимике КазССР. Задачи и состояние работы по коллективной теме «Диалекты тюркских языков» подробно осветила в своем докладе Е. И. Убрятова.

Заключительные доклады на совещании содержали обобщающие результаты исследования малоизученных диалектных систем отдельных тюркских языков: канд. филол. наук Д. С. Насырова «Вопросы изучения диалектов каракалпакского языка», К. М. Мусаева «Диалекты караимского языка в их отношении к другим тюркским языкам», канд. филол. наук Л. А. Покровской «Общая характеристика диалектной системы гагаузского языка».

Участники совещания выслушали также сообщения о проделанной работе в области диалектологии многих тюркских языков: канд. филол. наук С. А. Калмыковой, канд. филол.наук Г. Ф. Бабушкина, канд. филол. наук Ш. Ч. Сата, канд. филол. наук Н. А. Кучигашевой, П. С. Афанасьева, проф. У. Б. Алиева, А. Ниязова, канд. филол. наук Р. Бердыева и доц. Дж. Амансарыева, канд. филол. наук Б. Джураева, канд. филол. наук А. Ишаева, А. Ю. Юлдашева, Б. М. Ибрагимова, доц. Х. Д. Даниярова, А. Г. Гасанова. После заключительного слова проф. В. М. Жирмунского акад. К. К. Юдахин, закрывая совещание, подвел его итоги.

В резолюции, принятой совещанием, отмечаются значительные достижения в области тюркской диалектологии, в частности, издание за последние годы многих сборников и монографий, содержащих обобщающие результаты по монографическому изучению азербайджанского, узбекского, киргизского, татарского и других языков; интенсивная работа по составлению диалектологических словарей и атласов ряда тюркских языков. Наряду с этим в диалектологической работе по тюркским языкам еще имеются трудности и недостатки. Так, в некоторых республиках (Казахстан, Туркмения, Татария и некоторые другие) встречаются трудности в опубликовании диалектологических работ, в оснащении экспедиций необходимой аппаратурой и т. п. Основным недостатком следует считать слабое использование в диалектологической работе по тюркским языкам методов лингвистической географии и связанную с этим неполноту и неточность получаемых научных результатов.

В целях скорейшего устранения отмеченных недостатков совещание избрало комиссию по координации всей диалектологической работы в области тюркских языков СССР в составе М. Ш. Ширалиева (председатель), В. М. Жирмунского, Е. И. Убрятовой, В. В. Решетова, Н. А. Баскакова, Б. М. Юнусалиева, Л. Т. Махмутовой и Э. Р. Тенишева. Комиссии поручено подготовить пробную анкету для общетюркского диалектологического атласа, в качестве дополнения к анкетам национальных атласов, и представить ее на обсуждение V регионального диалектологического совещания (1965 г., г. Баку).

После совещания состоялась встреча авторского коллектива обобщающего труда «Диалекты тюркских языков», на которой был обсужден первый пробный очерк «Диалекты караимского языка» (автор К. М. Мусаев).

Л. А. Покровская (Москва)

11—12 июня 1963 г. состоялось VIII координационное совещание, созванное Научным советом по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка АН СССР, посвященное вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. В совещании приняли участие представители академий наук Азербайджана, БССР, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана, УССР и Эстонии.

Совещание было созвано в связи с завершением Институтом русского языка АН СССР 4-томного и 17-томного толковых словарей современного русского литературного языка и необходимостью обсудить дальнейшие перспективы работы словарного сектора Института в области общей русской лексикографии (помимо составления специальных словарей — исторического, синонимического, фразеологического и т. д.). Завершение работы над двумя упомянутыми большими словарями можно считать, как отметил в своем вступительном слове председатель совета член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов, выполнением указания, данного в 1921 г. В. И. Лениным, о составлении словаря русского языка, охватывающего лексический материал «от Пушкина до Горького». Оба эти словаря (особенно 4-томный) включили в свой состав и значительный материал языка советских писателей. Однако работа по общей русской лексикографии в Академии наук СССР не должна на этом прекратиться: помимо подготовки специальных словарей, необходимо сейчас же начать работу по созданию толкового словаря нового типа — чисто нормативного (нормативно-стилистического). Такой словарь должен иметь большое значение как для повышения культуры русской речи, так и для улучшения качества русско-национальных и русско-иностранных словарей.

Основным задачам создания этого нового словаря был посвящен доклад зав. словарным сектором Института русского языка АН СССР члена-корр. АН СССР Ф. П. Филина. Ф. П. Филин считает, что новый толковый словарь русского языка должен стать «лексикографическим зеркалом» литературной лексики в ее современном состоянии. В то же время в нем должны быть широко представлены рекомендательные оценки употребления слов; он должен охватить лексику всех жанров современного литературного языка как в его письменной, так и разговорной разновидности, в том числе и функционирующие в наше время архаизмы. С другой стороны, в нем не должно быть слов, значений слов, всякого рода особенностей словоупотребления, имеющихся даже у классиков русской литературы, если эти слова выпали из состава современного литературного языка и являются пассивным наследием прошлого. В словарь не включаются также диалектизмы, за исключением слов, которые стоят на грани между общенародным и локальным употреблением. Отбрасываются также арготизмы. Зато в словаре должна быть представлена важнейшая научная терминология, важные производственные термины, лексика, отражающая хозяйственный, общественно-политический и культурный рост нашей страны, успехи мировой социалистической системы. Все смысловое содержание иллюстративного материала должно быть резко повернуто в сторону современности. Далее Ф. П. Филин остановился на сложном вопросе о понимании нормы современного русского литературного языка [1].

Канд. филол. наук А. М. Бабкин (Ленинград) в докладе «Роль источников в создании филологических словарей нормативного характера» подчеркнул зависимость типа и структуры словаря от характера и количества источников, подвергающихся разработке в процессе его создания. Правильность выбора круга источников и их полнота определяют правильность выделения лексико-семантической системы данного этапа развития литературного языка и оправдывают лексико-грамматическую норму, положенную в основу нормативного словаря. А. М. Бабкин остановился на двух категориях словарных источников — на выборках из литературы, делаемых специально для данного словаря, и на предшествующей словарной традиции. Он подробно охарактеризовал особенности работы над каждой из этих двух групп источников.

Более детальная разработка поставленного в докладе Ф. П. Филина вопроса о норме современного литературного языка была дана в докладе канд. филол. наук Л. С. Ковтун (Ленинград) «Лексические нормы русского языка и разговорная речь». Докладчица указала на важность параллельного изучения тех фактов словообразования и словоупотребления, которые играют решающую роль в изменении установившейся нормы языка. Описание фактов разговорной речи, просторечия и профессионально-производственной речи не должно в нормативном словаре характеризоваться той односторонностью, какая допустима в общих толковых словарях, где эти факты подаются только как стилистические отклонения от принятых в литературном языке норм. Отказ от такого одностороннего подхода предопределит более широкое использование фактов живой разговорной речи. Условием полноты и

[1] Подробное изложение доклада см. в статье Ф. П. Филина «О новом толковом словаре русского языка» (ИАН ОЛЯ, 1963, 3).

объективности отбора этих фактов является запись устной речи средствами современной техники.

После заслушания обзорного доклада канд. филол. наук В. В. Веселитского (Москва) «О типах словарей современного языка» (на английском лексикографическом материале) была открыта дискуссия по основным докладам. Одним из главных ее вопросов была проблема объема и содержания понятия «современный литературный язык». То или иное решение этой проблемы должно определять и понимание нормы этого языка. Канд. филол. наук В. П. Петушков (Ленинград) указал на существование в настоящее время различных определений литературного языка как системы: литературный язык как «система систем» (грамматическая, лексическая, стилистическая, орфографическая и т. д.), как «система стилей» и характерных для них средств выражения и т. д. Большое значение для определения понятия литературного языка и его нормы имеет определенное решение вопроса о взаимоотношении общелитературного языка и языка художественной литературы; последний часто считают особой формой первого. Слишком резкое разграничение этих двух форм может привести к представлению об общелитературном языке как о сухом наборе нейтральных форм и определенных правил их употребления. Необходимо более четкое определение отношения языка художественной литературы к другим формам литературного языка — публицистической, научной, деловой. В противоположность языку художественной литературы эти формы еще мало изучены. В. П. Петушков высказывается в пользу весьма широкого включения в нормативно-стилистический словарь научных и производственно-технических терминов, так как этот слой лексики получает все большее и большее значение в нашей жизни.

Это последнее предложение вызвало возражения со стороны канд. филол. наук Е. А. Василевской (Москва), К. А. Марцишевской (Москва) и доктора филол. наук Б. В. Горнунга (Москва), которые считают, что в общем толковом словаре должна быть представлена только та терминологическая лексика, которая широко бытует в наших газетах, очерковой и художественной литературе. Б. В. Горнунг отметил, что перегрузка специальной технической терминологией была главным недостатком последних выпусков «Шахматовского словаря», выходивших в 30-х годах.

Е. А. Василевская подвергла также сомнению положение Ф. П. Филина о словаре как «зеркале состояния языка». Это указывает на пассивность отражения словарем жизни языка, тогда как на самом деле словарь должен отразить активные процессы, происходящие в языке.

Канд. филол. наук Р. П. Рогожникова (Ленинград) остановилась на подаче в нормативном словаре вариантов слов. Этот вопрос требует предварительного изучения, которое должно выявить тенденцию развития определенных групп лексики; в частности, остается еще неясной степень влияния морфологической вариативности на оттенки значений. Необходимо также глубже изучать семантические различия однокоренных слов и вариантов суффиксов (*-ическ-*, *-ичн-*). Много трудностей представит вопрос об объеме включения архаизмов в нормативный словарь: с архаизмами в собственном смысле, употребление которых должно быть стилистически оправдано, нельзя смешивать слова, хотя и устарелые, но употребляемые как нейтральные синонимы современных слов.

К. А. Марцишевская, приветствуя от имени Издательства иностранных и национальных словарей идею создания нормативно-стилистического словаря, указывает на необходимость тщательного пересмотра системы стилистических помет, принятых в существующих словарях. Наибольшей нечеткостью в них отличаются пометы «разговорное», «просторечное» и «вульгарное». Эта нечеткость приводит к прямым ошибкам при использовании толковых словарей составителями русско-иностранных словарей. Помету «вульгарное» из нормативного словаря следует вообще исключить. К. А. Марцишевская полностью соглашается с докладчиками, что существующая картотека словарного сектора Института русского языка АН СССР явно недостаточна для составления нормативного словаря современного языка: необходимо добиться ассигнования средств на пополнение этой картотеки.

Б. В. Горнунг, соглашаясь с Ф. П. Филиным, что диалектизмы не должны включаться в новый словарь, считает, однако, что помета «областное» должна быть в нем сохранена. С этой пометой должны даваться слова, имеющие очень обширный и обычно неопределенный ареал распространения и широко употребляемые как в разговорном языке, так и в художественной литературе как синонимы слов литературного языка (слова типа *хата*, *стежка* и т. п.). Диалектизмы, имеющие определенный и относительно узкий ареал распространения, не должны включаться в словарь даже в тех случаях, когда они встречаются в авторской речи классиков художественной литературы (например, у Лескова, Мельникова-Печерского, Шолохова).

Д-р филол. наук И. М. Ошакин (Москва) соглашается в основном с принципами составления нового словаря, выдвинутыми докладчиками. Однако

нельзя перестраивать на ходу уже ведущуюся работу над большими и переводными толковыми словарями разных языков. Они должны быть закончены, и лишь после этого может быть поставлена задача создания чисто нормативных словарей для этих языков. В создании нормативно-стилистического словаря русского языка не должно быть спешки. Предлагаемый Ф. П. Филиным срок 4—5 лет является минимальным. Что касается терминов, то следует включать те из них, от которых уже существует много производных слов.

Канд. филол. наук Н. М. Меделец (Ленинград) считает, что новый словарь должен делать упор не столько на раскрытие значений (это уже в значительной мере выполнено законченными словарями), сколько на правильное употребление слов. Словарь должен учить правильно говорить по-русски, точно употреблять слова и формы в определенных сочетаниях. Для этого надо взять достаточно узкие хронологические рамки, так как никакая норма не может сохраняться 150 лет. Выдвигать и в наши дни задачу составления словаря «от Пушкина» может побуждать лишь сложившаяся традиция и пиэтет к Пушкину. Однако в таких рамках нормативный словарь неосуществим.

Канд. филол. наук К. С. Горбачевич (Ленинград) считает наиболее ценным в докладе Ф. П. Филина стремление преодолеть объективизм и академизм наших больших словарей. Он также указывает на нечеткость применения в прошлом пометы «разговорное», которая для пользующихся словарем давала основание считать, что в письменной речи нужно употреблять одну форму, а в разговорной — другую. То же относится к вопросу о колебаниях в ударении. Нормативный словарь должен быть в этом отношении четким и категоричным; также и со многими канцеляризмами, которые до сих пор иногда трактовались в словарях как нейтральные слова, что способствовало засорению ими языка. К. С. Горбачевич внес предложение организовать в словарном секторе библиографирование литературы об отдельных словах.

Подводя итоги дискуссии, д-р филол. наук С. И. Ожегов (Москва) еще раз подчеркнул своевременность выдвижения идеи составления нормативно-стилистического словаря, первые мысли о котором были высказаны уже лет 35 назад акад. Л. В. Щербой. Некоторые предложения Ф. П. Филина, А. М. Бабкина и Л. С. Ковтун очень убедительны, но еще рано говорить о «лице нового словаря»: для этого придется разработать многие специальные вопросы, в частности коренным образом пересмотреть систему стилистических помет. Словарь под ред. Д. Н. Ушакова отражал оценки русской лексики, сложившиеся еще в предреволюционное время, так как в годы его составления еще был неясен путь, по которому пойдет стилистическое развитие русского литературного языка в советскую эпоху. Все дальнейшие словари в основном сохранили эту систему помет.

В решениях, принятых совещанием, была особо отмечена актуальность задачи создания словаря нового типа, а именно: нормативно-стилистического словаря современного литературного языка (как в его письменной, так и разговорной форме). Такой словарь должен иметь большое значение как для повышения культуры русской речи, так и для улучшения качества русско-иноязычных словарей.

Для этого словаря рекомендуется: 1) немедленно приступить к разработке его подробного проспекта и одновременно организовать подготовку издания (небольшим тиражом) «экспериментальных» словарей (проспектов с образцами словарных статей), в основу которых могут быть положены в дискуссионных целях разные лексикографические принципы; 2) возобновить работу по пополнению словарной картотеки Ленинградского отделения ИРЯЗ; 3) в частности, применить методику массовых записей современной живой устной речи и их обработку.

Наряду с новым толковым словарем современного литературного языка должен готовиться и словарь-справочник языка XIX в. Нужно продолжать работу по подготовке специальных словарей (синонимического, фразеологического, словарей языка писателей, ономастических и др.).

Республиканским институтам, ведущим работу над многотомными толковыми словарями своих литературных языков, совещание рекомендовало продолжать работу над этими словарями на основе тех принципов, какие были для них выработаны, а в будущем иметь в виду и задачу составления нормативно-стилистических словарей нового типа.

Н. Н. Уханова (Москва)

С 1 по 14 августа 1963 г. в Москве проходил I Всесоюзный топонимический семинар, организованный Топонимической комиссией Московского филиала Географического общества СССР. В работе семинара приняли участие 28 топонимистов Москвы, Риги, Свердловска, Перми, Львова, Минска, Кемерова, Череповца и Волгограда.

Участники семинара слушали циклы лекций Э. М. Мурзаева «Местные географические термины», В. А. Никонова «Методы топонимического исследования», А. В. Суперанской «Транскрипция географических названий». Слушатели семинара познакомились с обширной топонимической литературой на специальных занятиях в Библиотеке

им. Ленина (главный библиограф Е. И. Кукушкина) и во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы (занятия проводили А. Ф. Дальковская, В. А. Никонов, Н. И. Толстой). На занятиях прочтены и обсуждены доклады участников семинара.

М. К. Рудзите (Рига) проанализировала новые названия хуторов в Браславе, выделив основные семантические группы и рассмотрев их словообразовательные особенности. З. П. Никулина (Кемерово) в докладе «Народные толкования топонимов» на конкретных примерах раскрыла ряд вопросов, связанных с переосмыслением топонимов и их грамматическим и фонетическим переоформлением. Отметив некоторые ложные толкования топонимов в работах историков-краеведов, докладчица указывает на необходимость при выяснении этимологии учитывать архивные документы, особенности говора, историю заселения.

Г. П. Вуоно (Томск) в докладе «Основные типы мансийских топонимов в устном употреблении» дал этимологический и словообразовательный анализ микротопонимов бассейна р. Пелым. Сопоставляя устную форму мансийских гидронимов с формой, зафиксированной на картах в русской передаче, докладчик показал, к каким ложным выводам может привести анализ географических названий, если не учитывать их устного употребления местным населением. Ю. Г. Вылежнев (Пермь) сообщил о поморском географическом термине *носок* «мыс». Широкое, но локализованное распространение географических названий с термином *носок* автор связывает с некогда бурно проявившейся колонизационной деятельностью новгородцев и их потомков-поморов. Р. П. Лесникова, Е. И. Рудных, Н. В. Янчевская (Свердловск) познакомили слушателей с богатым материалом, собранным в топонимических экспедициях на Севере. Все сообщения подверглись оживленному обсуждению.

Участники семинара обменялись накопленным опытом организации экспедиций по сбору топонимии, договорились о единстве употребления топонимических терминов. На семинаре состоялся специальный «день вопросов и ответов». Э. М. Мурзаев, В. А. Никонов, А. В. Суперанская ответили на многочисленные вопросы участников семинара о топонимической классификации, о методике проведения исследований, о многих частных проблемах топонимики и транскрипции. Участники семинара выполняли практические работы в Центральном архиве древних актов по материалам Генерального межевания (XVIII в.). При отсутствии у нас учебных заведений, в которых готовили бы топонимистов, семинар был первой настоящей серьезной школой для них.

З. П. Никулина (Кемерово), *К. Ф. Гриценко* (Томск)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

З. И. Жакова, Э. Д. Блинова. Вопросы белорусской диалектологии.— Минск, 1962.

А. М. Курбанов. Графика и орфография современного азербайджанского языка.— Баку, 1963. 68 стр. (на азерб. яз.).

М. Р. Федотов. Средства выражения модальности в чувашском языке.— Чебоксары, 1963. 123 стр.

М. Ширалиев. Основы азербайджанской диалектологии. Учебное пособие для вузов.— Баку, 1962. 424 стр. (на азерб. яз.).

А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка.— М.— Л., 1962. 274 стр.

Acta Universitatis Carolinae — Philologica, 3: Slavica pragensia, IV. Věnováno akad. B. Havránkovi k sedmdesátým narozeninám.— Praha. 747 стр.

Československá rusistika. VIII, 2.— 1963. Стр. 57—112.

EOS. Commentarii Societatis philologae polonorum. LII, 1 — Bratislavia — Varsaviae — Cracoviae, 1962. 219 стр.

Orientalistický sborník. Materiály z V. Vedeckej konferencie orientalistov.— Bratislava, 1963, 195 стр.

Radovi [Sveučilišta u Zagrebu, filozofskog fakulteta]. — Razdio lingvističko-filološki (2), 1961/1962.— Zadar, 1962. 357 стр.

Revue de linguistique. VII, 2, 1962. 389 стр.

Sbornik pedagogického institutu v ústí nad labem. Řada filologická.— Praha, 1963. 119 стр.

Slavia orientalis. XII, 1 — Warszawa, 1963. 124 стр.

Slavica pragensia. IV — Philologica — 3. Něnováno akad. B. Havránkovi k sedmdesátým narozeninam.— Praha, 1962.

Slovo a slovesnost. XXIV, 1—2. 1963. 161 стр.

Studia grammatica. I.— Berlin, 1962. 114 стр. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik der deutschen Gegenwartssprache).

Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 4.— Warszawa, 1963. 199 стр.

Universals of language. Report of a conference held at Dobbs Ferry, New York, April 13—15, 1961.— Cambridge (Mass.), 1963. 269 стр.

Zpravodaj. Místopisné komise ČSAV. IV, 1, 1963. Стр. 1—116.

M. L. Alinei. Dizionario inverso italiano. Con indici e liste die frequenza delle terminazioni.— The Hague, 1962. 607 стр.

A. J. Charsekin. Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler. Anhang: Etruskische Inschriften in den Museen der UdSSR.— Frankfurt am Main. 1963. 93 стр.+ 6 рис.

M. Cohen. Nouveaux regards sur la langue française.— Paris, 1963. 317 стр.

I. Iordan. Einführung in die Geschichte und Methoden der romanischen Sprachwissenschaft. — Berlin, 1962. 521 стр.

I. Iordan. Lingvistica romanica. Evoluţie. Gurente. Metode.— Bucureşti, 1962. 440 стр.

R. C. Lewanski. A bibliography of Slavic dictionaries. III.— Russian.— New York, 1963. 400 стр.

S. E. Mason. Signs, signals and symbols. A presentation of a British approach to speech pathology and therapy.— London, 1963. 212 стр.

W. Merlingen. Eine ältere Lehnwörterschicht im Griechischen. I — Lautgeschichte.— Wien, 1963. 105 стр.

Munkácsi — Kálmán. Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény. IV. 2. Budapest, 1963. 314 стр.

W. Rozdzieński. Officina ferraria ábo hutá i wárstát z kuźniámi szláchetnego dziełá żeláznego.— Wrocław — Warszawa — Kraków.— 1962. 318 стр.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1963 г. (№№ 1—6)

Передовые

Основные итоги и задачи разработки вопросов письменности и развития литературных языков народов СССР 3
Передовая 2
Приветствие V Международному съезду славистов 4

Статьи

Бауэр Я.— Основные проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков 4
Жирмунский В. М.— О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза . . 6
Журавлев В. К.— Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода 2
Захарова К. Ф., Орлова В. Г.— Группировка говоров русского языка по данным лингвистической географии 6
Клычков Г. С.—Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка . . . 5
Панов М. В.— О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX века 1

Дискуссии и обсуждения

Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р.— О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка 3
Баскаков Н. А.— К критике новых классификаций тюркских языков 2
Георгиев В. И.— Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка . . 2
Дорошевский В.— Знак и означаемое (десигнат) 5
Ивич П.— К проблеме лингвистической терминологии и условных обозначений в славянских языках 1
Иллич-Свитыч В. М.— Алтайские дентальные: *t*, *d*, δ . . . 6
Исаченко А. В.— Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения 2
Крамский И.— К проблеме артикля 4
Лотман Ю. М.— О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры 3
Маковский М. М.— Взаимодействие ареальных вариантов «сленга» и их соотношение с языковым «стандартом» 5
Мельчук И. А.—«О внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках 4
Милтнер В.— О дистрибуции членов предложения в хинди 3
Об общеславянском лингвистическом атласе 3, 4,5
Пробный вопросник к общеславянскому лингвистическому атласу 1
Розенцвейг В. Ю.— О языковых контактах 1
Руделёв В. Г.— К фонологической интерпретации русского аканья 2
Ружичка Р.— О трансформационном описании так называемых безличных предложений в современном русском литературном языке 3
Серебренников Б. А.— О причинах устойчивости агглютинативного строя 1
Степанов Ю. С.— Некоторые основания трансформационного синтаксиса французского языка 3
Сятковский С. И.— Некоторые вопросы типологического и сравнительно-исторического синтаксиса 6
Толстой Н. И.— Из опытов типологического исследования славянского словарного состава 1
Цивьян Т. В.— Опыт описания форм новогреческого существительного методом анализа и синтеза 6
Шаумян С. К.— Порождающая лингвистическая модель на базе принципа двухступенчатости 2
Щербак А. М.— О методике морфологического описания языка 5

Из выступлений на общем собрании ОЛЯ АН СССР

Адмони В. Г.— Качественный и количественный анализ грамматических явлений 4

Ахманова О. С., Панфилов В. З.— Экстралингвистические и внутрилингвистические факторы в функционировании и развитии языка 4

Обсуждение вопросов русской орфографии

Панов М. В.— Об усовершенствовании русской орфографии . . 2

Янакиев М.— Основы теории орфографии 5

Материалы и сообщения

Алиева Н. Ф.— Соотношение словообразовательных и синтаксических функций глагольных аффиксов в индонезийском языке 2

Бернштейн С. Б.— Карпатский диалектологический атлас. . 4

Гудков В. П.— Из истории славянского глагольного вида . . 1

Дзендзелевский И. А.— Некоторые вопросы интерпретации лингвистических карт . . 4

Колмогоров А. Н.— К изучению ритмики Маяковского . . 4

Колмогоров А. Н., Прохоров А. В.— О дольнике современной русской поэзии 6

Кондратов А. М.— Статистика типов русской рифмы . . 6

Карась М.— Словарь польских говоров 4

Касевич В. Б.— О фонологической роли явлений звонкости и глухости в современном бирманском языке 5

Котков С. И.— Русская частная переписка XVII—XVIII вв. как лингвистический источник . . . 6

Кумахов М. А.— О соотношении морфологического строения слова и словообразования . . 6

Макаев Э. А.— Структура слова в языке древнейших рунических надписей 2

Меновщиков Г. А.— Палеоэскимосские топонимы северо-восточной Сибири 6

Морозова Н. Г.— О «безъязычных глухонемых» и об овладении ими словесной речью 3

Мотш В.— К вопросу об отношении между устным и письменным языком 1

Панфилов В. З.— О происхождении склонения в нивхском языке 3

Прокопович Н. Н.— Развитие адъективных словосочетаний в русском литературном языке XIX в. 1

Прокопович Е. Н.— Функции многократных бесприставочных форм глагола в русском литературном языке второй половины XIX в. 2

Стеблин - Каменский М. И. — Исландско-норвежские изменения согласных 5

Хабургаев Г. А.— К вопросу об интерпретации падежного синкретизма в русских говорах 3

Шеворошкин В. В.— О хетто-лувийском характере карийского языка 3

Эдельман Д. И.— Проблема церебральных в восточноиранских языках 5

Прикладное и математическое языкознание

Иорданская Л. Н. — О некоторых свойствах правильной синтаксической структуры 4

Лесскис Г. А.— О зависимости между размером предложения и характером текста 3

Мельчук И. А.— О стандартной форме и количественных характеристиках некоторых лингвистических описаний 1

Санников В. З. — Место распространенного определения по отношению к определяемому слову в русской фразе 1

Консультации

Мачавариани М. В. — О взаимоотношении математики и лингвистики 3

Из истории языкознания

Блок А.— Значение Вука Караджича в сербской литературе 4

Из неопубликованного наследства Е. Д. Поливанова 1

Поливанов Е. Д.— Общий фонетический принцип всякой поэтической техники 1

Пазухин Р. В. — Учение К. Бюлера о функциях языка как попытка психологического решения лингвистических проблем . . 5

Щерба Л. В.— Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке . 5

Критика и библиография

Обзоры

Белодед И. К.— Основные проблемы общего языкознания в новых работах украинских ученых 3

Блашкович И.— Современное состояние и перспективы раз-

вития тюркологии в Чехословакии 5
Калужиньский С.— Современное состояние и ближайшие перспективы тюркологии и алтаистики в Польше 5
Лаптева О. А.— Чехословацкие работы последних лет по вопросам актуального членения предложения 4
Неверов С. В.— Об одном направлении лингвистической науки в Японии 6
Немет Ю. — Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии 6
Судник Т. М., Шур С. М.— О применении некоторых новых методов в работах по общей и славянской диалектологии 4

Рецензии

Бархударов А. С. — *Г. А. Зограф*. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала 2
Баскаков Н. А., Сарыбаев Ш. Ш.— Новые национальные толковые словари 6
Булыгина Т. В. — Problémy marxistické jazykovědy . . . 6
Гловинская М. Я., Коннова В. Ф.— *Z. Klemensiewicz*. W kręgu języka literackiego i artystycznego 1
Денисов П. Н.— *P. C. Paardekooper*. Inleiding tot de ABN-syntaksis 3
Журавлев В. К.— *A. Furdal*. Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego 1
Иванов Вяч. В.— *É. Benveniste*. Hittite et indo-européen. Études comparatives 4
Кононов А. Н.— «Историческое развитие лексики тюркских языков» 2
Кононов А. Н.— *А. М. Щербак*. Огуз-нāме. Мухаббат-нāме; *А. М. Щербак*. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана 5
Крысин Л. П., Убрятова Е. И.— Сб. «Памяти В. А. Богородицкого. (К столетию со дня рождения)» 3
Кубрякова Е. С., Анацкий И. Н.— *H. Marchand*. The categories and types of present-day English word-formation 1
Лекомцева М. И., Ревзин И. И., Шур С. М.— «Proceedings of the IV International congress of phonetic sciences» 6
Майтинская К. Е.— «A mai magyar nyelv rendszere» . . . 6
Николаева Т. М.— *F. Hiorth*. Zur formalen Charakterisierung des Satzes 3
Редькин В. А.— *V. Kiparsky*. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache 3
Редькин В. А.— *Г. А. Шелюто*. Русское ударение 6
Санжеев Г. Д.— *St. Kaluzyński*. Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache 2
Селиверстова О. Н.— *G. F. Meier*. Das Zéro-Problem in der Linguistik 2
Скребнев Ю. М.— *V. Mathesius*. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém 2
Творогов О. В.—«Materiały do słownika terminow budownictwa staroruskiego X—XV w.», opracował A. Poppe. 4
Успенский Б. А.— «Universals of language» 5
Улуханов И. С.— *J. Nowikova*. Die Namen der Nagetiere im Ostslawischen. 5
Фрумкина Р. М.— *G. Herdan*. Type-token mathematics . . 3
Широкова А. Г.— *Fr. Kopečný*. Slovesný vid v češtině . . 4

Письма в редакцию

Бархударов Л. С.— Письмо в редакцию 1
Будагов Р. А.— Письмо в редакцию 1
Панфилов В. З.— Письмо в редакцию 6
Пиотровский Р. Г.— Письмо в редакцию 1
Ревзин И. И.— Об одной синтаксической модели 2

Научная жизнь

Благова Г. Ф.— Координационная конференция, посвященная закономерностям развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху . . 2
Журавский А. И.— О подготовке словаря старого белорусского языка 4
Кошмидер Э. И.— Об издании древнеславянских певческих рукописей 4
Над чем работают ученые 4,5
Серебренников Б. А.— Об основных докладах на IX Международном лингвистическом конгрессе 1
Фишер Р.— Работы по серб-лужицкой филологии в Лейпциге 4
Хроникальные заметки . . . . 1—6
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 1,2, 5, 6

CONTENTS

Articles: V. M. Žirmunskij (Leningrad). On the dialect atlas of the Turkic languages of the Soviet Union; K. F. Zakharova, V. G. Orlova (Moscow). Classification of Russian dialects according to the data of linguistic geography; **Discussions:** V. M. Illič-Svitič (Moscow). Altaic dentals: *t, d*, δ; T. V. Civjan (Moscow). Description of New Greek noun forms by means of analysis and synthesis; S. I. Siatkovskij (Moscow). Some problems of typological and comparative historical syntax; **Materials and notes:** A. N. Kolmogorov, A. V. Prokhorov (Moscow). The use of the «dol'nik» in modern Russian poetry; A. M. Kondratov (Moscow). Statistical study on the types of Russian rhymes; S. I. Kotkov (Moscow). Russian private correspondence of XVII—XVIII centuries as a linguistic source; M. A. Kumakhov (Moscow). On the relation of morphemic structure of the word and word-formation; G. A. Menovščikov (Leningrad). Paleo-Eskimo toponyms of North-East Siberia; **Critics and bibliography**; **Letters to the editorial-office:** V. Z. Panfilov (Moscow). A letter to the editorial-office; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. M. Žirmunskij (Leningrad). Sur l'atlas des dialectes turques de l'Union Soviétique; K. F. Zakharova, V. G. Orlova (Moscou). Classification des parlers russes selon les données de la géographie linguistique; **Discussions:** V. M. Illič-Svitič (Moscou). Les cosonnes dentales: *t, d*, δ en altaïque; T. V. Civjan (Moscou). Description des noms néo-grecs au moyen d'analyse et de synthèse; S. I. Siatkovskij (Moscou). Quelques problèmes de syntaxe typologique et comparée; **Matériaux et notices:** A. N. Kolmogorov, A. V. Prokhorov (Moscow). Sur l'emploi de «dol'nik» dans la poésie russe moderne; A. M. Kondratov (Moscou). L'étude statistique sur les types des rimes russes; S. I. Kotkov (Moscou). Correspondence privée russe des XVII—XVIII siècles comme source linguistique; M. A. Kumakhov (Moscou). Sur la relation de structure morphémique du mot et la formation de mots; G. A. Menovščikov (Léningrad). Toponymes paléo-esquimos dans la Sibérie nord-orientale; **Critique et bibliographie**; **Lettres à la rédaction:** V. Z. Panfilov (Moscou). Lettre à la rédaction; **Vie scientifique.**

ИСПРАВЛЕНИЯ

в журнале «Вопросы языкознания», 1963, № 5

	Напечатано	Следует читать
Стр. 121 3-я графа снизу:	шипящая *С*	шипящая *С* или свистящая *С*
Стр. 121 7-я графа снизу:	носовая *Г*	низкая *Г*

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-12145 Подписано к печати 29/XI 1963 г. Тираж 5765 экз. Зак. 2689
Формат бумаги 70×108 1/16. Печ. л. 15,07 Бум. л. 5 1/2 Уч.-изд. листов 17,8

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор)
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов,*
Н. И. Конрад (зам. главного редактора) *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев*
В. А. Серебренников, Н. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. В 8-75-55

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XII

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1963